Уилл

Селф

Как живут мертвецы



Will

Self

How the Dead Live

Английская линия

Как живут мертвецы
Уилл Селф

Аннотация
Уилл Селф. Как живут мертвецы
ЭПИЛОГ
СМЕРТЬ
- ГЛАВА 1
- ГЛАВА 2
- ГЛАВА 3
- ГЛАВА 4
- ГЛАВА 5
- ГЛАВА 6

МЕРТВА
- ГЛАВА 7
- ГЛАВА 8
- ГЛАВА 9
- ГЛАВА 10
- ГЛАВА 11

ЕЩЕ МЕРТВЕЕ
- ГЛАВА 12
- ГЛАВА 13
- ГЛАВА 14
- ГЛАВА 15
- ГЛАВА 16

Аннотация

Уилл Селф (р. 1961) — один из самых ярких современных английских прозаиков, «мастер эпатажа и язвительный насмешник с необычайным полетом фантазии». Критики находят в его творчестве влияние таких непохожих друг на друга авторов, как Виктор Пелевин, Франц Кафка, Уильям С. Берроуз, Мартин Эмис. Роман «Как живут мертвецы» — общепризнанный шедевр Селфа. Шестидесятипятилетняя Лили Блум, женщина со вздорным характером и острым языком, полжизни прожившая в Америке, умирает в Лондоне. Ее проводником в загробном мире становится австралийский абориген Фар Лап. После смерти Лили поселяется в Далстоне, призрачном пригороде Лондона, где обитают усопшие. Ближайшим ее окружением оказываются помешанный на поп-музыке эмбрион, девятилетний пакостник-сын, давно погибший под колесами автомобиля, и Жиры — три уродливых создания, воплотившие сброшенный ею при жизни вес. Но земное существование продолжает манить Лили, и вы-

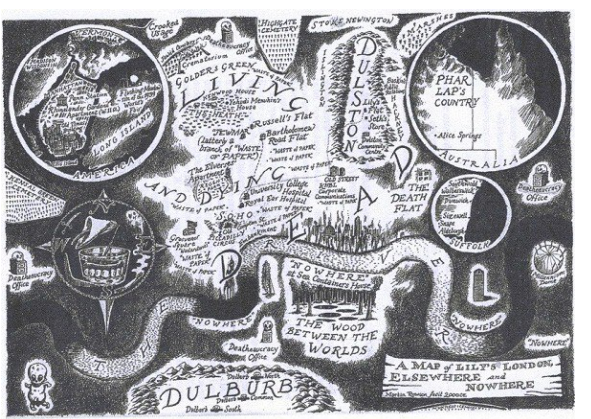
ход находится совершенно неожиданный… Буйная фантазия Селфа разворачивается в полную силу в описании воображаемых и реальных перемещений Лили, чередовании гротескных и трогательных картин земного мира и мира мертвых.

Уилл Селф
Как живут мертвецы

Посвящается Деборе

В Бардо, словно при обряде посвящения, каждый день перед мысленным взором умершего на сцену выходят новые актеры; он — их единственный зритель, а режиссер спектакля — карма.

В. И. Эванс-Венц. Предисловие к «Тибетской книге мертвых»



ПОЯСНЕНИЯ К КАРТЕ

Vermont – Вермонт
Madison, Wisconsin – Мадисон, Висконсин
Manhattan – Манхэттен
Penn Station – Пени-Стейшн
Apartment (W.11 St.) – квартира на 11-й Западной улице
Old Times Building – Таймс-Тауэр
Ellis Island – о. Эллис
Long Island – Лонг-Айленд
America – Америка
Flushing Meadow, Site of the 1939 World's Fair – Флашинг-Мидоус, место Всемирной ярмарки 1939 года
Kensal Green Cemetery – кладбище Кенсал-Грин
Deatheaucracy Office – офис смертократов
Crooked Usage – Кривой проулок
Jewish Cemetery – Еврейское кладбище
Crematorium – крематорий
Golder's Green – Голдерс-Грин
Kenwood House – дом в Кенвуде
Yehudi Menuhin's House – дом Иегуди Менухина
The Heath – Хит
«Waste of Paper» – «Бумажные обрезки»
«Jewmar» (latterly a branch of «Waste of Paper») – «Жидомар», впоследствии «Бумажные обрезки»
Russell's Flat – квартира Рассела
Bartholomew Road Flat – квартира на Бартоломью-роуд
Highgate Cemetery – Хайгейтское кладбище
Stoke Newington – Сток-Ньюингтон
Islington – Айлингтон
Dulston – Далстон
Lily's Flat – квартира Лили
Seth's Store – магазинчик миссис Сет
Dulston Community Centre – Общественный центр Далстона
Baskin's Public Relations – «Баскинз паблик рилейшнз»
Hackney – Хакни
Marshes – болота
Phar Lap's Country – Страна Фар Лапа
Alice Springs – Алис-Спрингс
Australia – Австралия
Millenium Dome – купол «Миллениума»
LIVING AND DYING – жизнь и смерть
Soutywold – Юг
Walberswick – Уолберсуик
Dunwich – Данидж
Sizewell – Сайзуэлл
Snape – Снейп
Aldeburgh – Олдборо
Suffolk – Суффолк
«Nowhere» – «Нигде»
A MAP OF LILY'S LONDON, ELSEWHERE AND NOWHERE – карта Лили: Лондон, где-то там и нигде
RIVER – река
The Death Flat – последняя квартира
Old Street – Олд-стрит
Corporate Communications – «Корпорейт Коммьюникейшнз»
University College Hospital – больница Юниверсити-Колледжа
Royal Ear Hospital – Королевская клиника ушных болезней
Old Compton St. – Олд-Комптон-стрит
Soho – Сохо
Emban Kment – Набережная королевы Виктории
Piccadilly – Пикадилли
Albany – Олбани
Grosvenor Square – Гроувнор-сквер
Dulburb North – Северный Далберб
Dulburb Common – просто Далберб
Dulburb South – Южный Далберб
DULBURB – Далберб
The Elverses' Apartment – квартира Элверсов
Regent's Park – Риджентс-парк
THE WOOD BETWEEN THE WORLDS – лес между мирами

ЭПИЛОГ

Апрель 1999

Нас, старых женщин, легко стереть с картины прошлого века. Мы — делая демографическая группа Троцких. Как некогда этот вертлявый еврей, мы стоим, презрев тревогу, у деревянной, наспех сколоченной трибуны на платформе Финляндского вокзала. Без усов и козлиной бородки наш коллективный подбородок кругл и предельно беззащитен — в предчувствии холода стального ледоруба убийцы. Без пенсне наши глаза косят в ярком свете прожекторов. Мы совершили ошибку, — взываем мы к будущим историкам, — не принарядились для будущих поколений. Не одолжи мы ботинки Ленину, останься мы в костюме Троцкого — избежали бы распыления, непроявленности, избежали бы вечного забвения, будь оно трижды проклято.

Где мы, о, где же мы, старухи двадцатого века? Куда мы вдруг все подевались? Нас редко увидишь в кино, по телевизору, на фотографиях. Даже когда мы все-таки мелькаем в кадре, главная цель оператора — отснять реквизит:

заношенное пальто, мешковатое платье, стоптанные туфли. Рядом с великими мужами нашего столетия мы — просто матери или достаточно старые женщины, чтоб быть их матерями, или женщины, чей возраст превратил их в воплощенную бездетность, когда время пустилось наутек и наши старые вагины, подобно старым пылесосам, стали всасывать все бесформенное, неслучившееся, нерожденное.

Я не хочу сказать, что среди нас нет исключений, их было очень много — целые толпы исключений: бабушки, выбирающие кусочки угля из кучи шлака нашего века. Легион незаурядных личностей, бредущих с котомками за спиной под неусыпным надзором *einsatzgruppen.*[1] Знаменитые женщины, прижимающие к иссохшим соскам кудрявые детские головки, пока военные отряды хуту свирепствуют в садах смерти Кигали. Да, мы были там. И если принять во внимание нашу незаметность, нашу неспособность быть кем — нибудь еще, кроме статистов или подсобных рабочих истории — осветителей, костюмеров, участников массовки, — то можно заключить, что, *в сущности, мы были там всегда.* Еще до того,

---

[1] Примечания: 1
Штурмовики (нем.). (Здесь и далее прим. перев.)

как режиссер оттрахал свою очередную несовершеннолетнюю любовницу. До того, как сильные мира сего что-то замыслили или наметили арену действий. Мы были там, подобно стаду коз с продолговатыми глазами, или соломенному плетню, или анфиладе уличных фонарей. Мы, пожилые женщины, стояли там и ждали надвигавшихся событий.

А если старых женщин носит по полям жизни, то стоит ли удивляться, что то же происходит и за гробом. Взгляните на городской пейзаж, и вы увидите, как мы бредем нетвердой походкой в нашем отвратительном белье. Вглядитесь пристальней, и вы поймете, что многие из нас стоят одной ногой в могиле, но тех, кто туда уже сошел, гораздо больше. По мере того, как мир живых стареет — так как стерильный тампон гуманности препятствует оттоку поколений, — мы, мертвые, скапливаемся, словно мелкие монетки на бортиках, когда играешь в «каскад».

Молодые мертвецы полны амбиций. Жизнь не изнурила их — чего уж говорить о смерти? Во всяком случае, для патологически мобильных всегда найдутся вакансии в провинции и даже за границей. Множество мертвых молодых британцев и людей среднего возраста работают в Англии,

Штатах и даже в этой чертовой Германии. Но мертвые старухи? Кому мы нужны? В смерти, как и в жизни, мы топчемся на тротуарах, глазеем на витрины — уставшие, ковыляющие сквозь толпу на больных ногах *boulevardiers.*[2]

Мы стоим и ждем, что что-то случится — не важно что. Нас можно сфотографировать или заснять на пленку или на видео, мы — задник для гистерэктомий, на фоне которого вновь и вновь развертываются события. История не движется по кругу — она всегда разыгрывается на подмостках. И если считать смерть занавесом, то почему с авансцены в темноту партера устремлено столько жадных глаз? Что это — комические и трагические маски? Или совсем не маски?

Сегодня вечером — если вечер еще не кончился, нам пришлось чертовски долго ждать — я, Лили Блум, брела по Олд-Комптон-стрит. Еще одна мертвая старуха, неизвестно зачем патрулирующая Уэст-Энд. Мой литопедион вертелся у меня под ногами, Грубиян носился по дороге. Впереди, в пестрой толпе, то исчезала, то появлялась узкобедрая фигура Фар Лапа Джонса. Быть может, он не молод, но строен, будто выточен из черного де-

---

[2] Примечания: 2
Бульвардье, завсегдатай Больших бульваров (фр.).

рева, и, разумеется, он — *karadji, mekigar,* колдун. Он полон таинственной силы, *buginja,* владеет магией, *miwi.* Мне часто приходит в голову, что со своей матовой, в мелких морщинках кожей и процветающим ресторанным бизнесом он мог бы вполне сойти за гомосексуалиста с садо-мазохистскими наклонностями.

Когда я была жива, мне нравилось приглядываться к ближним. На улицах — где носятся юнцы, дергающиеся в предчувствии оргазма, как марионетки на веревочке, — меня привлекали обладательницы мешковатой твидовой одежды и нейлоновых кошелок — гильдия бабушек. Я завязывала разговор с этими тетками — вдовами и старыми девами. Наверно, я воображала себя кем-то вроде репортера, пишущего длинную статью о мире, в котором узнаешь свои черты. Я интервьюировала старых женщин, спрашивала, кто они такие, что делают, куда и зачем направляются, а также, когда они рассчитывают завязать с этим делом. Потом записывала их ответы в тетрадь:

1. Миссис Грин, вдова мелкого государственного служащего. Живет в Хорнси, в доме, прежде принадлежавшем ей и мужу, в подвале, куда ее вышвырнули сын с невесткой, которым не тер-

пится сделаться полновластными хозяевами.

2. Она направляется в Олд-Бейли посидеть в публичной галерее. Это приятное, дешевое и полезное занятие.

3. У нее в подвале жарко летом и холодно зимой, оттуда приятно выбраться.

4. На этот вопрос невозможно ответить в ее возрасте. Жизнь, на ее взгляд, не столько путешествие от одного уровня к другому, сколько круговой обзор мира.

Как же вы заблуждались, миссис Грин. В сущности, я поняла это еще тогда, когда заговорила с вами у билетного автомата на набережной Виктории, потому что сегодня вечером, задержавшись у сладкой хрустящей витрины «Patisserie Valerie» — в которой я не отражалась, — я встретила вас опять. На вас все то же шерстяное пальто, поистрепавшееся с годами, вы аккуратно ступаете по тротуару, на завитых волосах велюровая шляпка, похожая на коровью лепешку. Миссис Грин, я никогда не забываю лиц, даже таких невыразительных, как у вас. Миссис Грин, что вы делаете в Сохо? Ведь вам не нужен бутилнитрат, или трусики с разрезом на интересном месте, или мясные деликатесы, или суши. Стыд и срам!

Ваш муж умер в 1961 году. Впервые я встретила

вас в 1974-м, когда вам перевалило за семьдесят. Сейчас 1999-й! Черт возьми, вам девяносто пять, а вы не выглядите ни на день старше, чем в Зиму Тревоги Нашей (которая миновала).

— Вам не приходило в голову, миссис Грин, — могла бы обронить я ненароком, подойдя поближе, — что вы умерли много лет назад? Что вы на самом деле мертвы, но не сошли в могилу?

— О-о, вы ошибаетесь, дорогая, — могла бы ответить она. — Ведь я по-прежнему живу в своей квартире, плачу по счетам и все такое, хожу в магазин, играю в бинго. Будь я мертва, я не могла бы этого делать, верно?

Могли бы и можете, миссис Грин. Более того, теперь, когда вас уже не беспокоит воспаление подкожной клетчатки, вам легче все это делать, *n'est-ce pas?*

— Но как же мой Дерек? Он бы, конечно, знал, что я умерла.

— Он часто с вами видится?

— Ну-у… Он очень занят…

— Всю жизнь?

— Простите?

— Всю жизнь… черт побери. Он что, был занят всю жизнь? Последние десять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять лет? Слишком занят, чтобы

съесть печенье и выпить чашку чаю с молоком? В таком случае, что произошло?

— Ну-у…

— Ну-у… Никаких «ну», *nada, rien du tout.* Какая там река жизни! Омут смерти, вот куда вы угодили. Вы умерли. Ваш сын не видится с вами, потому что вы умерли — и он тоже! В начале восьмидесятых. Сначала аритмия — будто мелкая барабанная дробь, — а после большой прыжок в никуда. Потом работа.

— Работа?

— Да, в Суррее, он там проводит смерть. Но почему он не поддерживает с вами связь? Знаете ли, мертвецам это дается так же трудно, как и живым — поддерживать связь. Чтобы позвонить, написать, навестить, нужно сделать усилие. Особенно если твоя мать мертва, но даже не подозревает об этом. Впрочем, от таких, как вы, есть кое-какая польза.

— Польза?

— Вы что-то вроде неприкаянной души. Подобно всем неосведомленным мертвецам, вы служите посредницей между живыми и мертвыми. Я говорю о тех, кто умер во сне, или в умопомрачении, или не успев осознать, что случилось… им легче докричаться до другого берега

Стикса. К примеру, вы могли бы передать кое-что моей дочери Наташе.

Услышав мои слова, миссис Грин могла бы оживиться. За последние четверть века никто никогда ни о чем ее не просил — разве только о каких-то мелочах.

— Вашей дочери? А что мне ей передать?

— Что было бы просто замечательно, если бы она сделала аборт — хотя у нее и большой срок. Пусть она вырвет из своей поганой матки этого ублюдка и бросит на произвол судьбы — это было бы чудесно.

О, Боже, кажется, я хватила через край, миссис Грин пятится назад, переставляя ноги, как ходули, одну за другой. Она отшатывается от меня, в кротких глазах застыли отвращение и страх. И вдобавок эта шляпа вроде коровьей лепешки — и смех и грех!

— Ты никогда бы этого не сделала! — сказал мой литопедион, по обыкновению резвясь у моих деформированных ног.

— Что-что? — Я прислонилась лбом к витрине. Булочки с кремом, круассаны, песочные пирожные и птифуры за стеклом смешались с моими странными мыслями.

— Ты никогда бы этого не сделала, не напугала

бы эту мертвую старушку, миссис Грин. — Мой литопедион был зачат и погиб в 1967 году, в осень моей любви, и это объясняет его юношескую запальчивость.

— Я и забыла, что ты все знаешь, все видел. Забыла, забыла, забыла.

— Нет, не все. — Литопедион взглянул на меня своими блестящими черными глазками. Каменными глазками. Черными и живыми в отличие от тельца, серого, как йоркширский камень, на котором он стоял. — Но то, что случилось после моего зачатия, в том числе и пятиминутный разговор с миссис Грин на набережной Виктории в октябре 1974 года, я помню.

— Ты самый умный литопедион на свете. — Наверное, прохожие не видели ничего странного в том, что старая женщина, прислонившись к витрине, шепчет что-то своим опухшим лодыжкам.

— Я *твой* литопедион… *твой* Лити. — Грустно, что единственной наградой за все мои труды стали эти несколько последних часов. Из Лити в конце концов получился ребенок, о котором я всегда мечтала — достаточно умный и говорливый, чтобы меня воспитывать.

— Ну, хорошо, Лити, а почему я этого не сделала бы?

Впервые за одиннадцать лет, что мы были неразлучны, он перестал пританцовывать и внятно произнес:

— Потому что ты обожаешь подробности. Ты бы красноречиво описала бедной мертвой старушке неприглядную картину ее смерти. Последний вздох в ходунках, похожих на подставку для реторт, которой пользуется время, экспериментируя с человеческой смертью, — вот какое наблюдение сделала бы *ты,* но в гораздо более грубой форме. Она встала, чтобы налить себе еще чашку чаю, и, двигаясь через гостиную, зацепилась резиновым стопором за аксминстерский ковер на полу и умерла прямо там, не успев добраться до линолеума.

— Что ж, в этом есть, скажем так, определенное достоинство.

— Да, но… ты бы приукрасила рассказ. Она умерла в ходунках, перегнувшись вперед, и ее тело повисло на раме. Ты всегда говорила, что все англичанки…

— Определенного возраста, определенного класса…

— …похожи на грушу. И в смерти миссис Грин уподобилась перевернутой груше: голова раздулась от притока жидкости, в гниющей плоти

завелись личинки дрозофил, и в первый раз за несколько десятков лет она стала плодом груши, а не ее черешком.

— Тьфу, Лити, избавь нас от этого гиньоля. Избавь, моя радость. А что же «скорая помощь»?

— «Скорая помощь»? Ах, не тря-я-си мое дерево, маму-у-ля… — И Лити по обыкновению стал пританцовывать.

Лити — крохотный детский трупик, зародыш, погибший в складках моего чрева. Там он хранился в окаменевшем виде двадцать один год, пока я не умерла в 1988 году. Сразу же после моей смерти, когда я делала первые неловкие шаги, он выпал из-под моей ночной рубашки и стукнулся о линолеум на третьем этаже Королевской клиники ушных болезней. Фар Лап Джонс — который только что забрал меня со смертного ложа — остановился, наклонился и увидел малыша.

— Добро пожаловать, — произнес он на той разновидности английского языка, которую я никогда не могла принять всерьез: смесь прищелкивания, ударов языком по нёбу и слишком открытых австралийских гласных. — Это литопедион, твой маленький окаменелый ребеночек, йе-хей?

— Откуда мне знать, — пробормотала я. Смерть

уже успела смягчить мой нрав.

— Я обожа-а-аю тебя, — запел Лити, который за двадцать один год мог бы выучить что-нибудь получше, но, в сущности, он сформировался в те первые несколько месяцев, которые провел в розовых складках моей плоти, когда поп-ритмы еще резонировали в моем упругом животе, — любу-у-юсь на тебя, я обожа-а-аю тебя, ля — ля-ля-ля-ля-ля… — И несмотря на свои деформированные ножки (больше похожие на обрубки, что подтверждает мою догадку о том, что именно литопедионы послужили моделью для множества статуэток «Богинь плодородия», найденных на неолитических стоянках), малыш с удивительным проворством начал выделывать разные па и трясти своим крохотным задиком прямо у меня под ногами — потом он только этим и занимался.

— Знаешь, детка, могло быть гораздо хуже, — проговорил Фар Лап Джонс. — Гораздо хуже маленького парнишки. У тебя никогда не было абортов?

— Нет.

— А мертворожденных детей?

— Нет.

— Потому что они сваливаются тебе прямо на

голову — если на то пошло, йе-хей.

— Как это?

Тень от полей его нелепой пижонской белой шляпы скрывала лицо. Мне было видно только тлеющую самокрутку. В тот момент лишь отсутствие боли позволяло мне сосредоточиться на его словах, хотя впоследствии времени у меня было предостаточно, и я вновь и вновь прокручивала в голове этот бред.

— Мертвые дети… зародыши, новорожденные, любые. Знаешь, если у матери дети, очень молодые… вернее, маленькие. Так вот, когда женщина умирает, дети к ней возвращаются — ясно? Но, понимаешь ли, йе — хей, если дети маленькие, совсем… гм, они связаны с матерью… вьются вокруг нее… ну, вот как этот дым. Дети постарше — те не так к тебе липнут, взрослые дети — не липнут совсем.

— Как в жизни?

— Нет, не так, как в жизни… — Он замолчал, дожидаясь, пока пройдут санитарки, хотя в этом не было нужды. — В жизни смерть вас разлучает, йе-хей? А теперь она вас всех соединяет. Посмотрим, что тебе больше по нраву. Ведь у тебя есть умерший ребенок, верно?

— Откуда ты знаешь?

То была моя старая боль — аккуратное колечко, потянув за которое, можно откупорить банку моих законсервированных эмоций. Непрестанная боль утраты — как при раке.

— Какой из меня был бы посмертный гид, не знай я таких вещей? Без этого нечего и думать избавить тебя от колеса судьбы, йе-хей!

— Да, мой сын, Дейвид, погиб, когда ему было девять.

— И это случилось там, откуда ты пришла, в твоей стране, йе-хей?

— В Вермонте. Это не моя страна, просто мы тогда там жили.

— Ну, как бы там ни было, мальчишке нужно время, чтобы сюда добраться, понимаешь? Но здесь он задаст тебе жару, не сомневайся. Девять лет — нехороший возраст для смерти. Мальчики плохо это переносят, йе-хей.

В 1988 году на темной лестничной площадке, пока Лити резвился у меня под ногами, Фар Лап сказал правду. Лити никогда не высказывал обиды, не упрекал меня за свое неполное существование. Другое дело его брат Грубиян — назвать его Дейвом не поворачивается язык. Тайком пробравшись на борт «Боинга-747», он прибыл через несколько недель, тогда я знакоми-

лась с Далстоном и ходила на собрания. Грубиян явился, чтобы напоминать мне — долгие одиннадцать лет, — что значит быть плохой матерью. Грубияна постоянно обуревает ребяческий дух неповиновения, толкнувший его в пятидесятых на дорогу, под колеса автомобиля, который вышиб ему мозги и размазал по асфальту. Теперь, на Олд-Комптон-стрит, Грубиян занят ровно тем же.

В 1957 году в Вермонте я застала его во дворе с двумя приятелями. Трое мальчишек, раздевшись до трусов, вымазались с ног до головы черной грязью, которую развели водой из шланга.

— Во что вы играете? — окликнула я Дейвида с заднего крыльца.

— В ниггеров! — крикнул он в ответ.

Я выскочила из дома, домчалась в два прыжка до сына, схватила за светлые волосы и ударила по лицу — раз, два, три. Он сказал это не подумав — я понимала это даже тогда, в первом приступе гнева. Я понимала также, что в этих случайно извергнутых каплях расовой ненависти меня испугало то, что они могут быть моими собственными. Моими собственными трюфелями предубеждения, набухшими под лесной подстилкой.

Да, я ударила его, а он выбежал на дорогу и

погиб. Теперь он обожает носиться в потоке машин и вечно вымазан чем-то черным для игры в ниггеров. Тем вечером он стоял посреди Олд-Комптон-стрит, весь в черной английской грязи, блестевшей на его прямых руках и ногах, тряс маленькими кулачками перед лицом нелегальных таксистов из Сенегала, Ганы, Нигерии и кричал им: «Ниггеры! Ниггеры! Ниггеры!» Разумеется, они его не слышали. Они проезжали прямо сквозь него, словно он был призрачной фигуркой на капоте машины. Потом, оставив их в покое, он набрасывался на кавалькаду одинаковых, как роботы, мотоцикл истов. «Педики! Гондоны! Извращенцы! Бродяги! Алкаши!» — вопил он, но и те его не замечали. Черт возьми, даже если бы они его заметили, что они подумали бы? Ничего особенного. За то десятилетие, что мы снова были вместе, я десять тысяч раз наблюдала за тем, как беснуется Грубиян, — именно так ведут себя озлобленные мертвецы; остальных отличает равнодушие, такое же незаметное, как наша жизнь. Однако, к огромной досаде Грубияна — и к моему безрадостному удовольствию, — почти никто из лондонцев не замечал голого, измазанного грязью девятилетнего американского мальчика, выкрикивающего бранные слова. На уже уста-

ревшем сленге, который был им недоступен.

Та же история с прыщеватой пышной блондинкой, которую я видела вчера в толпе на Чаринг-Кросс. Она была в футболке с надписью: КАФЕ «ТЯЖЕЛЫЙ РОК» — КОСОВО. Ну и ну! Когда девочки были маленькими, я водила их в первое американское заведение в Лондоне, где подавали настоящие гамбургеры, в Большое Американское Несчастье на Фулем-роуд. Со временем оно превратилось в кафе «Тяжелый рок», затем еще один порочный круг, и вот уже фирменные футболки официанток украшены знаком человеческой беды. Неплохо, да?

Ох уж этот Грубиян! За все одиннадцать лет, проведенных в Англии, он не выучился ничему, кроме множества бранных слов. Он не ходил в Уигмор-Холл на струнные квартеты Бетховена. Не покупал на Пикадилли плаш «Берберри». Не прогуливался в воскресный день по Бейсуотер-роуд, потешаясь над китчем, развешанным на решетке парка. Нет-нет. Этому мальчишке-сквернослову нравилось делать только то, что он делал: бежать за мной и пинать в зад ногой — твердой и острой, как совок.

— Получай! — кричал он. — Вапи отсюда на хрен, сука!

Живые не чувствуют и не осознают присутствия мертвых, но, как известно, мы, мертвецы, общаемся между собой и неожиданное нападение может нас испугать. Обычно нога Грубияна проходит сквозь меня, но в тот раз он застиг меня врасплох, его оскорбления прорвались через мое бесцветное тупое равнодушие, я обернулась и увидела его худое, перепачканное грязью тело, мелькнувшее в толпе. Дети могут быть целью жизни, но трудно сказать, какой от них толк после смерти.

— Опять Грубиян, йе-хей! — Фар Лап подошел ко мне, чтобы выяснить, что меня задержало. — И когда он оставит тебя в покое?

— Боюсь, никогда. — Мы остановились. Он свернул сигарету, я достала свою. Мы закурили.

— Может, пора с ним распрощаться, отправиться куда-нибудь еще, йе-хей?

Фар Лап взял меня за локоть, я последовала за ним. Мы оба сделали вид, что касаемся друг друга.

— С удовольствием, но как?

— Йе-хей. Это не так-то просто.

— О чем ты? О реинкарнации?

— Як-ай! Плохое слово. Это все равно, что говорить про психов, которые трахаются с детьми,

что они любят детей, хей. Нет-нет, видишь ли, вся эта чепуха, которой набита Лили, для нового тела не годится, йе — хей? Одно и то же тело не служит двум душам, а одна душа — двум телам. Все устроено умнее. Ты привыкла отождествлять себя со своим телом — а это не так.

— Не так?

— Нет, что делает тебя сейчас Лили? Литопедион? Или тот маленький наглец? — У Фар Лапа был свой набор жестов: локти прижаты к извивающимся бокам, руки торчат в стороны, как поворотники на «хапмобиле» моего отца 1927 года выпуска. Когда он принимает эту позу, на него нельзя не обратить внимания — он притягивает взгляд.

Мы отошли на квартал от «Patisserie Valerie», Грубиян носился по дороге, а Лити блуждал в вельветиновых складках моего практичного мешковатого платья, как вдруг фасад паба, мимо которого мы проходили, задрожал, пошел волнами и взорвался изнутри. Воздух наполнился самыми разнообразными предметами: подносами, салфетками, ручками, добропорядочными людьми, гомосексуалистами, произведениями искусства, прежде известными как фотографии, табуретами, брюками, пьяницами, сердцами, лег-

кими, лампочками, кровью, кишками, «Бритвиком», гелигнитом, сидром «Бейбишам», фигурной плиткой, жареным арахисом, пенисами — словом, всей начинкой бара, которую кулак силового поля сжал и вышвырнул на улицу. Сквозь то, что могло быть мной и Фар Лаиом, промчался поток человеческих душ. Клочья человеческой плоти. Взрывная волна взвихрилась вокруг нас, смяв воздушную оболочку, словно бумажную обертку.

В ту же секунду все, кто был на Олд-Комптон-стрит, лежали ничком — как будто какой-то злой демон объявил мертвый час для всех детей. Один Грубиян остался стоять на мостовой. «Педики! Ниггеры!» — орал он. Ошеломленный Лити вцепился в мою лодыжку и начал карабкаться вверх, пока мы обходили битое стекло — осколки, как всегда, казались мне фрагментами головоломки, изображающей окно, — обломки дерева, дрожавших от страха детей, очнувшихся прохожих и куски человеческого мяса.

— Это наказующий бумеранг, хей, — раздался в моем внутреннем ухе щелкающий голос Фар Лапа. — Бумеранг валбри, хей-йе. Очень сильный. Висел прямо над Балканами, когда я возвращался в последний раз. В этом году поднимет много смертельной пыли, хей-йе!

— Сказки, — буркнула я в ответ.

Замедлив шаг, мы свернули на Уордор-стрит, чтобы не столкнуться со старой мертвой проституткой. Я сразу ее узнала. Вокруг ее головы парило множество зародышей — каждый на своей пуповине, — поэтому ее прозвали Медузой.

— В газетах пишут, это дело рук ультраправых групп, подразделений националистической партии или чего — то в этом роде. — Я не оставила попыток просветить Фар Лапа.

— Ювай… все это домыслы. А вот то, что мы опаздываем, факт.

И вновь он ускорил шаг, я спешила за ним, пробираясь сквозь толпу, которая теперь, когда мы вышли за пределы действия взрывной волны, напротив, демонстрировала все признаки взрыва. Конечно, здесь были и синтезированные сигналы сирен «скорой помощи» — но ведь они звучат повсюду. И взбудораженные люди, жаждущие насилия, только бы оно не затронуло их самих, — но ведь их полно повсюду. Однако причиной всей этой кутерьмы оказался не взрыв на Олд-Комптон-стрит, а автомобильная авария, и мы не остановились поглазеть. Под лжепорфировыми колоннами Нэшнл Вестминстер-банка Грубиян тряс своим маленьким пенисом перед

носом ничего не подозревавшей голландской туристки, сырную головку которой рисовал экономический мигрант из Эфиопии. Лити, перебирая ручонками, взобрался повыше, ухватился за нижний шарик моих янтарных бус и укрылся у меня на груди.

Как странно не иметь возможности прикоснуться друг к другу. В шестидесятые годы меня всегда поражало, почему космонавты не могут адекватно описать невесомость. Я думала, быть может, в космос посылают дураков, но за последние одиннадцать лет я поняла, что некоторые ощущения сродни космическим. Мертвец может подойти к предмету вплотную, провести по нему рукой, пытаясь уловить точную степень сопротивления поверхности, но не *чувствует*, не *касается* его. Однако все мы делаем вид, что прикасаемся друг к другу. Для мертвецов это вполне естественно — вы не находите?

Сама я никогда не жалела об этом — физическом — аспекте жизни, о ее внутренне-внешней стороне. У меня даже не было мертвого маленького двойника, с которым я, подобно множеству других, могла бы встретиться за гробом. При жизни этим идиотским двойником было грузное тело блондинки, которое я таскала за собой повсюду

— тяжелое, глупое, неповоротливое и невпопад улыбающееся всю мою проклятую взрослую жизнь. А потом еще и рак! Менопауза наступила у меня удивительно поздно для женщины, которая, казалось бы, давно вышла в тираж. Забавно, только я успела распрощаться с кровавой чашей менструации, как где-то испортилась сигнализация и клетки начали делиться.

Один умник сказал мне — когда я по-настоящему умирала, — что при развитии плода деление клеток происходит гораздо быстрее, чем при раке. Отлично. Он умер через три года после меня — тоже от рака, — тогда я еще по наивности думала, что жизнь за гробом предоставляет неограниченные возможности для безграничного злорадства, для извращенного наслаждения страданиями других. Что вполне по-английски — эта страна хохотала до колик, когда она отодвигала стул, а мир шлепался на задницу. Итак, я отправилась на него взглянуть, быть может, даже обнаружила себя — не помню точно, — но я постаралась отравить ему смерть, шепча на ухо: «Деление-деление-деление…» Кто знает, что он при этом чувствовал. Кто знает.

На Пикадилли было много неприкаянных душ: жалкие тени мертвых наркоманов, шлюх

и жертв автомобильных аварий — обычно они растерянно слоняются вокруг пьедестала Эроса. Хотелось бы мне взглянуть на медиума, установившего контакт с этой каруселью психов. Я бы в упор не видела эту паршивую процессию, если бы не Грубиян, он всегда к ним подбегал, срывал эктоплазму с их плеч и подбрасывал в воздух, словно повар тесто для пиццы. Я крикнула ему, чтобы он поторапливался, а Лити запел:

Давай-давай, давай-давай,
В нашу ба-а-нду вступай!
В нашу ба-а-нду, в нашу ба-анду,
В нашу банду вступай — о-о да!

Это разозлило Грубияна, он дал затрещину Лити, который заверстал и кинулся ко мне за помощью, но я оттолкнула его, он врезался в Грубияна, а Грубиян отшвырнул его опять. Как всегда, было трудно сказать, что больше приводит их в ярость — родственные узы или невозможность надавать друг другу настоящих тумаков. Они следовали за мной по Пикадилли, переругиваясь и обзывая друг друга последними словами. Что поделаешь — дети…

Вот о чем я нисколько не жалею, так это о своем белье, которое всегда причиняло мне массу

неудобств. Я помню, в Тоскане, в середине семидесятых, единственным, что привлекло мое внимание в великолепном палаццо эпохи Возрождения, в бесконечной анфиладе комнат с картинами, мебелью, стеклом и еще бог знает чем, был дверной замок, похожий на крючок от бюстгальтера — с плоскими проушинами. Он был единственным, за что я смогла зацепиться взглядом в тот жаркий, благоуханный, великолепно чувственный полдень. Возможно, из-за того, что меня прохватил понос. Обычно он обострял чувство неудобства от белья. Это точно.

Стоя под Эросом, я надеялась, что смертократы назначили мне встречу в каком-то особенном месте, потому что мне хотелось, чтобы эта встреча была особенной. Я провела почти вечность, таскаясь по их офисам в Элтеме, Онгаре, Баркинге и Терроке. Смертократы, как известно, предпочитают снимать помещения, в которых еще остались многочисленные свидетельства прогоревшего бизнеса: вешалки «Ноббо», ежедневники «Саско», толстые шариковые ручки со множеством стержней, устаревшее компьютерное оборудование. Да, именно такая обстановка им по душе. В самом деле, этих невзрачных человечков в коричневых костюмах трудно представить в другом окру-

жении. Как невозможно себе представить, что они не играют в компьютерные игры или не вертят в руках свои игровые приставки. Странно, что люди, ведающие смертью, помешаны на разных технических штучках и склонны к всевозможным причудам — в общем, ко всему, что позволяет им коротать время, пока в потоке посетителей не образуются пробки и мы, тени, не столпимся в тени приемной.

И все же, как вам известно, не все смертократы мужчины, среди них попадаются и женщины, вечные дурнушки. Старые девы, достигшие совершеннолетия во время Первой и Второй мировых войн, женщины, существовавшие при полном отсутствии мужчин. Они всю жизнь укрывались под шерстяными или хлопковыми зонтами от влажной мороси тестостерона. За гробом они делают то же самое. Какая мерзость! Фар Лап говорит, что большинство этих девственных секретарш — души, не нашедшие упокоения. А я возражаю, что ничего не может быть покойнее этих высохших особ, на цыпочках входящих на заседания с единственной целью вложить очередную кожаную папку в неопрятные пальцы мистера Гланвилла, мистера Хартли или мистера Кантера — за все эти годы он относился к моему

заявлению с наибольшим вниманием.

— Итак, вы остановили свой выбор на новом рождении? — спросил меня мистер Кантер в одну из наших последних встреч, его пальцы, подобно шпилям, вздымались над кладбищем открытого дела.

— Да, полагаю, смерть научила меня всему, чему могла научить. — Я сдвинула колени, сложила руки на коленях, сжала кулаки и — алле-гоп! Полвека словно не бывало, я снова сидела на злополучном собеседовании в «Барнард и Уэллзли», когда мой крупный нос рассматривали со всевозможных точек зрения.

— О, в самом деле.

Кантер был в своем обычном шерстяном старомодном костюме. С самого начала я поняла, что это вещь из гардероба Бернарда Шоу, а значит, мой смертократ — его последователь, пацифист и вольнодумец эдвардианской эпохи. Я была приятно удивлена, что люди, ведающие смертью, сохраняют свою эксцентричность и за гробом — но, может быть, только англичане?

Я всегда подозревала, что смерть по-американски — это нечто более эффектное и компанейское. Что на том свете Бобби Фрэнке двенадцать лет дожидался Лоуба, чтобы потом с ним подружить-

ся, играть в картишки и дожидаться прибытия Леополда из Южной Америки. Что даже такая парочка, как эта, в конце концов смирится с поражением.[3]

Для работы в системе управления смертью необходим богатый административный опыт. В первые два — три года я пыталась устроиться в одну контору, но мне сказали, что я слишком медленно печатаю — хотя никакой артрит мне уже не мешал — и не владею делопроизводством. (Несмотря на энтузиазм сотрудников, узнавших, что я занималась дизайном ручек.)

Не думаю, что кроме вышеперечисленных качеств требуется какая-нибудь особая квалификация. А вы? В конце концов большинство мертвецов-управленцев щеголяют в костюмах всех десятилетий последних двух веков или около того. Я видела элегантные однобортные шелковые костюмы 1950-х и грубые мешковатые саржевые костюмы 1930-х, нанковые сюртуки 1890-х и визитки 1870-х. Но в основном — отвратительные двубортные костюмы 1940-х,

[3] Примечания: 3

Имеется в виду известный судебный процесс 20-х годов. Двое молодых людей, Леоподд и Лоуб, убили своего соседа, 14-летнего Бобби Фрэнкса. Через 12 лет Лоуба зарезали в тюрьме, а Леополд, отсидев больше тридцати лет, был досрочно освобожден и уехал в Коста-Рику.

коричневые в белую полоску — наверно, потому что именно тогда бюрократы выдвинулись на первый план. Бумагомаратели остались в тылу, а их более воинственные собратья отправились на фронт. Обе невоюющие армии говорили на АКРОНИМЕ и совершенствовали систему административного управления, которая и стала господствовать в послевоенном мире. Программу составления таблиц изобрел Алан Тьюринг — на случай, если вы не знаете.

— О, в самом деле, — повторил Кантер, и я еще раз вслушалась в его слова. В смерти есть много хорошего, как и много плохого. Хорошее — то, что можно никуда не спешить, сидеть и смотреть. Между «О» и «в самом деле» у меня было достаточно времени, чтобы заметить выщербленные края перегородки из ДСП и множество стеллажей, ящиков и коробок. Заметить, что в этой конторе — на Уиллзден-Хай-роуд, над помещением химчистки — ключевую позицию занимает тележка фирмы «Декшн», в которой департамент Кантера возит своего *нюё.* Кантер и его сотрудники любили говорить: «О, вы знаете, это великолепный *нюё*, необыкновенно проницательный — мы так счастливы, что он с нами».

Знаете, что такое этот *нюё*? Окаменевшее тело

давно скончавшегося писаки, который в процессе медитации ухитрился перейти в кристаллическое состояние. *Нюё* этого департамента достиг его, непрестанно вращаясь на своем рабочем кресле «Паркер Нолл» под бесконечным потоком бакстонской минеральной воды из пластиковых бутылок, которые его ученики, перевернув вверх дном, ставили сверху над местом, где он сидел. Время от времени на его склоненную голову выливали пузырьки конторского клея, в него стреляли скрепками, навешивали всевозможные ярлыки, этикетки и бирки. За долгие годы его дутая фигура разбухла до неимоверных размеров, и он стал похож на дородного Будду, покрытого канцелярскими принадлежностями. И все же его таскали в паланкине из папье-маше из одного опочившего туристического агентства в другую обанкротившуюся компанию по оптовой торговле электрическими приборами.

Надеюсь, вы заметили, что смертократы страшно гордятся своим изваянием Анубиса? Переезжая в очередное арендуемое помещение, они везут его с собой, словно старого балованного пса с дурным характером. Трогательно, не правда ли?

Живые, возможно, могли бы подумать, что костюмы разных эпох и присутствие диккенсов-

ских клерков, играющих в нинтендо, придает этим офисам анахроничный вид. Но это не так. Живые считают себя современными и глубоко заблуждаются. «Каждый период времени, в котором я жил, для меня ничем не отличается от настоящего», — любил говорить мой второй муж, любовь была его сильной стороной. Он любил меня, или своих дочерей, или мать не больше, чем свою собаку, или сумку для гольфа, или свой пенис. «Любовь» было начертано на его сердце, когда я вырезала его еще трепещущим. Шучу.

Всю жизнь Йос вел неестественно подробные записи о Настоящем, в мельчайших деталях описывая его уход. После того, как ушел он сам, я их прочла, и, к полному моему удовлетворению, оказалось, что жизнь, подвергнутая чрезмерному анализу, не представляет большой ценности и что, хотя он якобы умер от обычного инфаркта миокарда, на самом деле он, подобно многим ему подобным — вечно инфантильным представителям верхушки среднего класса, окончившим закрытые частные школы, — вернулся в обитель на Енисейских полях, записав в местной книге постояльцев: «устал от жизни».

— О, в самом деле? — Неужели Кантер снова это повторил? Определенно, он заметил, что я

смотрю на проклятого *нюё*, потому что добавил: — А вы не думали о том, чтобы стать *нюё?*

— Простите? — переспросила я, хотя прекрасно слышала вопрос.

— Освободиться посредством слуха на посмертном уровне. Вы, разумеется, знакомы с таким подходом?

— Разумеется. — Они всегда так говорят, эти коричневые костюмы, с легкостью превращая необыкновенное в банальное. — Но мне бы хотелось остановиться на новом рождении.

— Видите ли, мы располагаем богатым ассортиментом новых принципов анимации… к нам постоянно поступают предложения относительно мертворожденных детей с поражением головного мозга… — Прервав свою речь, он обратился к проходящему мимо клерку: — Мистер Дэвис? Будьте любезны, принесите папку с мертворожденными детьми…

— Честно говоря, у меня нет желания стать *нюё* и я предпочла бы в следующем круге остаться собой, если можно так выразиться.

— Вы отдаете себе отчет, что на самом деле вы больше останетесь *собой,* если усвоите новые принципы анимации? У вас будет более… как бы это сказать?… более *проницаемый* барьер,

отделяющий одну совокупность воспоминаний от другой.

— Я понимаю… но тогда я не буду собой. Собой. Собой.

— Вы совершенно правы.

Он пытался сбыть с рук залежалый товар, кроме шуток. Но, к счастью, я не принадлежу к числу живых — живые попадаются на том, что считают себя современными, хоть это не всегда так. В их умах роятся мертвые идеи, образы и искаженные факты. Их поле зрения загромождают ветхие здания, ржавые машины, размытые дороги и небо, о котором они имеют смутное представление — темнеющее к горизонту истории. Всякий раз, когда они хотят запечатлеть город своими примитивными, как фотоаппарат «Брауни», мозгами, они берут все эпохи в один кадр. Их носы забиты мертвыми волосами, омертвевшей кожей и слизью — от них разит прошлым. Прошлое у них под мышками, в паху, между пальцев ног. Ж-жик… ж-жик! — сдирают они шелуху годов. В то время как мы, мертвецы, — истинные наследники Современности. Живые разбивают время на десятилетия — периоды явного позерства, смысл которого лишь изредка осознается в ностальгической ретроспективе. Мой второй муж был

глубоко несовременным человеком, с каменной башкой из каменного века. Но мы, мертвецы… мы видим время целиком. Анахронические очки — единственные, которые мы носим. И потому бесчисленные конторы, по которым я ходила, пока Лити сидел у меня в кармане, а Грубиян ругался в вестибюле, пытаясь описать старые номера «Ридерз Дайджест», вовсе не казались мне странными.

Но, похоже, я отвлеклась, чего никогда не позволял себе Кантер.

— Благодарю вас, мистер Дэвис, — сказал он, взяв в руки кожаную папку. — *Видите ли,* миссис Блум… возможно, ваш посмертный гид… мистер…. Джонс, да-да, Джонс, вам *говорил…* что у нас есть собственная калькуляция, собственное делопроизводство.

— Я прекрасно об этом осведомлена.

— На этот раз речь пойдет не о том… — тут он снял очки в металлической оправе и запустил руку в свои редкие рыжеватые волосы, дав мне время еще раз подумать о том, что моя судьба вместо того, чтобы зависеть от решения непререкаемо величественного англичанина, твердо намеренного ее решить, оказалась в мягких руках жалкого тщедушного еврея, — …как вы вели

себя в вашем, так сказать, последнем «круге».

— Мистер Картер, сэр… — Подобные почтительные обращения легко слетают с языка, когда обращаешься к тому, кого не унижали с 1953 года. — Мне хорошо известно, что такое карма.

— В том, что касается предсмертного периода, пожалуй… а после смерти? Вы умерли в 1988 году, задолжав две тысячи фунтов Управлению налоговых сборов. Следовательно, эта сумма должна быть оплачена из вашего имущества…

— Это так важно?

— О да. Счета есть счета… а мы…

Счетоводы. В отличие от своих странных коллег, мистер Кантер почти ничем не отличался от мистера Вейнтроба, тот в последний мой приход к нему — рак уже сожрал, выскреб ложечкой мою левую грудь, словно какое-нибудь поганое авокадо, — уверил меня, что позаботится о необходимых выплатах… сидя в своем агрессивно обставленном кабинете на пересечении Норт-Серкьюлар и Брент-Кросс, играя «БИК Кристал» и отпуская замечания по поводу счетов, которые я старательно подобрала и сложила вместе.

— …занимаемся здесь тем, что суммируем *все* столбцы. Мы будем заниматься этим почти весь следующий год, так что не удивляйтесь, если

ваши соседи… вы живете в Далбербе?

— Нет, в Дал стоне, — поправила я.

— В Далстоне, верно, приятное местечко, типичная лондонская окраина. Так вот, если вы узнаете о том, что кто-то о вас расспрашивает, не беспокойтесь, это мы. А сейчас, — он заерзал своей рыхлой задницей в вертящемся кресле, словно подумал о содомии, — поговорим о сексе.

— О сексе?

— Вот именно. Надеюсь, вас не слишком огорчит возвращение сексуальных ощущений? Разумеется, сначала чисто эмоциональных, но тем не менее вполне реальных. — Он замолчал, проверяя, какое действие произведут его слова, и тут зомби принес нам чай и бисквиты.

До конца нашей беседы поднос с бисквитами стоял между нами. После того, как я ушла, другой зомби вернулся, чтобы его забрать. Забавно, хотя мы, мертвецы, никогда не едим, некоторые из нас любят подавать угощение.

Так вот, то была одна из последних встреч с Кантером. А перед этим, на Пикадилли, меня затопила волна оргазмов — скопление пенисов возбуждало мою плоть. Когда я по возрасту вышла в тираж, моя плоть обвисла, собралась в отвратительные складки и я решила отказать-

ся от секса — так оно и случилось, по крайней мере, после смерти. Однако с тех пор, как Майлс с Наташей занялись этим в нелепой квартире на Риджентс-парк-роуд, меня начали одолевать похоть и ревность. Кто бы мог подумать, что они вновь окажутся в старом доме, за завистливой зеленой дверью? Неземные пальцы касались моей вульвы. Мой первый муж, весельчак Дейв Каплан, любил говорить про свою бородку: «Она похожа на женский лобок. Стоит мне только ее коснуться, и я возбуждаюсь». Это о Дейве я вспомнила на Пикадилли. Или, вернее, о неуместном пигментном пятне, расположившемся там, где начиналась его редкая шевелюра. Именно на это желто-коричневое пятнышко я смотрела, устремляясь к новому сокрушительному, но отнюдь не спонтанному оргазму.

Через несколько лет после того, как наш брак распался — в конце шестидесятых, если соблюдать хоть какую-то точность, — мы иногда обедали вместе на Манхэттене, — о, эти благостные обеды разведенных супругов, во время которых они могут наслаждаться если не сексом, то пищей, — и он мне признался, что, пока я смотрела на его родимое пятно, воображая, что впадаю в экстаз, он, чтобы задержать эякуляцию,

концентрировался на бородавке у меня на подбородке. «Touche pas!»[4] — засмеялась я и подняла бокал вина. «Да, — продолжал он. — Пожалуй, я провел годы жизни, разглядывая прыщики, пятнышки и другие изъяны у красивых женщин». И словно ощутив необходимость поощрить себя за это признание, он задумчиво погладил свою непристойную бородку.

Я привыкла к оргазмам с Капланом, хотя они, возможно, не были спонтанными. Я хваталась за его выгнутую шею, стонала, говорила разные вещи — да, я занималась этой ерундой. Я любила секс или, точнее, подобно многим моим ровесницам, любила идею секса. Секс, облаченный в романтические одеяния, секс с сильным, уверенным в себе мужчиной, а не с хнычущим юнцом. Естественно, по сравнению с этими мечтами секс без прикрас сильно проигрывал. Пенис нуждается в покровах. Но даже тогда из разговоров с самими юнцами (двадцатый век как никакой другой давал возможность пережевывать одно и то же; «Время как жвачка», тема для дискуссии) я поняла, что секс для них был чем-то совсем иным. Им приходилось не взвинчивать себя, а, наоборот,

---

[4] Примечания: 4
Не трогай! (искаж. фр.)

осаживать. Для них секс был *слишком* сексуален. Вот почему Дейв смотрел на бородавку.

Мы прошли еще пару кварталов, и Фар Лап Джонс исчез из виду. И вдруг я увидела его: он сидел, прислонясь к стене, у одного из проходов, ведущих к «Олбани», низко надвинув свою широкополую белую шляпу, так что видны были только черные джинсы, трещотка и огромные наказующие бумеранги. Он был похож на недоучку-иностранца, записавшегося в Лондонскую летнюю школу по игре на диджериду. Где-то по дороге он ухитрился стянуть мясной пирог. Удивительно, что Лондон из Фиш-энд-чипсингтона превратился в Кебабистан. Фар Лап жует эти подушки с фаршем и луком, предварительно полив коричневым соусом. Это его новоизобретенный австралийский обычай. Мечты о мясном пироге. Но он никогда не глотает его, никто из нас этого не делает, никто.

Так вот, он сидел у прохода, и я вдруг почувствовала острое желание зайти туда вместе с ним. Протиснуться в эту щель. Я была почти убеждена, что впервые за одиннадцать лет ощутила трение — стоя между Фар Лапом и стеной. Возможно, я даже начала туда протискиваться, потому что он сказал:

— Черт возьми! Лили-детка, не сюда, так не годится, нельзя туда идти.

— Куда? В «Олбани»?

— Нет, в эту чертову расщелину, детка! — Он сделал вид, что хочет потянуть меня за руку, и я последовала за ним. Мы шли бок о бок сквозь летнюю толпу; пешеходам, как крысам, передалось настроение тех, кто присутствовал при взрыве в пяти кварталах отсюда. Они сделались такими уродливыми, какими они порой бывают. — Ты почувствовала это, да? — спросил он.

— *Что это?*

— Исчезла бесцветная тупость равнодушия, йе-хей?

— Нет, мне правда захотелось зайти в этот проход…

— Со мной — ювай! — и ты думала о сексе, йе-хей?

— Да-а…

— Ты слишком долго была мертвой, детка, слишком долго. Эти мертвецы на Олд-Комптон-стрит, они пролетали прямо сквозь тебя, а ты ни разу не сбилась с шага. Я видел.

— Значит, ты думаешь… Ты думаешь, новое рождение было бы удачной идеей… в моем случае?

Он снова остановился, на этот раз совсем рядом с женщиной, которая, глядя в небо, подняла руку, словно собиралась остановить такси, которое Зевс гнал по огненно-красному вечернему небу. Фар Лап подошел к ней так близко, что ему пришлось немного пригнуться, его примеру последовала и я. Мы сводим наше присутствие на нет. Именно так мы, покойники, и поступаем. Стираем себя с искусно раскрашенных лиц живых. Подошел Грубиян и сел возле нас на край тротуара. Неожиданно Лити прислонился к его колену.

— Похоже, тебе не терпится избавиться от этих парнишек, йе-хей?

— Нет! То есть, быть может, да. Не знаю. Но если мне удастся родиться снова, то у меня будут живые дети, с которыми я смогу поговорить — даже если оставлю здесь этих двоих.

— Йе-хей! Тебе не хочется быть одной, Лили?

— А тебе?

— Я никогда не бываю один. Только прошу тебя, не откалывай никаких штучек, сейчас не время. Попридержи свои желания. Если сорвешься, тебе крышка, поняла? Это вернется к тебе, как бумеранг. Поняла? — В подтверждение своих слов он помахал в воздухе большим черным бу-

мерангом. — А теперь вперед. Тебя ждет мистер Кантер.

Он поднял руку перед не видящими нас глазами живой женщины и остановил такси. Вот как закончилось мое пребывание здесь. Я стояла в приемной и ждала последней встречи с одним из смертократов — пока ждала.

Рождество 2001

Да, но это еще не все. Возвращаясь мыслями назад, я вижу себя по-новому, мои образы множатся, словно в кабинке ресторана с зеркалами на каждой стороне. Когда мы садились в такси, я вспомнила: мы мчались по Уэст — Энду, не обращая внимания на взрыв на Олд-Комптон — стрит, подгоняя Грубияна. Мы были в спешке, я торопилась. Так вот, когда ты мертв, ты никогда никуда не спешишь. Ты можешь взобраться по темной лестнице, чтобы увидеть это своими глазами, ощутить затхлый запах ковра, предчувствуя чужой ужас на каждой из пятнадцати ступенек, на каждом дюйме лестничной площадки. Но, увидев его, ее и младенца, ты больше не спешишь. Раз ты уже здесь, спешить некуда. Только бесцельно бродить. Бесцельно бродить в вечности.

СМЕРТЬ

«Уже совсем утро».
Последние слова отца Сэмюэла Беккета

ГЛАВА 1

Апрель 1988

Говорят, ты — это то, что ты ешь, и вот теперь, на смертном одре, я поняла: это чистая правда. По сути дела, правда эта не только чистая, но и леденящая душу. А еще водянистая, клеклая и стылая. Раскисшее розовое бланманже очевидности и клейкая размазня доказательств. Хрящеватое подтверждение фактов, застрявшее в мозгу, словно мясо в зубах. Вам, разумеется, ясно, что у меня давно уже нет собственных зубов — просто на днях они мне приснились, я ощутила, каково их иметь. Мне пригрезилось, что у меня во рту настоящие зубы. Так вот, ты — это то, что ты ешь. В моем случае это больничное пойло, состряпанное — сомневаюсь, варят ли его вообще, — с одной явной целью: чтобы оно как можно быстрее проскользнуло через нас — живые трупы.

«Хватит с них и пойла, — слышится мне напористый голос диетолога (забавно, что эта профессия привлекает множество людей с патологическим отсутствием аппетита), выступающего на очередной конференции или совещании, — они и

так проедают половину бюджета национального здравоохранения. Разве это справедливо?» Возможно, и несправедливо, но я не зря платила свои сраные налоги, которые, надеюсь, сейчас платит этот смешной человечек — Вейнтроб.

Наша легкая пища хороша еще и тем, что от нее, как известно, не мутит. Вернее, ни запах ее, ни вкус ни в коей мере не отвлекают от работы наших бедных измотанных медсестер. Это правильно. Нам редко предлагают сыр и никогда — копченую рыбу. Яйца крутые до безобразия. Крутые овалы засохшего говна. Ни маринадов. Ни жирных соусов. Ни лука, а уж тем более чеснока. Не то чтобы мне очень нравилась такая пища раньше, когда я была здорова, однако теперь, умирая, я поняла: способность ощутить вкус некоторых продуктов через несколько часов после того, как вы их съели, — признак жизни. Жизнь полна повторов. Жизнь *продолжается.* Теперь, точно зная, что умираю, я могла бы убить за кусочек сала. Когда в середине шестидесятых — в шестьдесят третьем или шестьдесят четвертом, странно, что не помню, — мне удалили зубы, я вообразила, что стала бессмертной. Мне всегда казалось, что я отправлюсь на тот свет со своими собственными зубами, потому что они зверски

болели. Если меня не прикончит эта боль — ошибочно полагала я тогда, — то я наверняка отдам концы, когда она исчезнет. Умру от счастья. И вот теперь, с зубами или без, я умираю.

На этот счет у меня нет никаких сомнений, ибо полтора часа назад милейший мистер Кан, наш клинический психолог, зашел ко мне в палату сообщить, что скоро я умру. Один умник как-то заметил: чудо жизни заключается в том, что мы живем так, словно бессмертны, хотя и можем умереть в любой момент. Так бы и схватила этого идиота за жилистую глотку и придушила на месте. Он представлял себе, каково это — *знать* час своей смерти? Особенно когда тебе объявляют этот час таким манером:

— Гм… миссис Блум… насколько я понимаю, доктор Стил беседовал с вами утром?

— Да, беседовал.

Я откладываю в сторону дурацкий женский журнал и демонстрирую нервному мистеру Кану вставные зубы. Я благонравная старушка, отягченная раком. Без ног легко быть благонравной. Ноги, даже у старух, наводят мужчин на мысль о том, что между ними. В постели же ни у кого нет ног — если, разумеется, ты в ней не с мужчиной.

— Он упоминал о паллиативных средствах?

— О паллиативных средствах? Да, упоминал. Спасибо. — Я все еще во все глаза гляжу на мистера Кана, но взгляд мой начинает затуманиваться, потому что — посмотрим на вещи трезво, правильно это или нет, — понять, куда клонит напыщенный мистер Кан, очень сложно. Он действует похитрее Урии Хипа и потому представляется окружающим таким застенчивым, но зубы у меня не просто острые — они вечные, черт подери! Под маской скромника скрывается типичный маменькин сынок, хнычущий бандит, который помыкает женщинами, придя домой после тяжких трудов в больнице, где он вешал лапшу на уши умирающим.

— Мне очень жаль, но больше мы ничего для вас не можем сделать… Я не могу сделать… Вы верите в Бога, миссис Блум?

— К сожалению, нет.

— К сожалению?

Он толстяк, наш мистер Кан, у него нет прожорливого рака, пожирающего его грудь, которая отвратительно колышется под полупрозрачной синтетической рубашкой. Почему они всегда носят прозрачные вещи, эти люди, которым есть что скрывать?

— К сожалению, вы жестоко заблуждаетесь

насчет того, что хоть чем-то смогли мне помочь. Хоть что-то для меня сделали.

Я беру свой отвергнутый «Вуманз релм» и возвращаюсь к чтению кулинарных рецептов, которыми никогда не воспользуюсь, теперь уже наверняка. Выбираю образцы вязки.

Прочтя еще один рецепт банановых оладий — кажется, двухсотый за жизнь, — я поднимаю глаза и снова вижу мистера Кана. Не преуспев в том, что он считал сочувственным подходом, мистер Кан не теряется и применяет более научный подход:

— Тогда, быть может, вы согласитесь оказать помощь *нам?*

— Вам? Каким образом? — Я не верю своим ушам.

— Мы проводим исследование… изучаем отношение… безнадежных пациентов… — наконец-то он выдавил из себя это безнадежное «безнадежных», затолкал беседе в глотку, словно капсулу с цианистым калием.

— Отношение к чему?

За окном, на Графтон-уэй гремят и ревут машины. Когда я ложилась в больницу на операцию, для меня было огромным облегчением покинуть город, найти себе убежище — теперь-то я пони-

маю, что никакое здесь не убежище. В больнице должно быть место, где пациенты могут спрятаться от Кана и ему подобных.

— Гм… к… к качеству их жизни. — Выговорив это, он втайне гордится собой, на его толстой морде появляется легкая улыбка.

— То есть, вы спрашиваете умирающих о качестве их жизни?

— Д-да, именно так. У меня есть вопросник… хотите взглянуть?

— И что вы надеетесь открыть? — Мой тон, оставаясь спокойным, становится более резким, однако, как только я произношу ненавистные слова, меня захлестывает страх и слова бросаются врассыпную. — Что с приближением смерти качество жизни больного раком улучшается? О, Господи, черт бы тебя побрал, я не хочу умирать. Я этого не выдержу. Только не я! О, Господи, огосподи-огосподи-огосподи-огос… — И вот я дрожу от панического страха, сокрушительные рыдания вдребезги разбивают напускное спокойствие. Я вою, я скулю, я всхлипываю, и по моему обвисшему подбородку течет слюна. Затуманенным сознанием я чувствую, что мистер Кан доволен моим поведением. Он, как-никак, эксперт по горю — а здесь его навалом. Мешками. Но нет, он поки-

дает меня, встает и устремляется к сестринскому посту, пока я раздираю «Вуманз релм», рву в клочья бумажную Малую Англию, кричу и плачу.

У меня всегда был талант к истерикам, к погружению в черную пучину отчаяния, однако на сей раз эта черная пропасть гораздо глубже. Передо мною бездна, вбирающая в себя все мои жизненные соки. Так, вероятно, чувствует себя парализованный — исчезла половина моего мира. Половина пластиковой бутылки с водой, половина коробки с косметическими салфетками, половина мерзкого наполовину съеденного кекса, который принесла вчера моя непутевая дочь, половина скомканной бумаги, половина карандаша, половина пылинки. Впервые в жизни я чувствую, окончательно и бесповоротно, каково это — не быть собой. Каково быть собой, но этого не чувствовать. Мне страшно одиноко. Невыносимо одиноко. Кто бы мог подумать, что мне, познавшей в жизни столько распроклятого одиночества, теперь придется взглянуть в лицо одиночеству смерти? Я задыхаюсь от рыданий. О, мое «Я», для чего ты оставило меня?

Сестра Смит, одна из тех дородных уроженок Вест — Индии, которым может оказаться от тридцати до шестидесяти, укладывает меня об-

ратно в постель — ее руки похожи на резвящихся тюленей, — и тяжело опускается на кровать неподалеку от моей искромсанной груди. У нее наготове волшебный кубок — капсула валиума. «Вот», — говорит она, и я глотаю лекарство. С этим у меня никаких проблем, я, как-никак, приняла за жизнь целую гору подобных капсул, какой смысл теперь отказываться? В семидесятые, ежедневно патрулируя свой район с черным сторожевым псом депрессии, я часто обходила газетные киоски и, глядя на витрину со сладостями — взрослые и детки, кушайте конфетки! — воображала, что у конфеток внутри пять, десять и даже двадцать миллиграммов валиума. Вы входите, а старый хрен за прилавком — волосы зализаны назад, во рту дымящаяся сигарета — говорит: «Плохие нынче новости, миссис Йос, очень плохие. Бомба в Гилдфордском пабе, масса убитых. Кровавая бойня. Невинные жертвы. Чудовищное преступление. Даже страшно подумать. Дать вам валиума в придачу к "Гардиан"?»

— Вот, милая, — говорит сестра Смит. — Запейте.

Я чувствую сквозь байковую ночную рубашку ее огромную желтоватую ладонь. Странная смесь осязания и зрения — и это одно успокаивает ме-

ня, потому что я осязаю цвет лишь у черных. Что чувствуешь, коснувшись белой кожи? Наверно, бесцветную тупость равнодушия. Но черные — я всегда касаюсь их против воли, — они *на ощупь* черные, или желтые, или смуглые, или серые, как тот старик, попавший под машину на Финчли-роуд у магазина «Джон Льюис», которому я пыталась помочь. Он был серым на ощупь.

— Вы знаете, мистер Кан не лучший клинический психолог в больнице.

— З-знаю. Поверьте, уж я-то это знаю. Обожеобожеобоже… — Мне решительно хочется обнять сестру Смит. Ее сложение позволяет и ей меня обнять, она такая большая, ей легко это сделать. Моя мать была слишком маленькой, чтобы по-настоящему заключить меня в объятия с тех пор, как мне исполнилось семь лет, да она и не хотела — из страха помять свое безупречное платье. А что касается отца — я никогда не называла его папой, — он брал меня под мышки, поднимал и кружил, но как бы намереваясь выпустить из рук.

— На самом деле, он хочет вам добра… но подобрать нужные слова так трудно…

Да, это так или, по крайней мере, так кажется. Да, мне хотелось бы, чтобы сестра Смит обня-

ла меня, прижала мою искромсанную грудь к Большому Рифу своей груди… Твоя отсеченная опухоль покоится на глубине пяти морских саженей. Мне бы хотелось ощутить ее желтоватую ладонь на своих землистых плечах. Хотелось бы вдохнуть аромат кокосового масла, которым смазана ее кожа, запах РН-сбалансированного кондиционера, которым она ополаскивает курчавые волосы, но это неудачная мысль.

Я сижу в Хантингдоне (Лонг-Айленд), на веранде старого дома, который принадлежал нам — недолго, — когда я была маленькой. Сижу на коленях у женщины, такой же дородной, как сестра Смит, такой же черной и сладко пахнущей. Солнце то жжет, то щадит мою шею, пока Бетти заплетает в косы мои длинные светлые волосы. Даже тогда лучшим во мне были волосы. Неужели она решилась напевать гимны? Да, так и есть. Бетти религиозна, хотя, убираясь в доме, она поет блюзы. «Титаник мэн» в ванной, «Сент-Луис» на кухне. Она причесывает меня на французский манер: косички подняты вверх и перевиты между собой. Настоящая плетенка из волос. А пока она меня причесывает, я ее целую. Награждаю нежнейшими и легчайшими поцелуями в шею и ключицу, выступающую из выреза домашнего

платья. Я очень осторожно целую Бетти, в сущности, это воздушные поцелуи, колебания воздуха непосредственно у ее кожи, потому что я знаю — или думаю, что знаю: это вызовет ее недовольство. Но мне хочется целовать Бетти, потому что я ее люблю. Нет, не люблю — она для меня весь мир. Подобно всем любящим взрослым, которые возятся с маленькими детьми, она заменяет собой весь мир. Мой мир — это Бетти, а вовсе не земля. Все, что я вижу вокруг, принимается или отвергается в зависимости от того, насколько это соответствует Бетти.

Да, я целую Бетти, вдыхаю запах Бетти и даже тихонько тру ее старое домашнее платье между большим и указательным пальцами — потому что с ней я чувствую себя в безопасности, — как вдруг меня отрывают от нее и грубо ставят на пол.

— Скверная девчонка! Скверная! *Не смей этого делать!* Никогда! Ты поняла меня? Поняла?

На мое детское личико обрушивается пощечина, за ней еще и еще одна. Моя мать хлещет меня по щекам, как впоследствии английские актеры, играющие офицеров гестапо, будут хлестать своих жертв на допросе. Только она никого не играет. Ее бриллиантовое кольцо рассекает мне

щеку, льется кровь, и бриллианты становятся моими худшими врагами. Это так несоразмерно — чудовищное насилие со стороны хрупкой светловолосой женщины, — что Бетти потрясена, она привстала со старой качалки, ее лицо кажется расистской карикатурой на негритянку в шоке.

С тех пор я больше не целовала Бетти. Она оставалась в нашем доме, пока мне не исполнилось пятнадцать, но я никогда не дотрагивалась до нее. Мы болтали, я доверяла ей свои секреты, она сочувствовала, но мы обе понимали, что больше не прикоснемся друг к другу. Черная кожа стала для меня проклятьем. Дьявольской субстанцией. Я не могу дотрагиваться до чернокожих — разве только если этого не избежать. Несправедливо, что им, возможно, придется дотрагиваться до меня. Я очень надеюсь, что прежде, чем это случится, я потеряю сознание. И неожиданно говорю сестре Смит:

— Я буду понимать, что умираю?

— Ш-ш-ш… — Сестра Смит касается остатков моих волос — черная женщина, светлые волосы, вся моя жизнь сбилась в этот колтун, — но, заметив мое оцепенение, убирает руку. — Вы не жалеете себя, Лили. У доктора Стила добрые намерения, но он… как бы это сказать?., слишком

научно смотрит на вещи. Он не умеет объяснить… он говорил, что вас ожидает?

— Говорил, что на этот раз им не удалось убрать всю опухоль, что у меня гипо… гипо…

— Гипостаз. Ну, это значит, она стала больше.

— Так вот, он сказал, что можно применить химиотерапию, облучение — все, что я захочу, хоть пляски шамана, — но он считает… он считает…

— Что это не имеет смысла. Что лучше с этим смириться и умереть с достоинством. Он так сказал?

— Да.

— Что ж, конечно, доктор знает, что говорит, но, видите ли, он неверующий, он не уповает на Спасителя, вот почему и не может найти слова утешения — бедняжка.

Спаситель. Так вот оно что. Сестра Смит, несомненно, один из тех камней, на которых зиждется Церковь. Хотя в ее случае это, вероятно, маленькая «возрожденческая» часовня. Перед моим мысленным взором встает крохотное помещение, которое буквально сотрясается от звуков госпелс, распеваемых сестрой Смит и ее сестрами во Христе. Теперь я замечаю то, что должна была заметить раньше: золотой крестик в глубокой коричневой ложбинке на груди. Ее спаситель,

должно быть, совсем крошечный, приходит мне в голову — возможно, потому, что сардонический голос умолкнет во мне последним, — раз умещается на этом маленьком крестике.

— Спасибо, сестра, но я неверующая.

Пожалуй, это самые сестринские слова, которые я произнесла за последние несколько лет — все это время мне приходилось благодарить одну себя.

— Это не страшно, миссис Блум, у Господа есть место и для израильтян…

— Я не иудейка, сестра.

— Простите… но я думала… ваша фамилия…

Она хотела добавить «ваш нос», все хотят.

— Некоторое время я была замужем за мистером Блумом. — Ложь приходит легко, потому что это сестра Смит первой допустила ошибку. — Нет, я неверующая, я не верю в загробную жизнь, не верю в Большого Доброго Отца, ждущего меня на небесах. После смерти я сгнию. Вот и все, сестра, вот и все.

Секунду я горжусь своей бравадой, потом сестра Смит произносит:

— Видите ли, миссис Блум, не все экзотерические символы христианства надо понимать буквально. Вы не хотите видеть священника, но

мистер Кан…

— Насрать на мистера Кана.

— Миссис Блум…

— Насрать на него. Не хочу его видеть… никого не хочу… — И тут я срываюсь, крошечная пробка гордости вылетает из моей груди, и наружу выплескивается густой пенистый поток жалости к себе — далее следуют судорожные всхлипывания, пронзительные крики, слезы, за ними комки чего-то белого, и милосердная фундаменталиста тянется за лотком в форме почки. Почему их делают в форме почки, а не сердца, легких или отрезанной груди?

Она уходит, пригрозив мне доктором Стилом, а я возвращаюсь в кошмар *memento mori,* который и есть умирание. Половина всего ушла безвозвратно — плоть облезла и окончательно обнажился скелет вещей. Я в шоке. Вы не поверите, но я в течение двух лет ощущала свою опухоль и так с ней свыклась, что даже дала ей имя. Я зову ее Разбойницей — потому что скоро она уничтожит меня, маленькая озорница. Так вот, два года я зову ее по имени, и вдруг ловкий дружок доктора Стила вырезает Разбойницу. Но когда у меня под грудью сняли швы и я, набравшись храбрости, потрогала рубец, то обнаружила Разбойницу на месте, она

даже немного подросла. Так мне кажется.

Еще до того, как я узнала, что больна раком, я безумно боялась от него умереть. Умереть, как моя злючка — мать, сохнуть день за днем, пока не превратишься в серый хрипящий труп, в настоящую мумию. С кем бы я ни говорила, что бы ни читала, куда бы ни обращалась, везде меня предупреждали, что курение вызывает рак — но я не могла остановиться. Я не могла остановиться, не могла остановиться, не могла остановиться. Не могла, черт бы меня побрал. Не могла бросить курить, хотя мои легкие были словно нафарширована напалмом. Они сжигали напалмом вьетконговцев, а я сжигала напалмом легкие: «Кэмелом», «Уинстоном», «Мальборо» и даже — когда была действительно в отчаянии — *британскими* сигаретами, английским куревом. Они поливали «оранжевым агентом» джунгли, а я надрывалась от кашля.

Доктор Бридж, одна из постоянных подруг моего второго мужа. Сухая, как щепка. Небось труха сыпалась, когда они этим занимались. Йос и сам был сухим старым хреном. Сухим куском дерьма. Вот чем он был, Дейвид Йос — засохшим куском дерьма на обочине. В городе на каждом шагу натыкаешься на эти кучки — и идешь се-

бе мимо. И зачем я только не прошла! Так вот, эта Бридж — *Вирджиния* Бридж, подумать только! — паркует свой до смешного вылизанный «моррис-трэвеллер» — нелепую наполовину деревянную маленькую машинку, под стать ее нелепому наполовину деревянному маленькому домику, — поднимается в спальню, где я валяюсь в постели, утопая в собственной флегме. Трогает меня намазанными «Атриксом» руками и говорит с сухим английским акцентом: «Послушай, Лили, как я могу лечить тебя от хронического бронхита, если ты продолжаешь курить? Ты прекрасно знаешь о последствиях…»

Я не могла ее слушать. Меня лихорадило, мне было тошно — а ей хотелось трахаться с моим мужем. В чем мы с Йосом не сошлись? Можно ли себе представить, что мои дочки родились у Йоса от нее? Вполне. У нее был муж-инвалид. Парализованный ниже пояса. К счастью для Вирджинии, не выше. Так вот, я лежу там и смотрю тогдашнюю черно-белую хронику: павианов в натянутых на морды противогазах заставляют курить. Брось курить! Я не могла — лучше умереть. Сигареты были моими верными друзьями. Сигареты надежнее алкоголя, они утешают, но от них не толстеешь. Я бы скорее умерла.

С этими злосчастными сигаретами, как и с зубами, у меня установилась роковая связь. Мало того, когда я смотрела на лошадиные зубы Вирджинии — как она ухитрялась чистить этот штакетник? — мне приходило в голову, что все происходящее не имеет ко мне ни малейшего отношения. Это жизнь какого-то другого человека. Вроде Вирджинии. Я крепче закрывала глаза — «...это наркотическая зависимость, Лили, как и любая другая. Потерпи несколько дней...» — и желала Вирджинии смерти. О, Великий Белый Дух, я брошу курить, только избавь меня от этой женщины. Всего через пару лет она умерла, и, должна вам сказать, у меня возникло сильнейшее искушение снова взяться за старое. Шучу. К тому времени я стала бояться еще больше. В шестидесятые с каждым годом обнаруживались все новые ужасные факты о вреде курения. Всю жизнь я, казалось, мчалась к перекрестку, где меня поджидала Смерть, столкновение было неминуемым. Когда я бросила ку рить, ничуть не полегчало. Мне приходилось выкашливать тонны битума, и вот тогда я поняла, что курила так долго, что теперь наверняка *слишком поздно.* Проклятая цикута уже выпита. И я принялась читать все статьи о раке как о «сбывающемся

пророчестве».

Хорошо бы сейчас выкурить сигарету. Прямо здесь, в стерильной палате. Голубой дым на фоне белых простыней. Пусть наша жизнь похожа на «мыльную оперу», но каждая женщина имеет право умереть, как Бет Дэвис.

Сбывающееся пророчество. Гладкая, звучная фраза — а я всегда любила красное словцо. По профессии я была дизайнером. Не то чтобы я изобрела что-то важное, разве что колпачок от ручки, который держали во рту миллионы людей. Колпачок в данном случае — частное, а рты — общее. Так мне кажется. И все же изобретение — это сбывающееся пророчество, если оно хорошо сработано. Но дело с этим конкретным сбывающимся пророчеством — смертью от рака — обстояло так, что само произнесение пророчества неизбежно вызывачо у меня приступ канцерофобии. Всякий раз, когда я его произносила, я знала: так оно и будет. Сбывающееся пророчество стало сбывшимся. Но, несмотря на это, диагноз застал меня врасплох — смешно, не правда ли? Просто обхохочешься.

Как-то раз я сказала девочкам, которым было не привыкать к моему дурному настроению: «По крайней мере, мы можем плохо жить в хороших

условиях». (Плохо, потому что их отец нас бросил; плохо, потому что он не платил за коммунальные услуги, и мы сидели без света, тепла и телефона; плохо, потому что я не могла не плакать; плохо, потому что я *не могла найти ключи.)* По крайней мере, мы можем плохо жить в хороших условиях — ха! Какой же я была идиоткой, поставила все с ног на голову. Надо было сказать: *хорошо в плохих* условиях, вот как надо было сказать. Быть может, если бы я тогда сосредоточилась и сказала то, что нужно, то не лежала бы здесь, трясясь от страха, и не было бы ни боли, ни тошноты.

От тошноты мне дают лекарство — от которого меня тошнит. Возможно, мне подберут другое. Да, именно так. Меня будут пичкать лекарствами, пока те не полезут обратно. Ха-ха! Вот, спотыкаясь о вздувшийся линолеум, пробирается между каталками-катафалками доктор Стил. Он в белом халате, который, хоть и безупречно выстиран и выглажен (руками миссис Стил?), был сложен так, что на плотной ткани образовались четкие квадраты, из-за чего халат стал похож на рыцарские доспехи. Св. Георгий, прокрадывающийся в палату, чтобы сразиться с драконом-раком…

— Здравствуйте, доктор.

— Миссис Блум, к вам пришли ваши дочери.

— О, замечательно.

— *Обе* одновременно. — Интересно, какую из них он не одобряет. Впрочем, одобрения не заслуживает ни та, ни другая. — Но прежде чем они сюда войдут, мне хотелось бы поговорить с вами о будущем.

— Вы хотели сказать: об отсутствии будущего — для меня?

— Послушайте, я знаю, что сегодня не слишком удачно формулирую свои мысли, боюсь, это не самая сильная моя сторона… — В этом он прав. Стил стал врачом, потому что любит *болезнь,* а не больного. Да, он любит болезнь. Любит разглядывать под микроскопом интересные формы рака. Любит удивительно яркие краски и сложные изгибы живой ткани. В минуты задумчивости он любит порассуждать о природе рака. Он разглагольствует о том, что в древности не знали рака, что он возник из тьмы, возможно, в то же время, что и человеческий разум. После пары кружек крепкого эля он, пожалуй, рискнет заявить, что морфология некоторых видов рака является функцией их существования, короче, крошечной клеточной моделью гелиоцентрической вселенной! — …всегда трудно сообщать больному, что мы не можем ему помочь.

— Искренне вам сочувствую.

— Миссис Блум, мы не в силах вам помочь. Если хотите, оставайтесь здесь, конечно, хотя вам не хуже меня известно, что эта койка нужна другим больным. Кажется, мистер Кан сказал, что вас можно перевести в Сент-Барнабас…

— В хоспис?

— Да, в хоспис.

— На Масуэлл-Хилл?

— Полагаю, да.

— Я не поеду умирать на Масуэлл-Хилл, я даже за покупками туда бы не пошла. Я хочу домой.

— Пожалуйста, возвращайтесь домой. Ваши дочери сумеют обеспечить вам уход? Вы отдаете себе отчет, что он должен быть круглосуточным?

Или в хоспис, или домой… Другого не дано.

— Одна из них сумеет.

— Вы имеете в виду Шарлотту?

— Как, по-вашему, Наташа может что-нибудь организовать?

— Гм-м… нет. Скорее всего, нет. — Он что-то пишет шариковой ручкой, подобрав полы девственно чистых доспехов. Он безупречно выбрит, доктор Стил, прекрасно подстрижен. Когда он заболеет раком — а он наверняка заболеет, пророчество верное, — у него будет изящный,

аккуратный рак, крошечная опухоль в мозгу, которая просто пережмет жизненно важную артерию и выключит доктора Стила, как выключают свет. Одежда его останется безупречно отутюженной, а тело безупречно чистым.

Он уже ушел? Теперь это вошло в обычай — люди просто уходят, не прощаясь. Похоже, они считают, что разговоры со мной и так являются прощальными — зачем говорить «до свидания» старой крысе, она и без того уйдет. И это правда — я чувствую свою отчужденность. Как во время отечных беременностей, которые кончались появлением на свет Дейвида, Шарлотты и Наташи. Тогда мне казалось странным, что при прибытии этих важных гостей на праздник жизни я как бы отсутствовала, однако теперь я понимаю, что все друг с другом связано, и эти приготовления — приходы и уходы — помогают пережить то, что происходит сейчас. Последние дни жизни.

Должно быть, я ненадолго впала в беспамятство, потому что меня разбудила ссора девочек.

— Я не отказываюсь дать тебе денег, просто не ври, что ты их вернешь.

— Но я на самом деле верну. — Просящий голос звучен и красив от природы.

— Нет, не вернешь, ты никогда не отдаешь

долги. — Рассудительный голос сдержан и высокомерен.

— Верну… я нашла работу. — Пустая уловка.

— Работу? Ты? — Недоумение легко понять.

— В «Хакни доге»…

В Хакни… как это не вяжется с ее… с ее…

…обликом. Она красавица, моя Наташа. Ей бы носить длинные белые перчатки и записывать прыгающим серебряным карандашиком имена поклонников в программку танцев. А вместо этого она натягивает рукава своего черного кашемирового кардигана до самых запястий. Лучше бы она кололась в подошвы ног. Ее черные волосы выглядят так, словно их стригли фестонными ножницами. Голубые глаза обведены сурьмой, от которой темные круги под глазами кажутся еще темнее. Она конечно же под кайфом. В ее зрачках сосредоточилась гниль, тронувшая увядшую радужку. Она выше меня на дюйм или около того — наверное, в ней пять футов одиннадцать дюймов, — но худа, как вешалка. Когда я в последний раз видела ее раздетой, на ней все ребра можно было пересчитать. Если бы эту гнусную мастэктомию сделали ей, она бы даже не заметила. Но она выезжает на скулах, моя младшая. На скулах и обаянии. Как женщина с таким щедрым

ртом может быть столь скупа на чувства? Хотя это не важно: Нэтти родилась не для того, чтобы давать, а чтобы брать. Любой мужчина отдаст ей сердце или кошелек, а в наши дни — кредитную карточку и мобильник. Я часто думаю, не эта ли способность получать согласие, еще не задав вопроса, стала причиной ее полного неумения противиться своим внутренним голосам, своим демонам-искусителям. «Хочешь героина, Нэтти?» — ласково спрашивают они, а она отвечает: «Конечно, почему бы нет?» Она выдает себя за художницу — она и впрямь посещала художественную школу. К сожалению, она недостаточно обеспечена, чтоб быть одной из девушек-занимающихся-живописью, поэтому ей пришлось стать женщиной, рисующей на стенах. Она расписывала стены для какого-то культурного центра, но, судя по недавней перепалке, это в прошлом.

— В «Хакни доге», какая удача, — говорит Шарлотта. — Ведь ты уже знаешь туда дорогу.

— Катись ко всем чертям, скупердяйка! Не хочешь дать мне в долг двадцать фунтов — не давай. Потрать их на педикюр или массаж. Промывай свою буржуазную задницу хоть до смерти — мне плевать!

— Двадцать фунтов большие деньги.

Как это похоже на Шарлотту — так произнести «двадцать фунтов». Ледяным тоном. Она знает цену словам, которые деньги. Я приоткрываю одно веко, чтобы разглядеть обеих. Нэтти расположилась у стрельчатого триптиха облупленного готического окна. Моя кровать стоит в углублении — я углублена в себя. Наташе к лицу сочетание разврата и святости. Легко представить ее мадонной скверны. Шарлотта сидит на месте доктора Стила, у тумбочки. Она принесла цветы и бутылку ячменного отвара. Вчера я попросила ее принести ячменного отвара, которого мне хотелось больше всего на свете: больше света, больше жизни, больше любви. Но то было вчера, а сегодня я лучше буду блевать, чем пить эту мерзость.

Ячменный отвар и Шарлотта в чем-то схожи: и тот и другая в конце концов разочаровывают вас. Мало того, о них мечтаешь лишь тогда, когда их нет. Шарлотта одна из тех женщин — она производит впечатление зрелой женщины, хотя ей только тридцать против вечных двадцати семи Нэтти, — которые считают своей святой обязанностью максимально использовать то, что им дала природа. Она крупная полная блондинка, вроде меня. Временами она так напоминает мне

мою нескладную молодость, что это просто невыносимо. Да, она похожа на меня: рост пять футов десять дюймов; вес, по меньшей мере сто пятьдесят фунтов; большие, похожие на дирижабли груди; крутые бедра, густые волосы. Настоящая крупная блондинка, без дураков. Она бы могла с честью нести это звание, как я, будь у нее нос, но у нее нет носа, нет того «шнобеля», того «руля», который вел меня по жизни. К сожалению, нет. Вместо этого у нее нос пуговкой, как у Дейвида Йоса. *«Retruosse»*,[5] — обычно говорила его мать. «Вернее, поросячий», — отвечала я.

Итак, Шарлотта унаследовала от Йоса не только нос, но и другие черты лица. Временами, когда я гляжу на нее затуманенным взором, как сейчас, мне кажется, что на ее лицо наклеена фотография Йоса. Наверное, нехорошо с моей стороны не любить старшую дочь за то, что она похожа на отца, но, черт побери, так оно и есть. С чего еще мне ее не любить? Из-за того, что она заняла место брата, погибшего незадолго до ее рождения? Да, отчасти из-за этого. А как насчет того, что она точна, аккуратна и деловита — все эти качества напрочь у меня отсутствуют? М-м-м… должна признаться,

---

[5] Примечания: 5
Вздернутый (фр.).

и из-за этого. Бедняжка Шарлотта — с ее принадлежностью к среднему возрасту, среднему классу, с ее типично *английским* лицом — из кожи лезет вон, чтобы общаться со своей непутевой сестрой и умирающей матерью одновременно. Хорошо еще, что у нее есть мистер Элверс, на которого она может положиться. В данный момент ее супруг отсутствует. Вероятно, беседует по телефону-автомату в комнате ожидания или по мобильному телефону или высунулся в окно, чтобы отдавать распоряжения прохожим. Он крайне общителен, наш мистер Элверс.

— Тише, Нэтти, она проснулась.

— А я ничего такого не говорю…

— Ш-ш-ш…

— Девочки? Пришли мои девочки?

— Мы здесь, мам. — Шарлотта, наклонившись, берет мою распухшую от артрита руку в свою, просто пухлую.

— Это ты, Шарли? — Я вкладываю в эти слова столько притворной искренности, на сколько у меня хватает сил.

— Да, мам, это я.

— Тогда почему у тебя на лице фотография твоего паршивого папаши?

Шарлотта отшатывается. Нэтти хохочет.

— Отлично, муму. Мы по-прежнему острим? — Она наклоняется и влепляет мне в губы поцелуй, скорее похожий на удар.

— Мама! — восклицает Шарли. Она всегда предпочитала считать мою ненависть к ее происхождению шаловливым притворством. — С нами беседовал доктор Стил.

И тут я понимаю: игра закончена. Пока об этом знали лишь врачи, сестры да мистер Кан, это могло быть неправдой. То был прискорбный, но невероятный факт, от которого можно было отмахнуться — смахнуть в картонный лоток в форме почки. Теперь же, когда об этом знает Шарли, деловая Шарли, можно считать, что мои кости уже обратились в прах. Бьюсь об заклад, что, беседуя с доктором Стилом, она делала пометки в своем ежедневнике, аккуратно подчеркивая заголовки: Свидетельство о смерти. Похоронное бюро. Кладбище. Шарли неисправима.

— Нэтти-вэтти.

— Муму.

— Моя доченька. — Я раскидываю руки, и она каким-то образом ухитряется свернуться в моих объятиях несмотря на весь свой почти шестифутовый рост. Я чувствую на своей землистой щеке ее жесткие волосы, от которых пахнет хной, но

ей хорошо, сейчас она — мое дитя. Когда она мое дитя, я принадлежу ей.

С младшими детьми всегда так — всю жизнь они заставляют тебя воспринимать их как маленьких. И в ней нет совсем ничего от Дейвида Йоса.

— Хочешь домой, муму?

— Здесь паршиво, Нэтти: еда дрянь, обстановка дрянь и люди дрянь, моя радость.

— Ты вернешься домой, муму. А я поеду с тобой и буду за тобой ухаживать, обещаю.

— Ты же сказала, что нашла работу, — замечает Шарлотта.

— Нашла! — вскидывается Наташа. — Но что важнее: заколачивать деньги или ухаживать за умирающей матерью? Можешь не отвечать.

— Нам нужно обсудить некоторые практические вопросы. — Шарлотта рождена для подобных высказываний. — Маме нужен надлежащий уход. Я знала, что тебе захочется домой, мам, поэтому Ричард подыскивает сиделку, а я послала Молли убраться у тебя в квартире. Я правильно сделала?

— Наверно, да. — Я сказала «наверно» только потому, что филиппинка Молли, служанка Шарли с Ричардом, наотрез отказалась у меня

убираться.

— Но, мам, не можешь же ты болеть в грязном доме.

— Я болела в нем последние два года. Ты хочешь сказать, что я не могу умирать в грязном доме? Не бойся, скажи. Грязный-грязный-грязный. Умирать — умирать-умирать.

— Ма-ам! — хором воскликнули обе. В этом они едины: в постоянном желании воспитывать и увещевать мать. Что они будут делать, когда я умру? Их перестанет связывать даже это.

Придется сохранять гордую, циничную позу — это помогает держать страх в узде, приносит облегчение. Я не хочу раскисать перед ними сейчас, еще успеется. Время еще есть.

— Доктор Боуэн, главный регистратор, готовит твою выписку.

— Ей не привыкать.

— Что-что?

— Она уже много раз меня выписывала.

— Ах, мама, в самом деле!

Я в самом деле устала слышать это «в самом деле», сыта по горло. За мою жизнь и *в самом деле* можно было бы побороться, будь я уверена, что после того, как мне сожгут радиацией остатки волос и отравят лекарствами, никто и никогда

не произнесет таким тоном у меня под ухом «в самом деле». Но Нэтги не говорит «в самом деле». Она не так глупа. Она заливается смехом. Она земная душа, моя Нэтги. Лентяйка и хохотунья. К тому же Наташа, если ее помыть, причесать, одеть и обуть, выглядит так, словно она какает шоколадным мороженым, тогда как Шарлотта почти никогда не выглядит так, как ей хочется.

— Ричард сейчас подойдет, и мы поедем домой. Он на «мерсе».

— Чудесно.

— Я тоже поеду, муму. Приготовлю тебе что-нибудь вкусненькое.

— Двойной шоколадный фадж будет в самый раз. — И пока я опускаюсь на подушки (между прочим, подушки — единственное, что есть хорошего в современных английских больницах, большие, чистые, заботливо взбитые; все остальное можно определить как постель и завтрак для бестелесного существа), обе мои дочери начинают укладывать в мой жалкий саквояж пакетики с шампунем, книги, женские журналы и белье. Всю жизнь меня удручало мое белье — скоро я от него наконец избавлюсь. Саван от «Плейтекс» освобождает вас от жизни и возносит на небеса.

Конечно, в сороковые годы, когда девочки были

маленькими, я носила колготки и грацию, или чулки и грацию, или просто эту жуткую фацию. Я готова была носить что угодно, лишь бы скрыть живот Цереры и сделаться сильфидой. Сначала появились девочки, а уж потом — проклятые грации. Мои чулки держались на подвязках, прикрепленных к грации — этим доспехам из нейлона, резины и стали. В шестидесятые спонтанный секс давался мне с большим трудом. Любое желание иссякало за время, необходимое для того, чтобы просунуть в это ужасное сооружение руку, не говоря уже о члене. Это походило на трехминутную воздушную тревогу: «У-у-у! У-у-у! Секс приближается! Секс!» — *Быстренько, быстренько, мальчики… он путается в пряжках и застежках.* — Внезапно раздается невнятное «мамочка!», и уже слишком поздно. Не то чтобы мне безумно нравилось трахаться с их отцом, но секс в то время играл очень важную роль. В пору моей юности он значил для нас очень много. Мы не употребляли наркотиков, еще не помешались на потреблении, но получили возможность трахаться. Мы были детьми Второй мировой, когда считалось хорошим тоном отплясывать рок-н-ролл с кем ни попадя. Потом пришли пятидесятые и шестидесятые, когда выхлоп каждой машины

казался мне взрывом десятимегатонной бомбы. Не то чтобы холодная война так меня распалила, но вместе со многими другими я решила, что, пока мир летит в тартарары, я буду трахаться с доктором Стрейнджлавом.

Трахаться или убить ребенка. Либо то и другое вместе. Убить ребенка, трахаясь с доктором Стрейнджлавом, — вот чем было для меня начало шестидесятых. Но главное — убить ребенка.

— Когда на Лондон сбросят бомбу, нам придется убить Шарлотту, — сказала я Дейвиду Йосу. — Ты отдаешь себе в этом отчет? — спросила я за ужином, тогда все происходило за ужином. — Ведь даже если нам удастся выжить, мы об этом пожалеем. Это самое гуманное, что мы можем для нее сделать.

— Лили, ну что ты, в самом деле, — ответил он, сгребая на английский манер еду на тарелке (вилка — крохотный бульдозер, нож — крохотный барьер). — Советы, конечно, вышли из этого раунда переговоров, но они еще вернутся. Они понимают, что ядерная война — безумие. И Эйзенхауэр понимает.

Черт побери! Очередная сентенция в его духе! Он всегда так говорит, словно с ним лично советовались по данному поводу. «Это мистер Дейвид

Йос, специалист по истории религии?» — «Я слушаю». — «С вами будет говорить председатель Политбюро…» Пока я боялась заглянуть в газету, Йос переваривал кризис за кризисом, уверенный, что с ним ничего не случится — его корабль будет плыть по волнам, как всегда.

Во время войны Йос служил во флоте. «Я плавал в североатлантических конвоях», — говорил он обычно в барах гостиниц, в барах гольф-клубов, в поездных буфетах — везде, где мог принять свою любимую позу — руки в карманах фланелевых брюк. На самом деле, он отсиживался на берегу. Проверял, достаточно ли на кораблях пуль, галет и всего остального, что морякам полагалось брать с собой. Сраный интендант. И в море никогда не выходил, боялся отморозить свои драгоценные яйца. Отсиживался на суше, на Оркнейских островах, в уютном фермерском доме с одинокой фермерской женой. Наверно, по Оркнейским островам сейчас гуляет не один пожилой островитянин с физиономией Йоса. Удивительно, откуда у такого тугодума столь прыткий член.

Я вспомнила все это из-за детского языка, на котором говорю с Нэтти. Я слишком часто с ней сюсюкала, возможно, именно поэтому она осталась сущим ребенком. Я сюсюкала и с Шарлоттой,

но, вероятно, для того, чтобы она казалась мне маленькой девочкой, а не уменьшенной копией Йоса. Однажды в мае 1960-го сестра и зять Йоса пригласили нас на ужин. Его сестру звали Банни. У всей его семьи пошлые уменьшительные имена, мир был для них детским садиком. Так вот, Банни решила попотчевать нас куропатками. Крохотные птички лежали перед нами на тарелке, касаясь коготками краев, а их разрубленные пополам головки красовались рядом. Чтобы полакомиться мозгом, как цукатами. Мысль о том, чтобы с громким хрустом разгрызать хрупкие головки, была мне отвратительна, особенно потому, что все присутствующие именно этим и занимались. Я чувствовала себя, как в рассказе Кафки. У мяса, когда я его попробовала, оказался рыбный привкус, и я незаметно сунула его под большой вялый лист салата.

— Лили думает, что мы должны убить Шарлотту, если на нас сбросят бомбу, — сказал Йос, а Банни и мистер Банни угодливо закудахтали. Для меня это прозвучало так: «Лили думает, что надо укокошить Шарли — варли, когда бомбочка — бах!» Сюсюканье и, как ни странно, брань в одно и то же время. Когда мы пришли домой и Йос включил телевизор, новости звучали по

— детски. «Советы не хотят водиться с нами. Они злюки. Не любят Запад. Гадкие». Я сказала Йосу, что диктор — ублюдок из такой же ублюдочной программы — говорит на детском языке, но он на это никак не отреагировал. На следующий день, после «Дневника миссис Дейл», я слушала сообщения по радио, на детском языке, и когда Йос вернулся из университета, то услыхал, как я говорю двухлетней Шарлотте — разумеется, сюсюкая, — что ей придется умереть. И всякий раз Вирджиния Бридж оказывалась тут как тут со своим черным саквояжем, не успеешь произнести «барбитурат». Или даже «бар-бар-бу-бу-бират».

В те дни в ходу были барбитураты. Вирджиния называла их «желтым лекарством», но я-то на собственной шкуре испытала, что это такое. Она полгода продержала меня в желтой химической постели, а после выяснилось, что я беременна Наташей. Я думаю, не оказалась ли моя дочь в объятиях морфия из-за внутриутробной ванны с желтым лекарством? Я же оказалась во власти еще больших страхов. После рождения Дейвида, в 1948-м, у меня развилась клаустрофобия, а после рождения Шарлотты, десять лет спустя, — агорафобия. А после того, как в 1961-м родилась Наташа, я не могла находиться ни внутри, ни

снаружи. Я стояла в дверях с ребенком на руках, не в силах сделать страшный выбор. Похоже, у смерти есть одно хорошее качество: она собирает вместе все иррациональные страхи и лихо кроет их одной козырной картой. Все ставки биты. *Rien ne va plus.*[6]

— Мне нравится, что кошкам разрешают заходить в палату, — говорю я Нэтти, которая собрала мой саквояж, а теперь помогает мне снять ночную рубашку и одеться.

— Что-что?

Ее голова, похоже, занята совсем другим, более насущным — к примеру, где достать очередную дозу, раз не получилось стрельнуть денег у сестры.

— Кошкам — заходить в палату. Никто их не гонит. Одна полосатая кошечка весь день сидит на постели вон той старушки; другая, мраморная, прыгает иногда в форточку и сворачивается прямо у меня на животе. Это так успокаивает. Похоже, это новый вид терапии.

Мои слова не вывели Наташу из задумчивости. Она лишь странно на меня посмотрела. Очень странно. Так смотрят на умирающих, которые

---

[6] Примечания: 6
Все кончено (фр.).

еще способны что-то замечать вокруг себя.

Ну вот, явился Ричард Элверс с супругой. Они отлично смотрятся вместе — у обоих вид и манеры, приобретаемые деньгами. Признаться, Шарли сделала верный выбор: они прекрасно дополняют друг друга. Оба плотные, анального типа, оба конформисты. Элверс — крупный, рыжеволосый мужчина с безопасно красным лицом (он не пьет). Предпочитает носить темные двубортные костюмы, скрадывающие полноту. Как и Шарлотта.

— Привет, Лили. — Склонившись, он едва касается меня губами, словно я уже превратилась в падаль. — Я только что разговаривал с Молли, она навела чистоту в родовом гнезде.

— О, замечательно. — Раз филиппинка больше не бастует, я вернусь!

— Машина ждет у подъезда, на двойной желтой линии, поэтому нам лучше поторопиться.

— Оп-ля! — говорит Наташа, и они с Ричардом ставят меня на ноги.

Я посылаю несколько прощальных улыбок соседкам по палате — говорить *au revoir*[7] в данном случае не требуется. Сестра Смит на своем посту

---

[7] Примечания: 7
Прощайте (фр.).

вместе с двумя другими сестрами, вышедшими в ночную смену.

— Приятно видеть вас на ногах, миссис Блум, и под руку с таким красивым джентльменом.

Она, вероятно, решила, что Элверс мой сын. Стыд и срам, она и впрямь набитая дура. И все же я улыбаюсь ей как можно шире, ослепляю сверканием протеза. В конце концов, я, вероятно, покидаю эту больницу в предпоследний раз.

ГЛАВА 2

Я рада, что он нарвался на штраф — пускай и предварительный, в шестнадцать фунтов. Он заслуживает самой строгой кары, наш Ричард, над ним всегда должен быть занесен топор, готовый размозжить ему голову, если он хоть *когда-нибудь* сделает *что-нибудь* не так. Но в чем же его вина, этого честного предпринимателя, который был так мил, что женился на моей дочери — без которой я, признаться, могла бы обойтись, — заботится о ней и даже *хранит ей верность?* Ему сопутствует успех — а таких мы не любим. В конце концов, преуспевать может всякий, а чтобы оставаться неудачником, нужно мужество. Ричард начисто лишен мужества — возможно, этим объясняется его мальчишеская жизнерадостность. В его юношеском чреве нет ничего, кроме газов торгашества, без которых — это знает любой дурак — не бывает кислорода славы.

Итак, мы с нашими опухолями садимся в синий «мерседес» и трогаемся с места. Ричард немного злится, но не показывает виду. Машина похожа на Ричарда: изысканно безвкусная, тяжелая, солидная, деловая. И темно-синяя — под стать

военно-морскому флоту Германии. «Мерседес» так гордится долголетием своих автомоби лей, что не заботится о разработке новых моделей. Похоже, теперь, когда мы мчимся прямиком домой — я намеренно говорю здесь «мы», — в преддверии третьего тысячелетия, «Мерседес» вернется к выпуску старых моделей. «Дамы и господа, *meine Damen und Herren*, расположенная в Дюссельдорфе компания «Мерседес-Бенц», много лет сотрудничавшая с Тысячелетним Рейхом, счастлива представить вашему вниманию совершенно старый и притом совершенно новый самодвижущийся экипаж! Заботливо собранный тремя престарелыми мастеровыми, ветеранами битвы при Седане, самодвижущийся экипаж состоит из цельного деревянного корпуса и металлической приборной доски! За дополнительную плату прилагаются вазочки для цветов и ридикюли. Каждый экземпляр снабжен чехлами на подголовник…

— Гляди-ка, муму, — прерывает мои размышления Нэтти. Она сидит со мной сзади, взрослые впереди. — *«Жидомар».*

И правда, на углу дороги принца Уэльского я вижу «Жидомар» — вернее, то, что мы называли «Жидомаром», когда девочки были маленькими.

Теперь от него остались лишь темные буквы на кирпичной стене. «Жидомар», или, точнее, «Гвидомар», когда-то был галантерейным магазином. В шестидесятых-семидесятых годах, когда мы жили в Хендоне, его владельцы, Гвидо и Мария Рубенс, были нашими соседями. Гвидо и Мария — отсюда «Гвидомар», а от него, на наш антисемитский лад, «Жидомар».

Когда мы с Йосом и годовалой Шарлоттой перебрались в Хендон, я глазам своим не поверила. Здесь, у Рубенсов, просвечивая сквозь тюлевые занавески, шурша нейлоновым домашним платьем, бродя меж велюровых мебельных троек, пряталось мое унылое, крикливое, мелкобуржуазное еврейское детство. Дом Рубенсов насквозь пропах фаршированной рыбой и клецками из мацы, хотя Мэри Рубенс без устали наводила чистоту — она была какой-то моющей машиной. Начистив до блеска любую поверхность, она покрывала ее стеклом, или пластиком, или винилом. На всех столах лежали стекла, на всех сидениях — пластик, на всех коврах по краю шла прозрачная виниловая пленка. Все в этом доме было заключено в чехлы, но это лишь удерживало запах. Тем временем за забором, по соседству, я глотала транквилизаторы и заглаживала склад-

ки на рубашках Йоса. Я, как — никак, вышла замуж за настоящего обедневшего аристократа и просто не могла нарушать определенных норм.

«Жидомар», с его южным нефом, заваленным мочалками «Брилло», и пышными приделами, перевитыми гирляндами из швабр, давным-давно исчез, уступив место одному из отделений «Бумажных обрезков», входящему в национальную сеть по продаже эстампов, плакатов, почтовых открыток и канцелярских принадлежностей. Эти магазины появились в семидесятых, сбывая оставшееся от хиппи барахло: закладки с цветочками, зажимы в виде цветочков и прочее дерьмо. В расчете главным образом на детишек. Я помню первый такой магазинчик, в цоколе «Кенсингтон-маркет», а также его владельца Р. Элверса. Да, за «Бумажными обрезками» стоит Ричард Элверс, вот почему Нэтти с таким сарказмом произносит «Жидомар», напирая на слово «жид». Сам Элверс, как вы понимаете, вовсе не еврей, просто его, как и многих либералов-англичан, коробит наш еврейский антисемитизм. Ай-вэй! Так много людей еще надо унизить, а времени осталось так мало.

Да… но знаете что? Мне не нравится, что Ричард пооткрывал более двухсот «Бумажных обрезков». Меня ужасает, что он скупает оптом образцы не

только для своих магазинов, но и для себя и своей квартиры…

— Вот мы почти и дома, мама, — произносит Шарлотта, словно так оно и есть.

Из-за одностороннего движения нам приходится свернуть с Кентиш-Таун-роуд на Ислип-стрит, и теперь я не совсем уверена, что это по-прежнему мой дом.

Я переехала сюда десяток лет назад. Когда я думаю о колоссальных усилиях, приложенных мною, чтобы вписаться в окружение, то понимаю, сколь ничтожными были все мои жизненные начинания. Все мои жалкие потуги создать семейный уют напоминали детскую игру в «кубики» — и в Америке, и здесь. Они были детскими, беспомощными, и, едва их завершив, я в порыве ярости уничтожала плоды своих трудов.

Здесь следует сказать пару слов о Дейвиде Йосе: он прекрасно выбрал время для кончины, хотя при жизни всегда опаздывал. Он с опозданием бросил меня зимой 1970 года — не с тем, чтобы смыться к Вирджинии Бридж, или Серене Хастингс, или к любой другой чопорной светской сучке — некоторым он морочил голову *еще до войны.* Не помчался он и к Марии дос Сантос, своей коллеге, историку религии, испанке, как и

положено, страстной. Марию он буквально *преследовал* на всем пути до Севильи, *выл* у нее под дверью, как бессловесный пес, пока она не сбежала через заднюю веранду к своей матери, чтобы позвонить *мне* и попросить *меня* позвонить в его чертов отель и велеть ему *возвращаться домой.* Нет, не к Марии — которая, по правде говоря, всегда мне нравилась. Нет, он сбежал в самое вонючее место, которое только мог выбрать, вступив в связь с маленькой старой дамой по фамилии Уикс, Венди Уикс. Она была такой маленькой, старой, морщинистой и благовоспитанной, что девочки приняли ее за нечто среднее между гномом и своей *бабушкой.*

По-моему, Йос тосковал по мамуле, своей матери, которую ухитрился свести в могилу годом раньше. Либо тосковал, либо был геронтофилом. Низко так думать, но, когда прошли десятилетия и современная какофония заглушила жеманный акцент его изнеженной юности, у Йоса, вероятно, возникла невыносимая тоска по мимолетной встрече с прошлым. Единственным, что у него осталось. Неудавшийся джентльмен Йос не захотел быть просто человеком. И умер. Говорят, от сердечного приступа, но подобная смерть кажется мне слишком скоропалительной для

Йоса, который всегда неторопливо двигался по жизни. Нет, я склонна думать, что просто ослабла пружина его жизни. Часы встали, и никто не удосужился их завести. Его сердце пострекотало, потарахтело, потрепыхалось немного, подумало: «Да пропади все пропадом» — и замерло. Ему было пятьдесят шесть, еще один трутень, не сумевший выбраться из смертоносной ловушки.

Как странно, что евреи осели в тихой заводи лондонских пригородов. Как непривычно для диаспоры кончать свои дни за тюлевыми занавесками. За ненавистными тюлевыми занавесками. Вместо того чтобы оказаться в Голливуде или в газовых камерах, я поселилась среди людей, живущих за газовыми занавесками. Ричард осторожно сворачивает на Бартоломью-роуд. Двигатель тихо урчит, и нацистская подвеска не дает машине подпрыгивать на выбоинах. Кентиш-Таун вовсе не такой унылый, как Хендон. Он тонким лезвием врезается в самую сердцевину города. Я переехала сюда в 1979 году, когда Наташа пошла в художественную школу, и снова, уже в который раз, начала налаживать жизнь на новом месте: записалась в библиотеку, узнала, где здесь хороший гастроном, рассчитала длительность прогулок, разглядывала витрины,

знакомилась с соседями. Господи, какое счастье, что с этим навсегда покончено, вряд ли я могла бы выдержать это еще раз. Скорее, вернулась бы в Мадисон, штат Висконсин. Там мы с Дейвом Капланом жили в годы президентства Эйзенхауэра. Мадисон был городом для клаустро-агорафобии. Радиальные авеню, продуваемые свежим ветром с озер, устремлялись к фальшивому Капитолию, точке схода демократии.

— Вот мы и приехали, муму. Дай-ка я тебе помогу.

С чего это она так суетится? Пулей выскочила из машины, обежала вокруг и протянула мне руку. О! Боль и дурнота. Что было сначала? Наверняка боль вызвала дурноту, а, может, дурнота — боль? Мы ковыляем к обочине. Я и забыла, что сейчас весна, хотя в Лондоне это нередко означает только цветение желтых, как разлившаяся желчь, форзиций. Улица выглядит другой, как всегда после долгого отсутствия, а если ты вышел из больницы, то привычное потрясает — живительная прохлада и восхитительное чувство возвращения к жизни. После каждых родов — даже после тяжелых болезненных родов Наташи, — выйдя из больницы, я чувствовала себя неизмеримо лучше. Хотелось бы объяснить

это трансцендентным чувством Нового Материнства, Космического Начала — но это было бы ложью. Просто я снова чувствовала себя здоровой, легкой, похудевшей и свободной.

Теперь все иначе: я возвращаюсь домой умирать, поэтому запруженная машинами улица представляется мне скопищем грязи — вся в собачьем дерьме и жевательной резинке. В ярком солнечном свете кирпичные трехэтажные дома кажутся грязно-желтыми — из чего только сделан Лондон? Разумеется, из лондонских кирпичей. Я чувствую себя страшно уязвимой в стареньком пальтишке, стоптанных туфлях, похожих на корнуэльские пирожки, и с непокрытой головой — сквозь поредевшие волосы просвечивает кожа. При каждом шаге рот наполняется желчью. Пока мы ковыляем к парадной двери, входим в подъезд, открываем дверь в квартиру, шаркаем по прихожей, пошатываясь, пересекаем гостиную, добираемся до ванной, к горлу подступает тошнота. Меня рвет. Все это время Нэтти крепко держит меня, не столько шепча, сколько бормоча утешения. «Все хорошо, муму, пошли, не беспокойся, все хорошо, ну вот, хочешь салфетку?»

Салфетку? Угу. Салфетка, которой я вытираю лицо, слишком сильно пахнет. Сейчас все пахнет

слишком сильно. Куда умчались дни, когда Черчилль был у власти и единственным запахом, который я ощущала, был запах моего «Уинстона». В Англии тогда их было не купить, и друзья привозили мне из Штатов. Мы бредем в гостиную, потом через двойные двери в спальню, я опускаюсь на кровать, а Нэтти встает на колени, чтобы снять с меня пирожки. Моя крошечная квартирка… ну почему я не могу содержать ее в чистоте? Без филиппинки всюду рассыпаны крошки, на коврах кошачья шерсть, на абажурах густой слой пыли. Но мне на это наплевать. Впервые в моей жизни в моде энтропия. В 1988 году хит сезона — второй закон термодинамики. Говорит ведущий дизайнер Стивен Шайлок: «Не стоит утруждаться и выносить мусор, вытирать пыль, стирать и гладить занавески. Пусть скапливаются пыль и грязь, и ваша собственная неизбежная гибель отразится на вашем жилище…» Жаль, что Молли пришлось подпортить порчу.

Куда подевались мои кошечки? В больнице их было много — может, это были мои? Или они угодили в пылесос филиппинки вместе с пылью? Какая разница? Теперь мои девочки вполне заменят кошек.

— Муму, ты не хочешь лечь в постель?

Что она ко мне пристает? Мне удобно здесь, на краю постели, зачем ложиться в холодную полотняную могилу? Старина Лазарь едва сумел оттуда выбраться. Но что это? Меня никто не спрашивает. Она вновь ставит меня на ноги, и мы с ней топчемся на месте, как два вконец измотанных участника танцевального марафона. Долой пальто, долой платье. Теперь я, знаете ли, ношу такие платья, которые можно стягивать вниз. Счастливые деньки, когда я одевалась через голову, давно миновали. В сущности, тело всегда мне мешало, но до рождения второго ребенка мне ничего не стоило поднять руки и стянуть платье через голову, а затем я устремлялась вперед, открытая любому мужчине, открытая миру.

— Так-то лучше.

Лучше для кого? Для тебя, пронырливая шлюшка. Пока я лежу на спине, ты можешь свободно рыскать по квартире и вынюхивать, не завалялись ли где-нибудь деньги — возможно, доллары, оставшиеся от последней поездки в Нью-Йорк. Все что угодно. Наташа стянула бы пачку злотых, знай она, что ее поставщик наркотиков их примет. Я была большой блондинкой с большими сиськами и большим носом. Теперь я большой серый куль с полутора сиськами и острым клю-

вом. Я храбрая птица — надеюсь, так. Нет, если вдуматься, я — пернатая дичь, *я трепещу, как куропатка.*

И тут раздается сигнал домофона, в котором звучит нерешительность.

— Наверно, это сиделка от «Макмиллана», — произносит Элверс, ведь это он за нее платит.

— Я открою, — подхватывает Шарлотта, она тоже платит.

Наташа, у которой в кармане ни гроша, хранит молчание. Затем до меня долетают обрывки слов, я не в силах их разобрать. Похоже, сиделке показывают квартиру, а также смотрят вместе с ней лекарства…

Лекарства! Так вот почему Нэтти проявила такую готовность ехать с нами: она положила глаз на ораморф (один миллиграмм морфина сульфата на кубический сантиметр жидкости), диаморфин (удобные шестиугольные таблетки, голубые по двадцать миллиграммов, коричневые по десять, класть под язык) и, разумеется, валиум. Я уже слышала, как она рассуждала вслух о том, что «ей дадут бромптонский коктейль». Сестра Смит оказалась не так глупа, чтобы вручить ей при выписке бумажный пакет с лекарствами, она отдала его Шарлотте. Наташа кинулась к нему,

как чайка на добычу. Бог мой, какая нелепость! Ты умираешь, а твоя непутевая дочь является, чтобы спереть у тебя обезболивающее.

— Нэтти!

— Да, муму? — Ее хорошенькая набитая наркотиками головка возникает в дверном проеме.

— Что представляет собой сиделка?

Прежде чем ответить, Наташа входит и затворяет дверь.

— Она в ядовито-желтом кардигане, он ужасно ее бледнит.

— Понятно… А это отразится на ее искусстве врачевания, как, по-твоему?

— Не знаю… Ты спросила, как она выглядит. Шарлотта показывает ей кухню, а Ричард раскладывает диван.

— Сколько времени?

— Почти пять, муму.

— Тебе, наверное, нехорошо, моя радость… скажи Шарлотте, чтобы принесла мне лекарства.

Услышав это, она бежит рысцой, моя непутевая лошадка.

— Тебе плохо, мам? Больно?

Да, мне больно смотреть на твое круглое лицо. Больно видеть, что я породила еще одно белое жирное тело, как у Йоса.

— Дай мне таблетки.

— Доктор Боуэн сказала, что они тебе понадобятся только вечером.

— Что ж… — Я с трудом выдавливаю из себя слова. Для этого нужно проделать дыру в дрожащей мембране тошноты. — Откуда ей знать, черт возьми! *Болит-то не у нее!*

— Сейчас принесу.

Прежде чем двери вновь распахиваются, за ними слышится перешептывание. Мне почему-то упорно лезут в голову ковбои, которых вышвыривают из салунов в старых вестернах. Это кино, детка — наслаждайся. Нэтти стоит рядом с кардиганом.

— Миссис Блум! — Сиделка омерзительна. Возможно, еще больше похожа на труп, чем я. Мой ангел-хранитель — ангел смерти. — Я Дердра Мерфи. — А я специалист в области наглого неповиновения, возможно, крупнейший в мире. — Я буду дежурить у вас ночью. — Она говорит быстро, но четко. Никакого ирландского акцента.

— Вы пришли немного раньше, верно?

— Обычно ночная сиделка дежурит с восьми вечера до восьми утра, но в агентстве решили прислать меня пораньше, чтобы вам не пришлось иметь дело с двумя новыми сиделками в

один день.

— Как любезно с их стороны. — Заботиться о собственной выгоде.

— Помогать — наша обязанность. — Верно, с помощью таких вот обвисших кардиганов вы помогаете мне быстрее распроститься с жизнью, земля не безопасна для человека с тонким вкусом. — Ваша дочь сказала, что вы хотели бы принять обезболивающее? — Пакет у нее в руках.

— Да, в том месте, где сняли швы, очень саднит.

Она исчезает в ванной — я слышу, как она перебирает коробочки и пузырьки с лекарствами, — и вскоре возвращается с ораморфом.

Я протестующе машу рукой.

— Нет-нет, мне нужна таблетка — эта штука не помогает.

— Вы уже приняли сегодня двадцать миллиграммов диаморфина, миссис Блум, если принять больше, у вас будет ужасный запор.

— *Ужасный?*

— Простите?

— В моем запоре нет ничего ужасного, сударыня. Я им горжусь. Всю жизнь я ненавидела испражняться, теперь с этим кончено.

— Я… я хотела вас спросить: вам не нужен переносной стульчак?

Только чтобы окунуть туда твою башку.

— Нет-нет, он не понадобится, просто дайте мне таблетку.

И она дает, устав от моей иронии. Я кладу таблетку в рот и, как только сиделка отворачивается, выплевываю на ладонь. Если жизнь тюрьма, то лучшего места для правонарушений, чем на смертном одре, не найти. Жаль, что я не занималась сексом чаще, и самым непотребным. А теперь одна из моих дочерей будет заниматься им вместо меня — получит стонущее наследство.

— Дердра!

— Да, миссис Блум.

— Можете звать меня Лили и, будьте добры, пришлите сюда Наташу.

Так много суеты и так мало разговоров о Великом.

— Да, муму?

— Вот, моя радость. — Я демонстрирую ладонь с коричневой таблеткой.

— Что это?

— Немного героина, лучше ты будешь глотать таблетки, чем колоться. Здесь… — я бросаю взгляд на влажную от слюны таблетку, — десять милли-

граммов. Тебе хватит?

— Не совсем… но почему ты это делаешь, муму?

— Не совсем… Сходи-ка в ванную и принеси пузырек. — Она подчиняется, и я вытрясаю на ладонь еще две таблетки. — А теперь?

— Да. — Она глотает их, не запив. — Но почему ты это делаешь?

— Слушай, из-за твоих проблем с наркотиками я посещала разные дурацкие собрания, рыдала в приемных врачей и в палатах «скорой помощи», но ты продолжаешь колоться — Бог знает, что это тебе дает, мне это не дает ничего. Если ты хочешь побыть здесь со мной, мне нужно, чтобы твоя башка не была постоянно забита тем, что бы у меня стянуть — деньги или лекарства, я не хочу, чтобы здесь вертелся этот твой приятель-наркоман — как его?

— Рассел.

— Вот именно, *Рассел. Я* прекрасно обойдусь без него. Итак, если ты не против, снабжать тебя наркотиками буду я — вы согласны, барышня?

О, разумеется, она согласна. Я это вижу. Раньше я думала, что героин превращает людей в коматозных зомби. На мне его действие почти не сказывается, а вот Наташу он буквально за-

ряжает жизненной силой — она оживляется от одного предвкушения его эффекта. Из ранимой, капризной и замкнутой она становится сильной, уравновешенной, общительной. Как-то раз она сказала мне, что героин дает ей ощущение «собственного совершенства», «уверенности в себе», и мне понятно, что она имеет в виду. Без героина она сущий кошмар, под героином просто прелесть. Матери не к лицу подобные мысли о дочери, но я ничего не могу с собой поделать — не могу, не могу, не могу. Сейчас она буквально порхает по комнате: убирает одежду в шкаф, наводит порядок на тумбочке у кровати — книги аккуратно сложены в стопку, маленький приемник придвинут ближе.

— Хочешь, я останусь на ночь? У тебя?

Сейчас она живет у Рассела, я знаю. За углом, за букмекерской конторой на шоссе. Поэтому она может кольнуться прямо утром — «закайфовать с утра», так она говорит.

— Это не обязательно — да здесь и нет места. К тому же, я думала, ты сейчас живешь с Майлсом.

Майлс ее бойфренд. У Наташи всегда есть бой — френд. Она не мыслит себе жизни без бойфренда.

— Да… но… знаешь ли…

— Что? О чем ты?

— Он такой скучный.

О да, моя дочь любительница острых ощущений. Возможно, если б я не воспитывала ее на образцах высокой драмы, ей не был бы свойствен театральный подход к жизни. Моя ошибка. Я бы сказала *mea culpa,* но в доходных домах, в которых я в последнее время живу, около кассы красуется скромная надпись: НИКАКИЕ ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ ПРИНИМАЮТСЯ НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ. НИКОГДА.

— Ну, так что? Ты с ним живешь?

Живет. Этот факт подтверждается еще одним неуверенным сигналом домофона — явился Майлс. Майлс по фамилии и по своей природе — потому что ему приходится преодолевать пешком, верхом и на автомобиле много миль в поисках красотки Наташи. Мне хочется подозвать славного Майлса и предупредить, что такова будет его судьба и впредь. Что ему всю жизнь предстоит таскаться за этой бесполезной коровой, пока та будет пастись у других мужчин — щипать «травку»; а если он окажется настолько глуп, что сделает ей ребенка, то будет еще хуже. Он будет кричать в щель почтового ящика, пытаясь узнать, жив ли его ребенок, не загнулась ли его мать от передозировки, бросив его одного в

каморке с ржавыми гвоздями, поранившись о которые можно схватить столбняк. Бедняга Майлс.

Он входит с почтительным видом — как будто он мой сын. Распахивает двойные двери, словно ливрейный лакей или посол, разъединяя перед лицом и соединяя за задницей.

— Муму? — Он перенял лингва-франка нашей семьи, наш прилипчивый арго. — Как вы себя чувствуете?

— Дома и стены помогают, Майлс. — Я стараюсь глядеть на него с притворной бодростью, чтобы скрыть истинную горечь. Он очень хорош собой: черные прямые волосы, строгие правильные черты лица — гораздо красивее всех мужчин, которые у меня были. Не то чтобы я испытывала к нему хоть каплю вожделения, даже до того, как появилась Разбойница. Нет, моя похоть старилась вместе со мной. В тридцать мне нравились только тридцатилетние мужчины, в сорок — сорокалетние, а в пятьдесят — те, кто, по правде сказать, уже стоял одной ногой в могиле. Моя похоть умерла вместе с ними — умираю и я. Как я ненавидела каторжную робу женских чар — все стрелки указывают на половые признаки — и как мне не хватает этого сейчас. Как выясняется, возможно, я жила для похоти.

— Я хотел сходить с Наташей в кино… если с вами все в порядке.

— Со мной все отлично, хоть я и не смогу составить вам компанию.

— Может, вам принести телек?

— Не беспокойся, у меня есть маленький приемник. Мне нравится слушать Би-би-си. Нравятся сводки новостей. Похоже, их можно слушать даже на том свете.

Четкую линию его рта смягчает сострадание, но он не отводит глаз. Он катастрофофил, наш Майлс, взращенный пьяницей-хиппи. Он рассказывал мне, что ббльшую часть детства провел, отдирая бесчувственные пальцы матери от бутылок с сидром «Мерридаун» и проверяя, не обмочилась ли Изида (я не шучу, именно так ее и звали). С беспомощными Майлс в своей тарелке, потому-то он и находит Нэтти столь неотразимой.

— Если вам что-нибудь нужно, муму, я сделаю — все что угодно.

Интересно, какую услугу он может мне оказать? Неужели он действительно хочет поставить мне клизму, сделать мокрое обертывание, укол? Или его душа стремится к более зловещему насилию? Смотрит ли он на меня, как доктор Стил, видящий

в пациенте лишь вместилище болезни? Стил, *pathologist manqu?*[8] — если таковые вообще бывают, — ждет не дождется, чтобы взрезать меня и взглянуть на мои злокачественные прелести. Желаю ему удачи — я уже буду далеко.

— Ничего не нужно, Майлс, иди. Нет, погоди.

— Да, муму.

— Нэтти приняла тридцать миллиграммов моего диаморфина, так что не пускай ее к этому подонку Расселу, хорошо?

— Хорошо, муму. — Он удаляется, на бесстрастном, как у идола, лице никакого ужаса в связи с той странной ролью, которую я на себя взяла.

Таков Майлс. Пытающийся выглядеть независимым, современным и сексуальным в своем черном джинсовом костюме, с тремя серьгами в ухе и взбитыми волосами. Майлс, подобно многим детям богемы, на самом деле умирает от желания подчиниться условностям. Он мог бы стать идеальным партнером для Шарлотты. В данный момент она успешно заканчивает то, что кажется — и на самом деле оказывается — списком.

— Мам, я включила сюда Дердру, отопление

---

[8] Примечания: 8
Неудавшийся патолог (фр.).

и кошек. Ричард договорился, что Молли будет приходить к тебе утром на час и убираться. Нэтти обещает зайти к тебе вечером, а я забегу завтра, сразу же после утреннего совещания.

— Хорошо.

Этот односложный ответ не удовлетворил Шарлотту, ее толстые губы сложились в отцовскую гримасу, словно она разочаровалась в организованном ею мире.

— С тобой все в порядке, мам?

— Шарлотта. — Я приподнимаюсь на подушках, чтобы мне стало еще неудобнее. — Я не собираюсь тихо покинуть этот мир.

— Я так не думала.

— Я боюсь.

— Я тоже. — Она подходит ко мне и целует в лоб. Я немножко плачу, а когда она немножко меня утешает, забываю о том, что она здесь и даже кто она такая. Когда я об этом вспоминаю, ее уже нет — как нет, вероятно, и близнецов в черных джинсовых костюмах.

Теперь, когда девочки со своими кавалерами ушли, я вольна размышлять о том, что время вытащит на первый план их пока незаметное сходство. Как я уже говорила, в Шарлотте от Йоса было все, а в Наташе — ничего. Но я-то знаю, что

это не так, знаю по собственному опыту. По мере того, как я старела, из зеркала на меня все чаще глядело тяжелое нелюбимое лицо тети Реи. Это лицо пряталось от меня все эти годы, а теперь вдруг появилось, в насмешку — похоже, так. Интересно, кто явится, чтобы посмеяться над моими дочерьми? Этого никто не узнает, пока они не достигнут моего возраста. Тогда память их тел покажет им, кто они на самом деле. Что, если они тоже окажутся тетей Реей? Жаль, что я до этого не доживу — три толстые Реи сидят и плетут зловещую нить. Правда, жаль.

Похоже, я слишком долго тешила себя иллюзией о собственной независимости, бросаясь из огня в полымя, пока меня не закалили неврозы. Будь я независимой, безличные страхи и массовые фобии не швыряли бы меня из стороны в сторону, словно я накачалась наркотиками. Не говоря уже о похоти. Вернее: *не говоря о похоти!* Похоть была высоковольтным кабелем, подключенным к моей плоти, она питала почти эпилептическую убежденность, что именно этим и я *должна* заниматься в жизни.

На цыпочках входит Дердра, чтобы проверить, как я.

— Вы не хотели бы перекусить миссис… Ли-

ли? — Звучит как «миссус Лили», и на какой-то миг я переношусь в тридцатые годы, меня обслуживает негр-официант, в то время их так и называли: «негры». Что она может мне предложить? Кукурузную лепешку? «Джелло»?

— Благодарю вас, Дердра. Я не голодна.

И она удаляется сквозь высокие двойные двери, единственное, что осталось от прошлого в этой до неузнаваемости перестроенной квартире. Не то же случилось и со мной? То, что когда-то было мной, растворилось в потоке тысяч и тысяч переживаний. Мое «Я» разделено на части, перекроено, перестроено, перепланировано так, что теперь и не вспомнить, где стояли стены и какой была лепнина. Говорят, домашняя пыль на девяносто процентов состоит из омертвевшей человеческой кожи — вот что я такое. Пыль на подоконнике, пыль в перестроенной квартире, пыль в чужом городе.

Вероятно, пока не поздно, мне нужно написать мемуары, но, в отличие от этой мерзавки леди Асквит, я никогда не вела дневника. Города и районы на двух континентах, где я прожила шестьдесят пять лет, сливаются в один-единственный *Анплезантвилл.* Мои знакомые представляются мне пластмассовыми фигурками, которые мож-

но разделить на две группы: типичные жители восточного побережья Соединенных Штатов и типичные жители Лондона, Англия — XX век, масштаб 1:30. Только похоть, подцепив меня на свой крючок — вроде крючков на бюстгальтере, — тащит меня сквозь отхлынувшую тошноту в прошлое, которое могло быть моим.

1955. За дверью слышится поединок Диззи Гиллеспи с Майлсом Дэвисом. Они играют приправленное спермой скерцо, похоже, капельки спермы слетают с их медных труб. Холодильник «Дженерал электрик», на который я опираюсь, такой обтекаемый, так гудит и вибрирует, что, кажется, открой я окаймленную резиной дверцу и заберись внутрь, удобно устроившись между банками с рубленой печенью, упаковками сосисок и кудрявыми головками салата, он стартовал бы к Запретной Планете. Да, Диззи с Майлсом наяривают за дверью, а я стою, опершись на холодильник, и разговариваю с мужчиной, который мне не муж. Он высок и сутул — в отличие от Дейва Каплана, — и к тому же в костюме, которого Каплан никогда не носит. Мы говорим о Нормане Подгорце и «Новой республике», о поэзии Уильяма Карлоса Уильямса или о том, как замариновали мозги Эйнштейна, однако

на самом деле мы говорим о *похоти.* О сексе. О совокуплении. Он говорит: «Я хочу тебя трахнуть, но не хочу разрушать свой брак». А я отвечаю: «Давай трахнемся, и плевать на последствия». Я сообщаю это, глядя прямо в его необычайно глубокие черные глаза. Он возражает мне, посматривая поверх моего левого плеча на свою жену в соседней комнате, которая оживленно жестикулирует. На дворе 1955 год, и я во всеоружии собственных зубов.

Это вечеринка. Вечеринка в его доме. У нас с Каплaном паршивенький холодильник, которому далеко до этой морозильной космической ракеты. И в сущности, Каплан не любит бибоп, порой мне кажется, он предпочел бы слушать клезмер. Везде мелькают руки — это отличительная черта вечеринок пятидесятых. Все курят, пускают струи дыма, шумно дышат. Если вам захочется не только подержать сигарету в руке, но и донести ее до рта, придется постараться. Повсюду, как ветви деревьев, колышутся руки. Где бы ни собирались эти люди, они беспрерывно курят «Уинстон», «Пэл — Мэл», «Кэмел», «Лаки страйк» и «Ньюпорт». Но в комнате не слишком дымно — сквозь распахнутые окна вливается теплый вибрирующий июньский вечерний воздух Новой

Англии.

Мужчина, с которым я стою на кухне — Боб Белтейн, — не курит, что сообщает ему некоторую таинственность. К тому же он поэт, и это добавляет привлекательности — мне это кажется потрясающим. Его стихи не так уж плохи — пожалуй, немного манерны, — но то, что он читает их мне, я нахожу умопомрачительным. Он также декламирует других поэтов, я слышу, как он произносит: «…Сентябрь, когда мы любили, словно в горящем доме…»

— Неужели нам придется ждать так долго?

— Что?

— До сентября? Или, вы хотите, чтобы я подожгла дом сейчас? Бог с ним, с календарем. — Чтобы показать, что я не шучу, я щелкаю своей зажигалкой «Зиппо» и подношу дюймовый язычок пламени цвета слоновой кости к уголку одной из кулинарных книг Джин Белтейн, грудой лежащих на облицованной кафелем стойке для завтрака. Для этого я наклоняюсь вперед, и мой живот на миг прижимается к его промежности. Боб вздрагивает, словно я пальнула по нему из электронной пушки, — и я — теперь — тоже вздрагиваю, обнаружив, что привычного живота у меня еще нет. Он плоский, как блин, и обтя-

нут черными слаксами — черными слаксами, подумать только! На мне хлопковая рубашка, концы которой завязаны узлом под грудью. Мне тридцать три года, у меня свои зубы — пусть даже они гниют во рту, — и я думаю, что буду жить вечно…

…Хендон. Кривой проулок — так называется наша улица. Маленькая гармошка из шести домов, три из которых отходят от Хендон-уэй, а три возвращаются назад. Не уйти от Хендон-уэй, ни правей и ни левей. Мне часто снится один и тот же сон: дом, в котором мы жили с Йосом, Шарлоттой и Наташей. Я меняла континенты и мужчин, но у меня остался этот ненавистный дом — еще одно жилище, которое я не удосужилась украсить, холить и лелеять. Похоже, именно поэтому здесь появились эти персонажи — толпа запыленных людей. Явно не из Лондона. Лондон, даже его пригороды, не слишком чистый город, но эта орава покрыта толстым слоем настоящей пыли, белесой пыли пустыни. Они воздвигают шатер, или навес, или, похоже, австралийскую хижину. Как бы там ни было, ясно одно: они намерены здесь остаться. Один из них подходит к задней двери. Я вижу это, стоя на кухне у раковины. Во сне я часто смотрю из всех окон одновременно.

На нем белая широкополая шляпа — подумать только! — и он просит воды. «Давать воды, миссус? — произносит он. — Давать воды, миссус?» Я чувствую, что обладаю крайне *неполной информацией,* не понимая, сплю я или бодрствую.

ГЛАВА 3

— Доброе утро, Лили.

Какое утро? О чем она говорит, черт подери, эта ирландская корова? Что за утро, когда кругом все серо и безжизненно, что за город, который вечно спит, исторгая из себя на рассвете своих сонных обитателей.

— Скажите, пожалуйста, который час? «Пожалуйста» — чтобы загладить свои дурные мысли. Так всегда, верно? Вежливость всегда чем-то обусловлена. Даже сестры Беннет из «Гордости и предубеждения» обманывают людей, обводят их вокруг пальца, плюют на них — просто об этом не написано.

— Полседьмого, вы спали почти тринадцать часов. Это все диаморфин и валиум, до чего же мощные таблетки — будто сапоги толстяка потоптались по моей шее.

Боже, как болит *шея.*

— О, Господи!

— Болит?

— Шея… шея болит, как будто сломана.

— Вы высоко лежали. Я пробовала сдвинуть вас вечером, но это мне, боюсь, не удалось. — Вот

она, моя Дердра, совсем близко, все в том же отвратительном желтом кардигане. Удивительно, мне никогда в жизни не попадался клубок шерсти цвета гноя. — К тому же вы обильно потели этой ночью.

— Неужели?

Совершенно неподобающее для дамы поведение. Надо будет побеседовать с сальными железами, привести их в чувство.

— Хорошо бы немножко вас помыть и переодеть на день в чистую рубашку. — Она действует исподволь, молодчина Дердра. Понимает, что я, хотя и без зубов, могу укусить. Она так близко, что я чувствую запах ее мыла. Наверное, она принесла собственное, запах незнакомый, неожиданно приятный, и я еще сильнее ощущаю, что от меня буквально разит потом и болезнью. Меня тянет блевать.

И я блюю — «Э-э-э-э!» — внезапно, отвлеченно, в высшей степени женственно. Или *мне* нравится так думать.

Теперь нам с Дердрой придется заниматься всей этой канителью. Она приподнимает меня и вытаскивает из постели — я чертовски слаба, из-под моей искалеченной груди протягиваются широты бессилия и вращают тело — ядовитую

планету. Я гораздо, гораздо слабее, чем вчера, вся сила с бульканьем вытекает из меня, весь гнев — неужели это он поддерживал во мне жизнь? Я заваливаюсь на ручку кресла, в то время как Дердра протирает меня, макая в тазики фланель, протирает как игрушку-неваляшку: «Уистлера матушка, покойница, / Качни ее — раз поклонится / И остановится». Вообще-то не смешно, а в частности — в самый раз.

Дердра скатывает в узел грязную ночную рубашку и простыню. На матрас под простыню подложили полиэтилен. Вполне разумно. Значит, техника одна и та же — когда рожаешь дома и когда умираешь. Кресло, в которое она меня посадила, — подделка под эпоху Регентства, за которую я только что кончила платить. В этом отношении моя болезнь оказалась чертовски внезапной — библиотечные книги не сданы, налоговая декларация не заполнена, письма не написаны, даже некоторые встречи еще предстоит отменить. Кто знает, ведь я могу неожиданно поправиться. Разбойница еще может взять да и покинуть свое временное жилище, освободив меня, чтобы я могла появиться на цветочном шоу в субботу со Сьюзи Плендер. *О, харара. О, харара!*

Какой денек героеславый![9]

— Вы что-то сказали, Лили?

— Нет, Дердра, ничего.

Я ничуть не против Дердры, более того — я благодарна ей. Умирать лучше с посторонними — им не так тяжело вытирать пот и блевотину. В конце концов, ведь это не в их телесное жилище ворвался раковый взломщик, не на их клеточный коврик наложил кучку злокачественного дерьма. Поэтому я думаю, им в тыщу раз легче ее убрать. Примерно та же история с теми, кто работает в похоронном бюро. Уж они-то должны быть отъявленными весельчаками, ведь каждый день сознавать, что трагедии, с которыми сталкиваешься, не твои собственные, — *огромное* облегчение. А английским гробовщикам надлежит быть веселей всех, принимая во внимание их непревзойденную склонность к злорадству: ха-ха-ха! Вот вы валяетесь на земле, в крови, — ах, оплошали! Ими движет не корысть, как американцами, они действительно *рады* работе, они сами должны бы *приплачивать* за нее. Но, так или иначе, Дердра держит меня крепко, ее прикосновения уверенны. Она няня, а я ребенок.

---

[9] Примечания: 9

Фрагмент стихотворения Кэрролла «Jabberwocky» из первой главы «Алисы в Зазеркалье» в переводе В. и Л. Успенских.

Вот так теперь и будут англичане обращаться со мной, пока не бросят в дешевый сосновый гроб без всяких фальшивых церемоний и я не исчезну в столбе дыма из трубы, подпирающей серое небо над Хуп-лейн. Я *ужасно* люблю крематорий в Голдерс — Грин — вам известно, что детишек до пяти лет там сжигают бесплатно? Как гуманно. Необычайно.

Она вытирает меня, одевает, водружает обратно, расправляет одеяло, приглаживает мне волосы. Интересно, многие ли медсестры в детстве любили играть в куклы?

— Как вы думаете, может быть, вам стоит сейчас перекусить?

К своему бесконечному удивлению, я обнаруживаю, что могла бы что-нибудь проглотить.

— В буфете над плитой крекеры. Вы не намажете парочку сливочным сыром из холодильника? И может быть, какие-нибудь фрукты, если есть.

Она уходит, шаркая ногами, по ковру, который мне никогда не нравился, в кухоньку, которая всегда была слишком маленькой. Предположим, я бы осталась в доме в Кривом проулке — кухня там была хороша. Но что бы я стала там делать? Готовить обильную еду, от которой тебя разносит еще больше? Весь этот сраный дом был обезобра-

жен свидетельствами моей борьбы с ожирением. Стены увешаны записями результатов ежедневного взвешивания: «5 апреля — 186 фунтов, 6 апреля — 184 фунта, 7 апреля — 183 фунта, 10 апреля — 189 фунтов. ПРОКЛЯТЬЕ! ПРОКЛЯТЬЕ! ПРОКЛЯТЬЕ!» Наверное, я уезжала куда-то на уик-энд — на какие-нибудь дерьмовые пироги.

Толще всего я была в семидесятые. Вообще я думаю, что семидесятые определенно были округлыми. Люди коренастые, шрифты закругленные, обыкновенная авторучка напоминала член. Мне нравилось думать, что я не нарушаю эстетического единства, так как мой вес подскочил до двухсот фунтов и я сделалась миссис Тушеная-требуха-с-клецками. Да нет, все это чистая бравада — я ненавидела свой жир. Я сидела и всхлипывала на краю постели — привычки не меняются, — и теребила жировые складки, чтобы поиздеваться над каждой в отдельности. Девочки, стройные — им это ничего не стоило, — шепотом переговаривались внизу: не опасно ли приближаться к старому тучному дракону? Разумеется, опасно. Я терпеть не могла этих сильфид, с которыми делила кров, я обижалась на них. Ненавидела их нарождающиеся округлости, их расцветающую сексуальность — и, возможно,

слишком явно это демонстрировала. Слишком часто объясняла Нэтти, пуская в ход наши придуманные детские словечки, как это скверно — лежать с мужчиной.

Стрелка плясала по шкале неделями и месяцами. Помню, что между семьдесят третьим и семьдесят девятым я теряла и набирала вес, теряла и набирала, вплоть до семи сотен фунтов — это целых три толстых меня. Я плюс я плюс я. Затем я стала толстой старой женщиной, старой толстухой, очертаниями напоминавшей грушу. Не жирной, просто толстой и старой. Обзавелась грушевидным телом, характерным для пожилых англичанок среднего класса. Прекрасно. Немудрено, что Хедли не мог вообразить, какая я. Как-то Наташа застала меня за тем, что я звонила за океан и всхлипывала в трубку: «Я была как тюлень, — стонала я, — как тюлень». Я говорила о своем проворстве в постели, а он решил, что о своих размерах, и ответил: «Что ты, Лили, ты вовсе не толстая, поверь мне…» Я бросила трубку и увидела черную челку, покачивающуюся над перилами: «Почему ты так говоришь, муму? Почему ты сказала, что ты тюлень?»

Вот идет Дердра и несет совершенно неподобающий для человека на голодной диете завтрак.

На черта мне эти хрустящие хлебцы — мне нужна плотная пища, которая вернула бы мне мою жизнь, мою энергию и здоровье. Мне бы съесть целиком еще одну Лили Блум, чтобы она стала мной. Дердра справилась неплохо, к тому же она разыскала в гостиной виноград, жаль, я не сказала ей, где подносы, они где-то рядом с плитой, а то хлебцы скользят по тарелке, как резвые ребятишки по льду. Даже когда тарелка прижата к моим изувеченным сиськам, я все никак не могу поймать хлебец. Дердра сидит в синем кресле и явно притворяется, что читает свои пометки, сделанные ночью. О, Боже! С каким удовольствием я бы сейчас куснула ее, но это время прошло, я прекрасно понимала это еще до того, как остренький край хлебца впился мне в десну, под нижним протезом, и поранил до крови. Кровь на еде.

Хедли. *Он-то* еще жив. В прошлом году он прислал мне шахматы, хотя знает, что я не играю. Но у него шахматный магазин в Гринич-Виллидж, и дом у него всегда был дешевый. Чертовски дешевый. И у него до сих пор нет машины — она ему не нужна. Он идет пешком из особнячка, который его мошенник-папаша оставил ему в пятидесятых, в полосатом костюме и соломенной шляпе, спускается вниз по Бродвею, всю дорогу

до Виллиджа, где торгует своими шахматами и досками для шашек. Работа не пыльная, и он спокойно может заниматься единственными проблемами, которые признает, — шахматными. Хедли, последний мужчина, касавшийся моего обнаженного тела — если не считать доктора Стила, но доктор почти и не человек. Скорее, одушевленный скальпель.

Хедли. Мы лежали с ним в бруклинской квартире, которую мне пришлось выкупить у Эстер («Дорогая, арендная плата фиксирована, поэтому сдавать квартиру глупо!»), обнаженные, на кровати, как две фигурные скобки, заключающие в себе язык страсти, секса. Конечно, он никогда не оставил бы свою жену. Свою инвалидку-жену. Я хочу сказать, он оставлял ее — чтобы прийти ко мне, но всегда возвращался. Возвращался, чтобы посадить ее в инвалидное кресло (что же у нее было? — ах да, диабет), или вытащить из инвалидного кресла, или сделать укол. Я как-то спросила, почему, при том, что у него куча денег в банке, он не может обеспечить ей пересадку почки. Он был смущен — больше, чем когда-либо, буквально ошеломлен — сильнее, чем при оргазме. Стал объяснять что-то про типы тканей, отторжение, невозможность достать нужный ор-

ган, его непригодность — но я не поверила. Я же говорю, дом был дешевый. И, более того, думаю, на самом деле он *хотел*, чтобы она была прикована к дому, хотел, чтобы она всегда была там, когда бы он ни пришел. Идиот. Ну и скатертью дорога.

Восемь часов, за окном чирикают птички. Слышно, как со скрипом трогаются с места машины, как безостановочно кашляют грузовики на Кентиш-Таун-роуд. Трудно поверить, когда я лежу, слушая программу «Тудей», что шесть недель меня здесь не было. Итальянцы называют такой вид рака «ураган», он налетает и отсеивает людей, как мякину. Он развеял весь мой драгоценный распорядок, череду моих забот, мою сдержанную общительность, мои маленькие поездки — все это пропало. И с ними вместе — люди.

Больше не нужно видеться со Сьюзи Плендер — хотя она, естественно, звонила. Не нужно видеться и с Эммой Гоулд, выслушивать рассказы о ее последних попытках заманить в ловушку мужчину. Какая-то блудливая коза, а не женщина за пятьдесят. Не нужно видеться с Джеком Хармсуортом, моим другом-библиофилом, алкоголиком, хотя Джека мне выносить легче всего. Как и Нэтти. Я думаю, люди с вредными привычками успокоительно действуют на умирающих, ведь

их временная перспектива, как и наша, невелика. И не нужно звонить мистеру Вейнтробу. Нет, на самом деле мне *нужно* позвонить Вейнтробу, или пусть позвонит Шарлотта. Я должна разобраться с этими налоговыми делами, прежде… прежде… ну, скажем просто, это надо сделать. Не нужно видеться с Тимом, моим боссом, хотя он — как мило — приходил навестить меня в больницу на прошлой неделе. Он чувствовал себя очень неловко, а его жена, испанка Лола, бросала вокруг косые взгляды, будто могла увидеть то, что недоступно нам. Просто кошмар.

Нет-нет, никого из них не нужно. Хедли — это история. Йос умер. Каплан — что ж, от Каплана остались одни воспоминания. В любом случае, я не жду от него весточки, о нет. Теперь со мной останутся только Нэтги, Шарлотта, Стил и Дердра. Однако Дердра здесь не надолго, пока я предаюсь размышлениям, мне слышно, как она за дверью передает эстафету своих обязанностей.

— Вот мой табель, миссис Элверс. Ваша мать провела ночь на редкость спокойно.

— Да?

Моей высокомерной дочери чужда непринужденность.

— Да, спокойно, но на самом деле, должна ска-

зать, что она… она…

— Быстро угасает?

— Я… Мне не хотелось бы… это…

— Пожалуйста, миссис Мерфи, прошу вас, не бойтесь высказать свое мнение.

— Такое впечатление, что она тает на глазах. Это случается довольно часто, когда… умирающие оказываются дома.

— Понятно. Ваша коллега уже здесь?

— Нет…

— Б-е-э-э-э!

А вот и она, медлит, прежде чем войти, хотя нет:

— Привет.

Это Наташа, наверное, пришла за подкреплением, — я ведь ей обещала.

— Б-е-э-э-э!

В этот раз чуть менее настойчиво — это, наверное, сменщица Мерфи, еще некая женщина в некоем возрасте в скользком профессиональном халате смерти. В доме Отца их много обителей, и они намерены вытереть пыль во всех прихожих.

Из большой комнаты доносятся обрывки разговора, приплывают куски фраз. Снова блеет домофон, и для уборки прибывает Молли, служанка Элверсов. Боже! Прямо-таки сцена

во дворце из «Ночи в Опере» братьев Маркс. Интересно, позабавит ли это меня теперь. Интересно, осталась ли хоть частичка веселья в этом разлагающемся теле. Возможно, если начать вибрировать с нужной частотой, черви оставят меня, как крысы, потоком устремившиеся из Гаммельна. В действительности, я никогда не считала братьев Маркс такими уж забавными. Гручо я всегда отождествляла с Гитлером, видела в нем Гитлера, с его фальшивыми маскарадными усами, зажигательными речами, сводящей с ума демагогией. Он похож на Гитлера и на моего отца. Отец… его большие руки, покрытое шрамами лицо, его зажим для денег, украшенный головой индейца, его болтовня всезнайки: «Да это и пятилетнему ребенку ясно. Пошлите кого-нибудь за пятилетним ребенком». Чтобы ставить жестокие эксперименты, сдирая с него кожу для абажура. Да, ничего хорошего по поводу Гручо, явная ложь о семитских корнях самого Гитлера, — конечно, только еврей может ненавидеть своих сородичей с такой силой, чтобы всеми правдами и неправдами извлекать скрытого в еврее жида? Я вышла замуж за Дейва Каплана, как потом поняла, из-за его собственного — вскоре давшего о себе знать — еврейского антисемитизма. «Знаете, ведь Ка-

план не настоящая моя фамилия, — любил он говорить, — я сменил ее, чтобы казаться евреем. Настоящая моя фамилия Картер». И в устах человека, в котором были сплавлены самые разные черты — это звучало неотразимо.

Забавник Дейв, он именовал себя «клоуном-фаталистом или даже «жидом-весельчаком». Думаю, он вел себя вызывающе из-за моей внешности — в то время у меня были очень светлые волосы, а сама я была как тростинка. В сороковых годах такой брак — между евреем и якобы гойкой — очень ценился в Штатах. К тому времени как все поняли, что я *тоже* еврейка, было уже поздно, мы переехали, — несомненно, оставив о себе дурную память. Переехали. В конце сороковых — начале пятидесятых Каплан то и дело менял одну жалкую должность на другую, так как из-за своих коммунистических симпатий не мог преподавать политику сколько-нибудь искренне. Поэтому он стал работать администратором, так мы в конце концов оказались в Вермонте в 1955-м, вот тогда-то Дейв-младший и отправился на свидание с крылом автомобиля.

Это сломало жизнь водителю — то, что он сбил моего мальчика. Сломало. Он сошел с ума, вернее, у него было нервное расстройство, а в те

времена и в тех местах, если оно было достаточно тяжелым, тебя погружали в инсулиновую кому и лечили током. Я жалела его, даже когда кружилась в этом отвратительном танце шока — пять па до места, где Дейв играл со своими приятелями. Жалела, потому что всегда считала виноватой себя, даже себе во вред. Я в два прыжка оказалась рядом с Дейвом, схватила за светлый вихор, ударила по лицу — раз, другой, третий. Тогда он побежал от меня, узкая попка вымазана в грязи, выбежал из заднего двора, через палисадник, а потом — БАЦ! Искореженный кусок плоти на асфальте. Удар был так силен, что голова мальчика раскололась надвое. Надвое. Лицо повисло, как скомканная тряпка, — а кругом кровь и что-то серое. Мыс Капланом продержались после этого год. Вряд ли он потом когда-нибудь называл себя «клоуном-фаталистом». Вряд ли после того, как я отыгралась на нем за всю свою вину и уничтожила всю любовь, которую мы когда-то испытывали друг к другу; сожгла ее в горниле своего добела раскаленного гнева и расколотила вдребезги все хреновые воспоминания.

— Муму.

Вот она, чистенькая, в джинсах, кроссовках и футболке, черные волосы собраны в конский

хвост. Сегодня какая — то очень американская.

— Нэтти. — Меня пугает мое собственное хрипение, получилось какое-то «Н-н-рр».

— Муму!

Она бросается ко мне со слезами. Думаю, эта дрянь вышла из ее организма, и в нее просочилась хоть капля реальности. Она покрывает поцелуями мою облезлую голову.

— Муму, Эстер прилетела.

Эстер. Вот уж не ждала.

— Где она?

— По-моему, в «Ритце». — Ну разумеется, хотя это мог бы с таким же успехом быть «Ройял гарден», или «Савой», или «Браунз». — Она звонила, она хочет приехать прямо сейчас.

— Не хочу, чтобы она приезжала.

— Что?

— Не хочу, чтобы она приезжала. — Только приезд старшей сестры мог гальванизировать меня до такой степени.

— Что ты имеешь в виду?

Ее умытый вид смазывается — у корней волос выступают капельки пота.

— Мы встретимся с ней где угодно, в любом другом месте. — В это утро мне приходится продираться не только сквозь тошноту, но еще и

сквозь собственное безразличие. Мне ясно — передали на специальной частоте Британской широкотрупной трупорации, — что я больше не имею никакого значения. Разумеется, я даю повод для напряженного эндшпиля, для довольно драматического финала, а потом? Меня забудут через несколько месяцев, максимум через несколько лет. Уж в этом я совершенно уверена. О, я не сомневаюсь, что девочки будут помнить меня какое-то время, но ни на одном сборище мое имя не оживит разговора, и, наоборот, ни одна оживленная беседа меня не воскресит. Нет, я *знаю,* что нет. Той Лили Блум, которая привлекала внимание, уже нет, если не считать этой финальной суматохи, этого вызывающего поведения Эстер. — Я не хочу, чтобы она приходила сюда — она жуткая снобка.

— О муму, разве сейчас это важно?

— Важней, чем когда-либо.

— Миссис Блум?

Вот еще одна пришла выносить горшки, и она черная — так-так.

— Привет.

— Меня зовут Дорин Мэтьюз. Мне поручено дневное дежурство, я хотела вам представиться.

— Очень приятно.

Она поразительно хороша, этакая кофейная Нефертити с ласковыми миндалевидными глазами. Я могла бы смотреть на нее весь день. Женщины, несомненно, красивее мужчин — так же, как евреи умнее гоев.

— Как вы себя чувствуете, миссис Блум?

Да она, оказывается, церемонная.

— Прошу вас, зовите меня Лили. Мне получше, раз уж вы об этом спрашиваете.

— Тогда, может, вам это не понадобится? — Она принесла с собой весь ассортимент: обезболивающие, успокаивающие, противорвотные. Их нужно было бы держать в маленькой конфетной коробочке с приложенной книжкой-инструкцией. Нэтти жадно смотрит, того и гляди, кинется на ладонь Дорин и схватит таблетки как хищник — впрочем, она и есть хищник.

— Да нет, понадобятся… никогда не знаешь…

Итак, таблетки сначала в рот, потом в ладонь, слюни текут, сиделка столбенеет, а таблетки переходят к затаившейся дочери-наркоманке. Шарлотта моментально все понимает про Эстер и идет ей звонить — мы встретимся в Кенвуде, в Старом Каретном сарае. Масса переживаний по поводу того, как вытащить меня, мешок костей, в Хит, но все же — могу сказать всем и каждому

— это меня не убьет. Меня убьет рак, но, надеюсь, до тех пор я еще успею похудеть.

— Ты абсолютно уверена, что так надо, мама? — Шарли сегодня в другом костюме, новеньком, от «Уиггинс Тип» или «Рид Интернэшнл». Расклешенная юбка не в ее стиле, для этого у Шарли слишком большой зад и толстые ноги. Но скроена необыкновенно хорошо. Если у тебя размер больше четырнадцатого, единственно, на что можно уповать, это хороший крой — цвет не должен бросаться в глаза.

— Ты же ее знаешь, Шарли, странно, что она вообще прилетела.

— Она в самом деле очень расстроена, она плакала в трубку.

— Прекрасно.

Эстер собирается жить вечно, она в жизни ничем не болела. Ей семьдесят, она курит так, что, кажется, в доме пожар, а пьет — словно хочет его погасить. Она тратит денег больше, чем правительство Колумбии, а зарабатывает больше, чем мсдельинский картель. Моя сестра — это просто кошмар.

Покинуть квартиру оказывается трудным делом, я ступаю медленно и нетвердо, на мне обычный наряд, пальто, плед, меня поддержи-

вают дочери и слуги. Я чувствую себя неким Лиром — и не удивилась бы, если бы Нэтти стала называть меня «дядюшкой». Шарли сегодня на «мерседесе», значит, Элверсу пришлось идти пешком в штаб-квартиру своих «Бумажных обрезков». Он из тех, кто любит говорить «Да, я всегда хожу пешком». Как будто прошлым летом пересек Антарктику с Рейнголдом Месснером, а не двадцать минут прошел по Риджентс-парку от своей квартиры в Нэштеррас до своей конторы на Терри-Фаррел. Засранец.

Мы поднимаемся по Кентиш-Таун-роуд, затем по Хайгейт-роуд к Госпел-оук. Яблони и вишни в цвету, небольшие заводские корпуса, вдоль улицы ряд «окультуренных» домиков девятнадцатого века, множество машин. Это Лондон. Я читала в каком-то журнале — не в «Вуманз релм», — что мозг человека распознает не столько отдельные элементы, сколько сложные комбинации, и, вероятно, поэтому знаю, что это Лондон, а не Нью — Йорк, Чикаго или Рим, ведь для меня это больше не имеет значения. Я закрыла все выходы, а на внутренней поверхности моих век горят пошлые надписи: «ПОЛНАЯ РАСПРОДАЖА В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ — ВСЕ ВОСПОМИНАНИЯ ДОЛЖНЫ РАЗОЙТИСЬ!»

Воспоминания о моем отце и его коллекции сальных шуток, о его вечно пустом перламутровом зажиме для купюр с головой индейца. Во времена Депрессии он брался *за любую работу*. Эстер говорила, что какое — то время он был сутенером, и я вполне в это верю. Он не был слишком сексуален, но оставлял какое-то непристойное ощущение, ощущение грязного еврея. Могу себе представить, что у него был длинный сутенерский пенис. А лучше всего я помню, как он занимался ликвидацией универмагов. Он был словно создан для этой работы — увольнять персонал, устраивать распродажи со скидкой, продавать помещения. Во время Депрессии он был занят больше, чем когда-либо до или после. Он был в полной мере человеком двадцатого века, мой отец. Работничек «бума-спада». Велосипедист-эквилибрист.

Мы катим вверх по крутому склону Хайгейт-Вест — хилл, по сторонам богатые особняки. Затем по Гроув к вершине, мимо внушительного дома Иегуди Менухина. Терпеть не могу Менухина. Я посылала Нэтти на прослушивание в его школу, когда ей было восемь. Она неплохо играла на пианино — впрочем, я не слишком в этом разбираюсь. Но ненавижу я его не поэтому — я

ненавижу его, потому что он ни разу не перешел дорогу сам, пока ему не исполнилось двадцать пять лет, по крайней мере, так говорят. Что за причуда! Избалованный до последней степени еврей-музыкант — и это должно производить впечатление? Избалованность на национальный лад. Гадость. Он будет жить вечно — в этом у меня нет никаких сомнений. Жить вечно в позолоченной клетке звуков, в плетенке из золотых струн арфы. Двойная мятная гадость с шоколадной крошкой. Тридцать два варианта вкуса лучшей блевотины от Баскин Робине.

Я знаю, он добрался до моей печени, этот рак. Я ощущаю его, пока мы спускаемся и поворачиваем на Хэмпстед-лейн. Чувствую, как эта гадость раздувается внутри, каждое покачивание автомобиля давит на печень, так что из нее сочатся яды, как из грязной губки. Устройство для очистки телесных масел само загрязнено, захвачено обезумевшими ферментами. Этот мошенник Стил сделал мне два долбан ых удаления опухоли молочной железы. Он орудовал, как бармен черпаком в кафе Баскин Робине. Может быть, мне *хочется* мороженого, поэтому я все время думаю о нем.

— Нэтти.

— Муму? — Она снова сидит на заднем сиденье рядом со мной. Она смуглее меня, кожа у нее тоньше, длинный узкий нос, чуть расширяющиеся скулы, фиалковые глаза. Сучка. Девочкой она обгорала на солнце докрасна, но если она будет загорать сейчас, кожа у нее станет приятно оливковой. Но цвет лица землистый. Под одеждой школьницы — болячки, краснота, прыщи, содранные зазубренными ногтями. И как это Майлс к ней прикасается?

— Я вот думаю, как это Майлс прикасается к тебе.

— Что?!

— Я хочу пломбир. Нет, пожалуй, эскимо.

— О'кей, в Кенвуде есть и то и другое. — Она слышала меня. Ну и не станем «поднимать волну».

Если бы я умерла вовремя, скажем, в конце шестидесятых, когда мне казалось, голова вот-вот лопнет от немыслимых страданий, как только их отец открывал свой толстогубый рот, я думала, что убью его, тогда — тогда мне надо было написать девочкам нежные письма, рассказать им о своей печали, о том, как я их люблю и как мне жаль их покидать. Слишком поздно. И вот они здесь, они выросли, они сущее дерьмо.

Поэтому мы так и будем переругиваться до

полного беспамятства.

Наверное, я задремала или отключилась, потому что, когда я снова пришла в себя, оказалось, что мы ковыляем к Кенвуд-Хаус, неясных очертаний грязно-белому палладианскому зданию, которое покачивалось — удивительно для такого массивного строения. Девочки вели меня под руки, и я сказала им:

— Не забывайте, пессимисту вроде меня умирать гораздо легче, чем человеку, который чего-то ждет от жизни, который на что-то надеется.

— Да, мама.

— Я хочу сказать, я всегда была в полной готовности на старте, дожидаясь только пистолетного выстрела, чтобы ринуться к очередной ужасной пакости.

— Тебе ужасненько этого хотелось, — сказала инфантильная Нэтти, сюсюкая.

— Да, да, правда. — Я крепче зажала ее руку под мышкой, и она, конечно, решила, что с любовью, хотя это было не так.

Кенвуд. Так и знала, что приплетусь на встречу сюда умирать. Когда я только приехала в Лондон, это был мой любимый парк. Я приходила сюда, сидела и читала или завязывала разговоры со старушками или с нищими. В Штатах я никогда

не была такой общительной, никогда. Это все пресловутая английская анонимность заставляла меня раскрывать свои карты, помахивать ручонкой: «Ах, как интересно, пожалуйста, расскажите мне еще». И они рассказывали, Боже мой, еще как рассказывали. Эта их драгоценная сдержанность, как выясняется, просто самый тонкий из всех замшелых покровов, под которым скрыта настоящая лавина чопорного бреда. Англичанам нет равных в бессвязной болтовне, надеюсь, они заговорят друг друга до смерти. «Сегодня прекрасная погода!»

В шестидесятых это место было более чопорным, более приличным. Коляски совершенно такие же, как в девятнадцатом веке — большие, черные, их толкали няньки и мамки, лицом напоминавшие пудинг, в пальто, перетянутых поясом, в шляпках и даже *в перчатках.* Сейчас весна, и, надев теплые спортивные костюмы, те, кто заменяет родителей недавно проклюнувшимся тепличным росткам, катят их по аллеям в колясках от Макларена. Педерасты поигрывают мускулами на подстриженной травке. Йос любил ходить сюда каждый уик-энд перед воскресным обедом и заставлял девочек сопровождать его. Йос когда-то, в университете, играл в лакросс. *Я*

серьезно. И ему казалось, что будет мило, если девочки потренируются вместе с ним. Мило для кого? Не для меня. Я торчала в Хендоне и, как положено, готовила воскресный обед. Разумеется, мне приходилось этим заниматься, а как же иначе? Сам Йос, как известно, мог неделями сидеть на куске хлеба с оксфордским мармеладом Фрэнка Купера. Сука. Подумать только, я стирала его нижнее белье. Дважды сука. Двойная сука с шоколадной крошкой.

Единственное, что осталось неизменным в этом псевдопейзаже, это маленькие смуглые люди. Они *точно* такие же, как были, в мягких шляпах и спортивных башмаках, накалывают мусор, волокут тележки, набитые сухим листом. Одежда их теперь, наверное, из нейлона, она выглядит дешевой, но сами люди, как всегда, бежевого, оленьего цвета и похожи на фавнов. Власти Камдена, очевидно, осуществляют Конструктивную программу развития деятельности этих фавнов. Смуглые человечки заняты важным делом — они обслуживают мемориальные скамейки. Я всегда представляла себе мемориальную скамейку: «В Память о Лили Блум 1922–1988, Которая Любила Принимать Нашу Продукцию на Этой Скамейке. Хоффманн-Ля Рош». Но когда я заглянула сю-

да через два года (уже обнаружив опухоль, но еще не позвонив своему врачу, Сайденбергу), то оказалось, что Хит просто забит скамейками, и если ты хочешь, чтобы о тебе в будущем хотя бы разок вспомнили, то должен оставить какой-то знак, как многие другие. Вполне вероятно, что родные развеют пепел вокруг этих знаков, как и вокруг скамеек. Какая ирония — наш брат жид, избежавший Холокоста, тем не менее покоится в братских могилах.

Внутри кафе темно, несмотря на побеленные стены. Раньше здесь была конюшня, и даже сейчас, — а возможно, сейчас *особенно*, — стойла полны лошадиных лиц англичанок, хлебающих свой «эрл грей». Единственное не лошадиное лицо во всем заведении — копия отцовского. Уменьшенная, раскрашенная наподобие погребальной маски копия. Еврейское лицо. Нью — йоркское еврейское лицо. Верхне-ист-сайдское нью — йоркское еврейское лицо. ВИНЙЕЛ. Эстер, моя сестра.

— Лили! — Эстер на тонких каблуках, она простерла когти, нацелилась на меня клювом.

— Эстер. — Наши щеки соприкасаются. У Эстер теперь нет лица — только косметическая маска. Не то, чтобы она не знала, за кем останется победа

— она прекрасно знает, потому что собралась жить вечно. Если она сделает еще одну подтяжку — в тридцатый или сороковой раз, — то будет вылитый Мафусаил.

— Как ты?

Ну и вопрос. Но ведь одни бестактные люди живут вечно — в этом не приходится сомневаться.

— Дай мне *взглянуть* на тебя.

Зачем тебе это, старая задница? Ладно, смотри.

Я тяжело плюхаюсь в своей раковой личине, а мир, пританцовывая, движется вокруг. Мне приносят маленькую порцию корнуэльского мороженого, и оно торчит передо мной на столе нетронутым. Я хочу сказать — вряд ли я еще раз окажусь в кафе, правда? И к тому же я просила *эскимо.* Я критически разглядываю Эстер. Забавно смотреть на свою копию, обретшую бессмертие благодаря «Сакс, Пятая авеню», «Тиффани», «Бергдорф Гудман» и всем другим храмам выездки — это доступно и вот этим английским лошадям, и даже моим маленьким пони. Американцы всегда выглядят такими мытыми, вычищенными, такими приличными, — стоит ли удивляться, что я кончаю жизнь неряхой в этой грязи? Стоит ли удивляться, что я потеряла зубы, околачиваясь на этой тухлой помойке?

Эстер привезла девочкам подарки. Да это Тиффани, как мне кажется. Для Шарли брошь, которую она будет хранить с остальными своими сокровищами, а для Нэтти золотые часики, которые она заложит, как только взгляд ее упадет на вывеску ломбарда. Они разговаривают, будто меня здесь нет. Эстер рассказывает им о своем отеле, о своей художественной галерее, своих магазинах, о своей собственности, об одних делах, других делах. Хорошенькая головка Нэтти потяжелела от героина — это заметно, — но Шарли продолжает кивать и ухитряется задавать вопросы и болтать со своей теткой-мумией. Со своей размалеванной теткой.

Я надеялась, что вид Эстер пробудит во мне поток воспоминаний. Я хотела — бог знает почему — снова окунуться в детство. Хотела вызвать в памяти заросли сассапарили, кукол-голышей, бейсбол, джиттербаг, креплах, пятицентовики и кабриолет на четверых с дурацкой бахромой наверху. Я хотела, чтобы мы припомнили, в какой последовательности сменялись дома и квартиры, где мы росли, всех друзей, которые когда — либо у нас были, и все их выходки. Я хотела вернуться в то время, когда мы с Эстер любили друг друга больше всего на свете, а боялись только своих

бедных, грустных, перепуганных родителей. Я хотела перелистать страницы школьного альбома вместе с Эстер (Выпуск 1935 года — «Профессиональный нюх — вот чем гордится мир»), вернуться в счастливые времена. Сейчас, когда я смотрю на нее, мне вспоминаются только «Мощи» Донна, но, несмотря на то, что дорогие часы едва держатся на ее запястье скелета, она собирается жить, тогда как я определенно собираюсь умереть.

Можно только порадоваться, что здесь нет официантов. Эстер всегда оскорбляет тех, кто ее обслуживает, своей фамильярностью. «Привет! Так как тебя зовут? Марк? Готова спорить, что у тебя уже все готово…» — без малейших усилий вызывая их презрение. И мое. Хотя хмурая английская обслуга сама зачастую вызывает презрение. Англия… Здесь официанты относятся к меню так, словно оно высечено на скрижалях, любые отступления от текста кажутся им ересью. «Заправить майонезом? Вы хотите сказать, что земля круглая?! Бог умер?! Добро и зло нераздельны?!» Есть, однако, одна вещь, которую я могу сделать ради Эстер, единственное наследство, которое ее грузная, страдающая болезнью печени, умирающая от рака сестра может ей оставить, —

это не говорить ни о чем важном. Не говорить о смерти. Не посягать на накопленное Эстер отрицание и наблюдать за ее хладнокровным бегством в ад настоящего. Нагреваться, пузыриться, кипеть, испаряться — оставив в покое эту маленькую старую еврейку, испуганную не меньше большой, умирающей. Ох, нет, беречь ее. Вместе с ее сбережениями.

Черт побери, я больше не вынесу эту болтовню. Любое слово имеет отношение к будущему, в котором для меня уже нет места. Я даже не заметила, кто ушел раньше, Эстер или мы. Факт, что я ее больше никогда не увижу, доставлял неясное удовольствие — к тому же я уберегла ее от посещения моей дерьмовой квартирки, от соприкосновения ее узкой задницы с моими пыльными подушками. Она из тех женщин, кто хотел бы видеть весь мир опоясанным стерильной лентой — на время своего пребывания, которое, как я убеждена (я уже говорила об этом), будет вечным.

Мы снова в автомобиле и, спускаясь с холма, едем к Хайгейт. Шарли очень неплохо ведет машину, она гораздо менее импульсивна, чем была я, гораздо спокойнее. Она знает, как вести эту огромную коробку, эту стальную картонку для

яиц, одно из которых с испорченным желтком. Боль бьется в моем теле уже несколько часов. Меня мучает боль, а Нэтги — невозмутимая и бесстрастная — отдыхает на моей героиновой оттоманке.

Вернувшись домой, мы застаем Майлса, он дожидается нас, прислонив к стене свою красоту. Интересно, сколько он проехал, чтобы попасть сюда? Он изучает право, много занимается, что у него общего с этой капризной дрянью? Они выгружают меня и тащат внутрь, где в наше отсутствие произошли решающие битвы Молли и Дорин с энтропией. Вычищены чехлы! С полок стерта пыль! Образцовое домашнее хозяйство. Мне нравится думать, что я могла бы быть хорошей домашней хозяйкой — ради человека, вызывающего у меня восхищение, я бы с восторгом содержала дом в порядке. Троцкому я бы гладила рубашки с преданностью дервиша, затем занималась бы с ним любовью с проворством тюленя. Но мужчины, с которыми меня сводила жизнь, всегда были ничтожествами, клянчившими секс, как маленькие мальчишки сладостей. Жаль. Неудивительно, что я день за днем обнаруживала, что ругаюсь, стенаю и даже воплю, убирая их дерьмо, готовя для них, устра-

ивая манежи для их игрищ. Я рада, что все это кончилось. Рада, что покончено с уборкой дома. До свидания, милый «Мистер Мускул», прощай, прощай, «Ваниш», *au revoir*, «Харпик» — надеюсь, однажды мы встретимся снова в какой-нибудь со-о-о-лнечный д-е-е-нь.

Они устроили уборку в квартире, потому что собираются ее продать. Шарлотта собирается. Мне бы хотелось, чтобы мое завещание было не в порядке, я была бы рада подарить маленькой мисс Йос по крайней мере двухэтажную квартиру судебных разбирательств, если не целый Холодный дом.

Умелые черные руки шарят по мне, и — можете себе представить? — мне это безразлично. Я ощущаю каждый черный отпечаток пальца, пока она толкает меня и взбивает, как подушку, но не испытываю никакого отвращения по Павлову, никакого тошнотворного узколобого фанатизма. Я любила дразнить Йоса: «Это ты чертово бремя черных! — кричала я ему. — Загляни в этот долбаный справочник, зануда! Читай: «инфекционное заболевание негров, характеризующееся напоминающими малину бугорками на коже» — это ведь о тебе дружок, о тебе!» Тут я начинала бить его и переставала, только когда вмешивался кто-

нибудь из детей. Чувствую ли я себя виноватой? Больше нет, сейчас нет. Наркоманке придется потерпеть — я сама должна выпить диаморфин, и валиум, и какое-то еще дерьмо, которое Дорин мне дает. А наркоманка подождет.

Дорин укладывает меня, мой маленький радиоприемник включен и журчит. Это вечерний повтор «Семьи Арчеров». Как правило, люди не любят повторений на радио — но не я. Мне это нравится. Мне не важно, что они снова и снова и снова повторяют этот эпизод, пока я здесь и могу его слышать, пока я еще жива. Из темноты, из самых моих глубин, охваченных болезнью, журчит старый блюз. Что это — песня, которую я слышала, волоча за собой тряпичную куклу, неуклюже ковыляя по грязи на другой стороне трамвайной линии? Кто знает, ведь она же старая, старая, как я:

Я хотел бы стать кротом в глубине земли,

Я подрыл бы эту гору из глубин земли,

Я хотел бы стать кротом в глубине земли.

Теперь уже скоро. За дверью, перебивая пьесу из псевдофермерской жизни, слышатся голоса.

— Как вы думаете, может, позвонить ее врачу? — Наверное, Шарли уже выключила свой мобильник. Она управляется с ним, как если бы

это было само будущее.

— Хорошая мысль. Честно сказать, не думаю, что она долго протянет.

Я хочу протянуть долго — я хочу быть с вами, Дорин.

— Но…

И здесь ее голос уходит за пределы слышимости, зато становятся слышны другие голоса в соседней комнате, Наташи и Майлса, которые препираются, решая, куда пойти поесть. Кто бы мог подумать, что все покатится так быстро?

ГЛАВА 4

Сайденберг уже в пути — вот и славненько. Сайденберг, последний в череде докторов, тянущейся с конца сороковых. Не надо ставить мне в вину то, что я давала работу этим молодым специалистам, что я всегда стремилась вызвать врача на дом. Ведь что такое ипохондрия, как не повивальная бабка всех остальных, меньших фобий? Когда девочки были маленькими, я могла бы в два счета выгнать Вирджинию Бридж. Думаю, что не сделала этого по двум причинам: мне нравились ее вялые подбадривания, но не меньше нравилось наблюдать Йоса с еще одной женщиной. Мне казалось забавным видеть его этаким мальчуганом, который держит в каждой руке по эскимо, не зная, какое лизнуть.

К тому же мне нравилось, что доктора всецело в моем распоряжении — по крайней мере, так мне казалось. Теперь я понимаю, что все, что им когда-либо от меня доставалось, был продукт с брачком: очередная поврежденная оболочка человека, которому не хватает детали до полного комплекта. Сейчас двадцатый век — неудивительно, что эти работники конвейера

продолжают ставить диагнозы, когда дневная норма уже выполнена. Сайденберг явно не из худших. Он, безусловно, лучше этого проходимца Лихтенберга, который «психоанализировал» меня в начале пятидесятых. Я все прекрасно помню. Он был приятелем Каплана, и в их отношении к любому моему *crise de nerfs* была некая пугающая согласованность. Я кричала им: «Да вы в сговоре!» — а они отнекивались.

Лихтенберг, правоверный фрейдист, видел связь любой стороны моей души с ранним детством. Ладно, мое детство могло быть дерьмовым хуже некуда, но теперь мне следовало позаботиться о детстве Дейва — младшего, — который как раз был на подходе. Но нет, Каплан приветствовал психоанализ, Восемь Супружеских Пар, Которые Что-то для меня Значили (наш тесный до кровосмесительства круг близких друзей), тоже приветствовали его, и факт, что это погружало меня в прошлое, едва ли тогда казался важным. На деле Лихтенберг как бы выдал мне лицензию на то, чтобы заводить романы. Он считал, это поможет мне побороть негативное отношение к отцу. Дерьмо собачье. На самом деле все эти фрейдистские разговорчики о сексе были болтовней, прелюдией к бездумной половой распущенности

шестидесятых. Хотя не для меня — к тому времени я снова предпочитала болтовню. По большей части. Интересно, что сказал бы Лихтенберг по поводу моего теперешнего безвыходного положения. Скорее всего, процитировал бы Фрейда: «Главная цель жизни — смерть». Жаль, я не убила этого подонка.

Из города в город, из городка в городок. Сквозь айсберги в полярную ночь. Сайденберг один из тех английских евреев, которые дадут сто очков вперед самим англичанам. С конца семидесятых английские аборигены оставили свою сдержанность, свое спокойствие, свою простую вежливость. Они всегда сожалеют о своей «американизации», имея в виду сеть магазинов, супермаркеты, рекламу, — но все время упускают из виду незаметно подкравшийся космополитизм, преобразивший их общество. Я заметила в семидесятых — в это округлое десятилетие, — что англичане начали находить еврейско-американский юмор действительно забавным, воспринимать его мудрость — и это было началом конца. Местные евреи слишком традиционны и бестолковы, чтобы сыпать настоящими хохмами. Они из тех, кто осел в Ливерпуле, в то время как остальные отправились в Новый Свет. Разбога-

тев, они удалились, подобно Рубенсам, за город, доживать свои дни в бесцветном равнодушии. Евреи-англичане. Жителям Англии пришлось искать увеселений у американских евреев, вот тут — то Лондон и вправду объевреился. И сейчас любой сопляк-кокни при встрече хохмит, дурачится, болтает без умолку и мошенничает. Ну и отлично.

Как бы там ни было, вот он, Сайденберг: высокий, сутулый, седой, в очках. Его двубортный костюм симметричен — в отличие, увы, от моего тела. Сайденберг держит в руке отвратительный современный виниловый кейс, который ставит рядом с кроватью, прежде чем, сложившись, оказаться на одном уровне со мной. Что за выражение — «умение подойти к больному»! Все доктора, которые когда-либо подходили к моей постели, испытывали — соответственно обстоятельствам — крайнюю неловкость. А легко бы им стало, если бы мне было легко: если бы они поставили свои кейсы, сняли брюки и легли рядом со мной в постель. Вот это было бы умение подойти к больному.

— Ну, вернулись домой, Лили?

— Как видите, доктор Сайденберг, как видите.

— Боль есть?

— Болит.

— А тошнота?

— Тошнит.

— Понятно.

Он действительно все понимал, все видел сквозь бифокальные очки, увеличивавшие его устричные глазки. Да, было бы хорошо, если бы он лучше умел подойти к больному. Было бы хорошо, если бы он лег ко мне в постель — мне нужен кто-то, все равно кто, чтобы удержаться. Попробуем другой подход.

— Я боюсь.

— Умирать?

Молодчина. Не увиливает, это мне нравится.

— Умирать. А еще того, что со мной сделают после смерти.

— Вы говорили мне, что вас это не волнует, что вы велели Наташе и Шарлотте кремировать вас и бросить пепел в ведро или в урну — куда угодно.

— Боюсь, они этого не сделают — Шарлотта слишком сентиментальна, а Нэтти всегда под кайфом.

— Что ж, принимая во внимание ваши материалистические взгляды, вряд ли это будет иметь значение, разве не так?

— Я не хочу, чтобы меня бальзамировали.

— Это американские штучки. Мы здесь ничего такого не делаем. Запомните, подавляющее большинство англичан подвергается кремации, думаю, что-то около семидесяти процентов.

— Знаю, знаю, самая подходящая страна, чтобы сжечь труп. Даже не нужно будет вытаскивать электрокардиостимулятор — потому что у меня его нет. Как вы думаете, когда тебя жгут, это чувствуешь?

— Лили.

— Я серьезно. Вдруг я заблуждаюсь? Вдруг ты все ощущаешь, вдруг ты ощущаешь, когда твои кости дробят в измельчителе?

— В измельчителе?

— Это вроде центрифуги, наполненной стальными шариками, — для измельчения костей, чтобы родственники не пришли в ярость, если вдруг обнаружат лишние ребра или дополнительные позвонки, когда заберут урну и начнут просеивать останки.

— Ну, ну, перестаньте, все это выдумки — я полагаю, вы страдаете тафефобией.

— Что это еще за хрень?

— Иррациональный страх быть похороненным заживо.

— В противоположность людям, живущим на

Сан — Андреасском разломе?

— Вот именно.

Ну и ну, тафефобия. А я-то думала, что смерть — радикальное средство от всяческих фобий. Теперь оказывается, что у меня очередной иррациональный страх — даже при том, что я умираю.

— А как насчет того, чтобы удрать в Палермо?

— Что?

Чувствую, разговор начинает приводить его в замешательство. Отлично — мне тоже трудно продолжать.

— Палермо или Париж, там есть подземные кладбища, катакомбы, где я могла бы висеть на проволоке в своем лучшем платье от «Маркс энд Спенсер», удобных туфлях на низком каблуке и в дождевике.

— Это ведь тоже не очень практично, правда?

Нет, не практично, и мне не хочется так болтаться, не хочется быть *помехой.* Как не хочется быть высаженной в грунт муниципального некрополя в Уонстеде. У меня было достаточно трудностей с оплатой жизненного пространства как такового, и мысль о том, чтобы взять кладбищенский участок под залог, кажется непристойной. Я достаточно много читала об этом и *знаю,* что происходит. Я даже знаю, что британскую

кладбищенскую индустрию прибирают к рукам крупные американские корпорации. А эти простофили думают, что попадут на небо, но даже если так, — в чем я сильно сомневаюсь, — их земные останки будут давать весьма мирской доход для жирных, неразборчивых в средствах инвесторов. Дурачье.

Мне хотелось бы поделиться этими сведениями с Сайденбергом, уж мне-то известно, он прекрасный слушатель, но к тому времени, как я осознала, что некоторое время лежу с закрытыми глазами, а затем наконец сумела их открыть, он уже ушел в соседнюю комнату, чтобы обсудить мое состояние.

— Боюсь, сейчас мало чем можно помочь.

— Понятно. Как вы думаете, есть смысл обзванивать хосписы?

— На самом деле, нет, мы можем с таким же успехом справиться с болью здесь. Вы организовали круглосуточное дежурство?

— Да. Значит, это случится здесь?

— Если не произойдет никаких резких изменений, если она сможет получать лекарства.

— А вы думаете, не произойдет?

— Трудно сказать. Если наступит резкое ухудшение, что ж, тогда, боюсь, вам придется звонить

в хоспис.

— Она не хочет умирать в больнице.

— Откровенно говоря, Шарлотта, суть в том, что она вообще не хочет умирать. Ваша мать еще молода. Я думаю, все разговоры об останках и погребениях это отвлекающая тактика. Она когда-нибудь говорила с вами о том, что должно произойти?

— Немного. Она почти не говорит о смерти. Иногда кажется, что она примирилась с мыслью о ней, но по большей части она очень-очень раздражена.

— Что ж. Этого следует ожидать.

— Я надеялась, она будет относиться к этому более философски.

Философски — ха! Одно из словечек Йоса — «философски». Он сам был до черта философским. Философским во всем, кроме философии, — это ему было не по зубам. Йос был историком Церкви. Написал диссертацию о Троллопе и изображенном в его книгах духовенстве девятнадцатого века. Я бы не назвала тему второразрядной, хотя удивительно, сколько она привлекает второразрядных умов. Я готовила чай, принимала седоватых вечных студентов в вечных седоватых английских сумерках: «Скажите, миссис Йос,

какой из Барчестерских романов вам нравится больше всего?» Любой из них вызывал у меня по меньшей мере желание сказать *«засунь его себе в заднишу, ублюдок».* Жаль, я была вежливой с этими ничего не стоившими людьми и не очень вежливой с теми, кто этого заслуживал.

Что ж, значит, мне предстоит умереть здесь, так? В моей грязной маленькой квартирке. Сделаю-ка я опись моего смертного пространства, этой идеальной могилы, «окультуренного» саркофага. Последнее слово означает — и я знаю это слишком хорошо — «пожиратель плоти». Слышишь, Разбойница? Не одна ты здесь пожираешь плоть. И рак, подобно верному псу, тоже тут. Терзает меня своим смертоносным шилом. Я почти забыла, какую дикую, утонченную боль вызывает голод — пока *ты* не напомнил мне. Итак, невзрачная мебель, разрозненная посуда, коробки с почтовыми открытками — какого черта я их столько накупила? Не забыть для Другой Жизни: никогда не покупать больше открыток, чем собираешься отправить, — не важно, насколько хороши картинки. Безделушки, книжки, поношенная одежда на вешалках; дно шкафа уставлено старой обувью; корзинки и обувные коробки с жутким вязаньем и случайными

обрезками шитья, которые так ни на что и не пригодились; выдвижные ящики, набитые жалким бельецом и еще более жалкими письмами. Письма… для чего хранить письма? Хочется ли мне сейчас перечитать письма? На хрен мне это нужно. На кухне в буфете стоят банки с засахарившимся вареньем; в застекленном шкафчике в ванной наполовину использованные жестянки с тальком и подозрительными мазями — принесите их мне! Принесите мне мое имущество! Я хочу умереть с банкой черно — смородинного варенья в одной руке и салфеткой из соломки в другой. Я хочу испустить последний вздох, держа в руках все кардиограммы моего измученного сердца, минуты моих ненадежных встреч и труды моих непочетных обществ. Не рано ли я? Причитаю по покойнику.

Входит Дердра и пересекает спальню, приближаясь к месту, где я лежу, а у меня в ухе шелестит сообщение об Айвене Боески.

— Как вы себя чувствуете, Лили? — спрашивает она.

— Уменьшилась в размерах, — отвечаю я. — Меня распродают по частям, оставляя только доходную сердцевину. — Я хочу сказать еще что-то, но не могу, потому что борюсь с новым

ощущением, которое оказывается ужаснее самогб страха, тошнотворней самой дурноты. Это мать всех ощущений для меня, матери, которая всегда убегала и пряталась, когда кругом становилось невыносимо.

Я парализована. Не могу двинуться, не могу моргнуть. Эта жирная сволочь, которая сидит у меня на груди, выдавливая из меня жизнь, — больше не я. Дердра сгибает руку за моим затылком и поднимает меня достаточно высоко, чтобы положить таблетки мне в рот, затем запрокидывает мне голову, так что можно водой смыть их в горло. Избавление от боли становится теперь технологической операцией, а не медицинской процедурой.

— Ну вот, — говорит она, опуская меня на постель, — сейчас я оботру вам лицо и шею, и вы сразу почувствуете себя лучше.

В бытность мою вполне действующей матерью я знала эту процедуру назубок: указательный палец плотно обернут носовым платком, детский ротик пленен моей твердой рукой, по крошечным отекшим деснам проходится твердый коготь. Если бы я могла предположить, что эта техника снова будет применена ко мне, то не была бы так груба.

— Я подумала — забегу, посмотрю, как она.

— Как и положено в ее состоянии, Наташа. Она сейчас спит.

— Вы… вы ведь Дердра?

— Да.

— Вы думаете, это случится скоро?

— Мне бы не хотелось это обсуждать.

— Но как вы думаете?

— *(Вздох.)* Я видела людей в таком же состоянии, как ваша мама, и они жили неделями и месяцами или уходили в течение секунд и часов. Смерть, Наташа, не подчиняется нашим графикам.

— Я зайду в сортир.

Обычно хриплый голос Наташи становится на полоктавы выше и заметно вибрирует. Я ощущаю жуткий, болезненный запах пота, идущий от нее, когда она легким галопом пересекает мою комнату — почему никто не почистит эту накачавшуюся наркотиками лошадку-пони? Я слышу, как автоматически включается вентиляция, гоняя пылинки, льется вода из кранов, низвергается водопад унитаза, и, кажется, прошло всего несколько секунд, а она уже здесь и рыщет по ящикам тумбочки.

— Вы что-то ищете?

— Да… письмо… счет… я здесь оставляла.

— Какие-то бумаги лежат на столе под окном.

— Правда?

Провал. Дердра действует довольно ловко — несмотря на свой кардиган. Разгадала трюк Нэтти. Думаю, она не станет тратить много времени на испорченных, невоспитанных детей среднего класса, вроде моей дочери. Она, разумеется, не позволит Наташе уйти с моими лекарствами. Черт возьми, надо было дать ей какой-то запас, пока я могла. Теперь это произойдет у Рассела — интересно, на сколько миль она ухитрится отдалить от себя Майлса? Я даже не слышала, как она ушла — моя собственная дочь; но тогда я не чувствовала себя каким-то неодушевленным предметом.

Помню это отсутствие ощущений. Такое иногда случалось со мной здесь, в спальне, особенно в тумане джина, в можжевеловом лесу. Лежишь на кровати, чертовски хочешь спать, а Всемирная служба радиовещания не переставая жужжит в ухе. Так отчаянно хочется спать, мысли снуют в черепе, со стуком ударяясь в веки. Веки, которые сначала никак не открываются, а потом никак не закрываются; веки, которые взлетают вверх, как непокорные жалюзи. Это и происходит со

мной — тело мое засыпает, а разум бодрствует, в результате — паралич. Ткань мозга ложится то лицом, то изнанкой, мозг мой всегда готов сыграть со мной злую шутку и поставить в тупик. От него столбенеешь, от этого паралича. Ха-ха. Я думала, столбенеешь, *потому что* боишься, но теперь понимаю, что бывает и наоборот.

Почему меня не охватывает еще больший страх, пока я лежу здесь, а радио хорошо поставленным голосом излагает какие-то мерзкие события? Не в силах двинуться, убежать. Клаустрофобия и агорафобия — все эти годы я думала, что они связаны с внешним пространством, а теперь поняла, что и тот и другой страх — на дурацком жаргоне Лихтенберга — означают «проекции». Что само тело либо слишком огромно для крошечного мозга, который блуждает по нему, либо слишком малб, чтобы вместить мириад ощущений, скопившихся в его памяти, словно тарелки в кухонной раковине. Боже, — я начинаю философствовать… а заканчиваю воспоминаниями о Пенсильванском вокзале…

…по которому шагаю, цокая каблуками, от путей к железным лестницам, цок-цок-цок, и в общий зал ожидания, цок-цок-цок. Я перехожу из одного огромного сводчатого помещения в

другое, они различаются тем, что основная часть вокзала — это голый костяк, чугунные ребра, надменные почечные лоханки и взмывающие вверх, выгнутые позвонки, а зал ожидания облечен плотью кессонированного оштукатуренного потолка.

Казалось бы, Пенн-Стейшн — или даже любой вокзал — будет последним местом, где мне захочется бродить, при том, что внутри него столько пространства. Да нет. Я предпочитаю видеть в нем только внутреннюю конструкцию, огромное убежище, скрытое в одном из уголков города. Вонью паровозного дыма и пахнущим завтраком дыханием десяти тысяч человек он помогает от клаустро — и облегчает агора-. Классическим бессмертием вокзал обязан фасаду, сделанному по образцу бань Каракаллы. Но в это утро я замедлила шаг под его фронтоном не поэтому — голова моя была занята более важными вещами.

Сегодня ланч по поводу Ракеты Роуза — а я на гребне революции в канцелярских принадлежностях. Да, возможно, война на Тихом океане заканчивается (до Дня Победы над Японией оставалось всего несколько недель), но единственные снаряды, которые меня сейчас волнуют, — это Ракеты с прописной буквы «Р», — а единственная

присутствующая зенитная артиллерия будет в фетровых шляпах с загнутыми полями. Сегодня день прессы для Ракеты Роуза, первой шариковой ручки, когда-либо появлявшейся на рынке Соединенных Штатов. Ну конечно, идея витала в воздухе десятилетиями, была запатентована еще в 1888 году, но, черт возьми, зачем что-то изобретать, когда можно своровать? Вся послевоенная японская промышленность была содрана, а сдирали японцы у людей, подобных Роузу. Правила игры задавал Боб.

Это началось в Буэнос-Айресе, где Роуз закупал необработанную шерсть для своего бизнеса. Он был бизнесменом из Чикаго, сделавшим во время войны состояние на вещах с шерстяной подбивкой: летные куртки, шлемы, спальные мешки, — вы разворачиваете их, а это он их подбил. В «Городе на ветрах» его называли Королем Шерсти. Так вот, в Буэнос-Айресе Роуз увидел несколько оригинальных ручек Байро в универмаге и, с первого же взгляда оценив их возможности, купил несколько штук и привез домой, намереваясь скопировать. Бедный старый Ласло Байро продал свои права в Северной Америке фирме «Эвершарп», но не позаботился о патенте — и кому же, как не Королю, следовало

получить и с него, и с фирмы свой клок шерсти.

Роуз был давним приятелем Каплана по колледжу. Каплан пошел на войну. Мы тогда так говорили: «Он пошел на войну». И японцы со своими огнеметами казались какой-то игрой в мяч, мне это нравилось.

Я была эгоистичной, своевольной, легко приходившей в возбуждение девушкой двадцати одного года; когда Каплана призвали, мы были женаты год. Тогда он еще не носил своей двусмысленной бородки. С квадратными челюстями, гибкий и крепкий, среднего веса, с каштановыми, вьющимися волосами, он мог кого угодно рассмешить фразой, которую любил повторять: «Я поменял фамилию на Каплан», — потому что настолько олицетворял собой американца, что определить национальность было трудно. Он казался не больше евреем, чем немцем, или итальянцем, или ирландцем, или кем еще. Весельчак Дейв Каплан, генетический коктейль.

Мы снимали квартиру без горячей воды в жалкой развалюхе на 11-й Западной улице. В то время на Ман хэттене было не так просто найти квартиру с горячей водой — война продолжалась, продолжался и дефицит жилья.

Какое-то время я занималась тем же, чем и

все, — продавала облигации военного займа. Меня выворачивало от этого — Каплан заразил меня своим коммунизмом завсегдатая кафе и своим еврейским антисемитизмом. Облигациями военного займа меня снабжал Кантер. Жалкий человечек, британский эмигрант. Я его не переносила. «Ваше сердце не здесь», — лицемерно, напыщенно повторял он. Как будто я лично отвечала за этот хренов Перл-Харбор, за лишения миссис Минивер.

Какое-то время я делала и другую работу для фронта, ставила радиоприемники на «Летающие крепости», это было довольно забавно. Думаю, я неплохо выглядела в комбинезоне, когда затягивала его покрепче, но мне приходилось ездить в глушь, в Джерси, на завод, и… В то время я страстно стремилась на Манхэттен.

Так или иначе, вот я выхожу из Пенн-Стейшн, потому что мне нравится сворачивать с дороги в контору Роуза, которая расположена на середине 40-х улиц (не помню точно где — а вы бы помнили?), и я ликую, потому что мы первые во всех Соединенных Штатах Америки сделали ручки, которые не надо заправлять. Мы опережали «Эвершарп Кэпилэри Экшн» по продажам целых пять недель — из-за стройного, футури-

стического дизайна Ракеты и революционной системы подачи чернил. А кто же это придумал такой дизайн? Да, конечно, я. Наша малышка. Когда я училась в Колумбийском университете, то посещала занятия по дизайну, хотя никогда не собиралась становиться профессионалом. В молодости у меня не было особой охоты заниматься чем-то определенным. Я представляла себя кем-то вроде Зельды Фицджеральд: женой успешного писателя или художника, хозяйкой салона, выпивающей слишком много хайболов, влетающей на своей «испано-сюизе» в волны Средиземного моря — что-то в этом роде. Я была фантазеркой. Единственное, что я могла себе позволить из всего этого, — выпивка. А все, что у меня было — это большое, толстое тело, грязное воображение и талант говорить дерзости.

Роуз послал мне телеграмму, потому что у нас не было телефона. Как я уже сказала, я не помню точно, где находилась контора, но из окна его кабинета было видно Таймс-Тауэр. А сами комнаты, естественно, были забиты шерстью. Роуз оказался — к моему большому огорчению — крупным парнем и, как и я, блондином. «Я сменил фамилию на «Роуз», чтобы люди думали, что я еврей, — сказал он мне, — это единственный

способ преуспеть в бизнесе». Мы посмеялись над этим. Затем он показал мне эскизы авторучки и спросил, не могу ли я помочь. Он не стал привлекать какого-нибудь известного промышленного дизайнера, ему хотелось сохранить полную секретность, а я была темной лошадкой. «Подобно атомной бомбе, — сказал он, — эта ручка взорвет мир, вот увидите».

Беда в том, что Ракета представляла собой короткую, толстую, округлую штуку. Корпус ручки и механизм должны были составлять одно целое. Чтобы снизить затраты, Роуз собирался использовать корпус перьевой авторучки. На теперешние ручки Ракета стала похожа году в 1971-м. Меня осенила блестящая идея:

— Вы сказали, мистер Роуз…

— Зовите меня Бобом.

— Хорошо, Боб. Вы сказали, Боб, что чернила попадают на бумагу благодаря свободно вращающемуся стальному шарику, которым заканчивается стержень?

— Да, это так.

— А вы хотите, чтобы ручка — Ракета — оправдывала свое название, чтобы она была обтекаемой формы, футуристических очертаний, правда?

— Хотелось бы.

— Помните Всемирную выставку 39-го года?

— Кто же не помнит.

— Так вот, мне кажется, что ваш крошечный стальной шарик — это уменьшенная версия огромной Перисферы, сооруженной для Выставки. Он должен помещаться внутри Трилона.

— Трилона?

— Вспомните, такая огромная конусообразная конструкция, в ней семьсот футов высоты.

Боб Роуз засунул руки в карманы жилета и принялся крутить пальцами, что придало ему сходство с каким-то сумчатым. Я обычно забываю внешность, а жесты помню. Его глаза доверчиво округлились.

— Это, миссис Каплан, чертовски хорошая идея.

Он платил мне пятьдесят баксов в неделю, и я работала дома. У Ракеты был съемный колпачок, похожий на кабину истребителя. Я отвергла имевшиеся у Роуза эскизы, напоминающие поверхность крыла — такая ручка натирала бы руку при письме. Я сделала ручку тоньше. Она мгновенно стала хитом. В тот майский день 45-го года на встрече с прессой я продавала ручки с подноса, как девушка-папиросница. Одним жур-

налистам и рекламщикам мы продали пятьсот штук. На следующей неделе Ракета стартовала в «Гимбелс», и в первый же день было продано десять тысяч. Это было головокружительное время — и я взяла за правило ежедневно заходить на Пенсильванский вокзал, независимо от того, шла ли я от центра города в контору или нет. Именно там, внутри этих пространств, я могла проецировать в любую сторону свою неистовую гордость — и свою новую тревогу. Поскольку как раз, когда я работала над Ракетой Роуза для оптовой продажи, он всучил мне свой товар в розницу. Свой член, я хочу сказать, — авторучки с выдвигающимся стержнем появились только через десять лет.

Он был большой спец по этой части, Боб Роуз. Мы трахались с ним в его кабинете, в моей квартире, в гостиницах и ночлежках, в гостях — где только могли. У Боба были ловкие проворные пальцы, он мог оказаться у меня в трусиках за несколько секунд и вынырнуть оттуда через несколько минут. Звучит довольно гадко, но, поверьте, это не было гадко. Боб не был лицемером — он никогда не нес чепухи о том, что «несчастлив в браке». Связь с ним не особенно увлекала меня; я была молода, горда, самоуверенна. Я думала, что

скоро получу настоящую работу в компании, что я на подъеме. Я уже работала над эскизами для целой роты Ракет Роуза, когда начались неприятности. Ручки протекали, делали пропуски и даже совсем *не писали.* Первую партию распродавали в «Гимбелс» по сниженным ценам — кривая продаж упала невероятно. Всему виной оказался дизайн. Боб устроил мне выволочку: именно моя небрежность, моя неопытность, мое *дилетантство* привело к этому, к этой *катастрофе.*

Он был внутри меня, когда это говорил, мы трахались на его письменном столе, обнаженные ниже пояса, я сверху. Люди часто разговаривают, когда трахаются. Трахаться само по себе было новым — или казалось новым, принадлежащим двадцатому веку, — и правила поведения еще предстояло выработать. Мы трахались и говорили, слушали музыку, курили, — что я всегда считала лучшим способом поставить на место мужское эго, — даже пили коктейли. Вы же понимаете, я не собиралась выслушивать подобную чепуху от Роуза. Я привстала над ним и позволила тому, чем он меня начинил, струйкой вытечь на его тело. «Из твоих ручек течет, Боб, — сказала я, — и из меня тоже. — Конечно же, он обещал не кончать. — И знаешь почему?»

К этому времени я уже слезла с большого стола, натянула трусы и распутывала чулки и подвязки.

«Почему?» — Он приподнялся на локте. Зрелище было довольно сюрреалистическим: голая задница покоилась на книге для записей, а голая нога касалась интеркома.

«Потому что у ручек маловаты шарики, а у тебя — яйца».

Ничего себе парфянская стрела, правда? Лучшее, что мне когда-либо приходило в голову. И я оказалась права — это-таки были шарики. Через десять лет ручки стали делать с вольфрамово-карбидными шариками с абразивной поверхностью, которые превосходно держали чернила, но шарики Ракеты были просто стальные — слишком гладкие и слишком маленькие. Бизнес Роуза погорел, и «Эвершарп Кэпилэри Экшн пен» тоже не возродилась. Спустя десять лет Паркер выкупил их авторучку Джоттер, и эта маленькая дрянь продавалась по три с половиной миллиона штук в год, ценой в три бакса чистыми. Ракета стала историей — кроме одной небольшой детали. Когда компания «Бик» выкупила долю Уотермена[10] в

[10] Примечания: 10
Уотермен — изобретатель авторучки.

начале шестидесятых и стала господствовать на рынке шариковых ручек, делая их все более дешевыми и все более эффективными, я заметила, что одну деталь дизайна они своровали у меня — колпачок. Да, даже сегодня колпачок самой обычной ручки БИК Кристал (ежедневная продажа по всему миру до 14 миллионов штук) — просто сперт у моей первоначальной Ракеты Роуза.

Горда ли я этим? Еще как. Очень горда. Даже сейчас миллиарды ртов дышат на то, что *я* создала, на кусок пластика, которому *я* придала форму, мне иногда кажется, что и паста в стержне каждой ручки движется благодаря моей воле и энергии. Горда? Да, конечно. Очень. Есть прелестная ирония в том, что именно женщина создала этот хитрый маленький член, этот банальный пенис, эту классную сосиску, на долю которой пришлось множество комментариев в послевоенном мире. Должно быть, мне посвящено чуть ли не больше примечаний, чем кому-либо из живших в этом веке людей — если вы понимаете, к чему я клоню.

Продолжала ли я работать после этой катастрофы? Нет. Я больше не спроектировала ничего для коммерческих продаж. В семидесятых я написала Беролу. Я считала, что они сделали

большую ошибку с колпачком своей новой ручки «Роллерболл», который казался мне похожим на нацистскую фуражку прежних времен. Но они не заинтересовались — хотя я получила достаточно вежливый ответ от менеджера конструкторского отдела. Справедливости ради надо сказать, что ручка Берола оказалась весьма популярной. Не более десяти минут назад я видела, как Дердра заполняла свой табель одной из таких ручек. Кажется, никто так и не заметил маленьких фуражек, которыми они закрываются, — или заметил? Может быть, именно поэтому они так популярны?

Вернувшись с войны и выяснив, что я тут трахалась, Каплан сказал мне: «Какого хрена я защищал мою страну?» Я ответила: «Почему бы тебе не спуститься со своих нравственных высот?» И он спустился.

Но подлинную гордость во всей этой истории с Ракетой я чувствовала, потому что она дала мне острое ощущение прогресса, какое вряд ли многим удалось испытать в то время. США после войны целиком были охвачены лихорадкой модернизации. Широкозадые модели автомобилей тридцатых-сороковых годов уступили место узкобедрым рапирам пятидесятых — автомоби-

лям-ракегам, если хотите. Все было ребристым — не только автомобили. Оправа для очков, радиоприемник, ботинки, холодильники. В 1957-м я бы не удивилась, если бы Дейв Каплан спустил трусы, и оказалось, что у него ребристый член. Ребра были будущим, и мы стремились к нему. Я думаю, что шариковая ручка вряд ли могла появиться раньше своего времени — не в мире, который через несколько недель стал свидетелем взрыва атомной бомбы, вместе с ее хорошенькими толстенькими ребрами. Более того, когда я сейчас оглядываюсь назад, мысль, что мир на рубеже веков не имел даже перьевой авторучки, кажется абсурдной, вроде какой-то фантастической реальности, в которой нацисты выигрывают войну. Черт подери, ведь все это время люди окунали перья в чернила, и это при любых их намерениях и целях оставалось неизменным с тех пор, как пять тысяч лет назад египтяне выводили иероглифы, сидя на корточках перед папирусом, сжимая в пальцах свои хреновые тростинки. Прогресс-шмогресс.

Гордость уютное чувство, когда оно обернуто вокруг тебя да еще подбито шерстью. Король Шерсти. Гордость или наркотик — что дает мне это ощущение уюта при моем параличе?

Трудно сказать. Это настоящая память — или ложная? «Экранирующая» память, как выражаются фрейдистские ублюдки. Как знать. Позволив этим ловким еврейским парням накинуться на нас, мы превратили занятия любовью в источник неврозов, мало того, мы превратили наши воспоминания в шаткий настил, кое-как прикрывающий глубокую яму, полную невысказанных ужасов. Воспоминания, словно углы нашего разума, всегда готовы зацепить одежку наших душ и порвать ее. Я могу обойтись без них. Обойдусь.

Когда я делаю шаг за поверхность сознания, а затем глубоко погружаюсь в него, радио-4 становится Всемирной службой радиовещания. Я сплю так последние десять лет — с радиоприемником, расплющенным у меня под ухом. Дикторы, благоразумные, среднего возраста, с прекрасной дикцией, принадлежащие к среднему классу, заменяют благоразумных, среднего возраста, с прекрасной дикцией, принадлежащих к среднему классу любовников, каких у меня никогда не было. Они утешающе журчат мне о войне, голоде и мятеже. Затем утешающе журчат о победах на скачках, теннисных турнирах и счете крикетного матча. Они приводят в порядок мировую спортплощадку, осторожно растягивая огромный

купол медленного постижения над темнеющим игровым полем.

ГЛАВА 5

Дом в Кривом проулке на самом деле представлял собой полдома со своим беспорядочным полумиром. Наполовину он был завален фамильным скарбом Йосов, который копился поколениями, — тяжелыми буфетами, неподъемными книжными шкафами и массивными уродливыми стульями. А наполовину — теми немногими вещами, которые мне удалось спасти, когда мой первый брак потерпел крушение, погрузить на корабль и переправить на этот унылый остров. В нашем доме не было ничего красивого, или любимого, или хоть мало — мальски современного — кроме маленькой Наташи.

К дому примыкал гараж из красного кирпича, стоявший на собственном фундаменте. Сам дом никогда не был чистым и ухоженным, но даже если я и ухитрялась — вместе с миссис Дженкс, помогавшей мне перемещать хлам с места на место, — навести в нем некое подобие порядка, гараж все равно оставался музеем хаоса. Ох уж этот гараж — все, что в нем исчезало, не появлялось вновь. Он был мемориалом провалу в тартарары. Машина Йоса ютилась на аллее. То,

что гараж был выстроен в том же стиле, что и дом — красный кирпич, шиферная крыша, металлические стойки, — не столько возвышало первый, сколько принижало второй. Что касается интерьера, то в центре гаража вздымался обелиск из отопительных труб, а по задней стене тянулся колумбарий из чайных коробок. В дальних углах пылились в темноте старые сумки Йоса с клюшками для гольфа, похожими на гигантские зубоврачебные инструменты, некогда применявшиеся для грозных операций на грязных ртах. Там валялись доживавшие свой век велосипеды — мамин, папин, детский с колесиками по бокам — в гирляндах паутины, шершавые от ржавчины. То был главный реквизит Гаража Ашеров, но там еще лежали груды разбухших от сырости газет и книг, рваные картонные коробки, из которых вываливались игрушки и заплесневевшая старая одежда — все мыслимые виды мусора, который никто не удосужился разобрать и не потрудился выбросить. И надо всем этим витал — почти священный — запах машинного масла «Три в одном».

Там играли девочки, пока были маленькими. Вернее, Шарлотта — в полном соответствии со своим характером — пыталась навести там поря-

док, что никак не удавалось ее матери. Маленькая мисс Йос трудилась не покладая рук — пока ее сестра била старые оконные стекла или сажала в клетку голубей, покалеченных кошками. Гараж был вне компетенции Йоса. Как я уже говорила, он торжественно шествовал по жизни, словно по огромной кафедральной площади. Он умел водить машину, но когда он нажимал на газ, и «бедфорд» — или «остин», или любой другой чертов автомобиль, с которым мы в данный момент мучились, — качаясь, выезжал на дорогу, на лице Йоса застывала гримаса клерикального отвращения. Из всех моих знакомых он был единственным, кто вел машину так, словно делал нечто непристойное, словно совершал адюльтер, изменяя собственным огромным ступням.

Слушайте, Йосу плевать было на измену. («Слушай» — еще одно любимое словечко Йоса, используемое как глагол, существительное и даже восклицание — о, где ты, старомодное «Аллилуйя!».) Йос был прижимист, когда дело касалось его вещей, его скудного дохода и жалких подарков членам семьи. Давая чаевые (служанкам или собственным дочерям — и то и другое этот неовикторианец почитал своей обязанностью), он часто бывал не в состоянии расстаться

с бумажкой в десять шиллингов. И если девочки крепко держались за нее, то рвались не только отношения отца с дочерьми, но и сама банкнота.

Скупой с вещами, но щедрый телом. Он шествовал по уродливой кухне в своем желтом фланелевом белье и ныл: «Слушай, Лили, куда подевался хрен?» — «Подумай лучше, в какой паршивой п… ты видел его в последний раз!» — огрызалась я, — и Йос казался пораженным, даже начинал сердиться: «Слушай, Лили, это слишком!» Господи, он был настоящим придурком. Боже, в его дородном теле вместо души сидел костлявый Шейлок. Больше всего он скупился на чувства, его улыбка походила на табличку: «Не входить!»

Если шестидесятые годы меня чему-то научили, так это тому, что не все фобии иррациональны. И вот я — провалявшаяся первую половину десятилетия в прострации, накрывшись простынями, словно они могли защитить меня и моих детей от радиации, — шагаю по холодной Гроувнор-сквер, чтобы разразиться хриплыми криками перед американским посольством. Протестовать так глупо — мне, которая всегда предпочитала валяться в постели, читая рецепты и хрустя сливочными крекерами. И я знала, что я не ма-

ленькая девочка, бегущая по грязной дороге с напалмовым плащом за плечами; знала, что я не вьетконговец в клетчатой рубашке с короткими рукавами, умирающий от пули генерала Лоуна. Странно, но сама близость этих смертей — вдруг оказавшихся у нас перед глазами — сделала их совершенно невыносимыми для моего бедолаги-студента. Пока злодеи охотились на крестьян в Индокитае, я была в безопасности. В достаточной безопасности, чтобы в запущенных северолондонских пределах моего разума вновь расцвел идеализм. В достаточной безопасности, чтобы смотреть с вожделением на Гэса.

Гэс спортивным шагом спустился с самолета в Лондонском аэропорту и прибыл к нам в униформе американского студента тех лет: синие джинсы, хлопковый джемпер с эмблемой университета, кроссовки и спортивное полупальто с капюшоном и деревянными пуговицами. За десять лет этот наряд превратился в униформу контркультуры, но тогда его только начали носить. Все со временем вырождается. Я хорошо помню толпу на Гроувнор-сквер: молодые люди с волосами на прямой пробор, в очках с роговой оправой, молодые девушки в нарядных трикотажных кофточках, а некоторые даже в *двойках*.

Сейчас мои девочки спрашивают меня, какими были шестидесятые. Ответ достаточно прост: такими же, как пятидесятые. Да, точно такими же. Молодежь просто подражала стилю и моде старших, ушедших на полпоколения вперед. Естественно, сами пятидесятые напоминали конец сороковых, а те, в свою очередь, пуповиной были связаны с довоенным временем. Для меня Англия всегда была отсталой страной — без холодильников, без кафе, в которых можно перекусить, не выходя из машины. Когда я, прищурившись, глядела на пухлые лица Олдермастонских демонстрантов, борцов за ядерное разоружение, передо мной вставали изможденные лица участников голодного похода Джарроу.

Как бы то ни было, Гэс был сыном одной из Восьми Супружеских пар, Которые Когда-то Что-то для Меня Значили, и, что гораздо важнее, одним из друзей Дейва-младшего, одним из тех голых, измазанных грязью мальчишек, которые играли в ниггеров в тот день, когда погиб мой любимый мальчик. Гэс каким-то непостижимым образом просочился сквозь барьеры влияния и заградительные решетки освобождения от военной службы, придуманные для того, чтобы хороший мальчик из буржуазной семьи не угодил во

вьетнамскую мясорубку. Гэс действительно был *призван в армию* — и тут же пустился наутек, пройдя пешком по Длинной Тропе до Канады, а оттуда, дождавшись денежного перевода от родителей, вылетел в Европу.

В доме не было свободной комнаты, потому Гэс поселился в гараже. Он расположился там биваком среди ненужной поклажи двух предыдущих десятилетий. Скрываясь от вьетконговцев, он вынужден был затаиться в темных джунглях моей бродячей жизни. Я нигде не задерживалась надолго, и он не собирался долго оставаться среди этого хлама. По вечерам мы смотрели вдвоем девятичасовые новости, упираясь задами в спинку шершавого дивана цвета блевотины. Йос придерживался по поводу Вьетнама того же мнения, что и по поводу кубинского кризиса: все это уляжется, не затронув нас, — привычная песня в его устах. Йос не подозревал ничего сексуального между мной и мальчиком. Не то чтобы он начисто отвергал эту возможность, она даже не возникала на его грязном радаре. Я переспала с Гэсом всего-то раза четыре, самое большее — пять. Вся эта чушь насчет того, как ты учишь юнца тонкостям любви — дерьмо собачье. Все, что вам нужно сделать — немного их завести, а дальше не остановишь.

Каждый раз, когда мы этим занимались, меня поражало, что его не смущают складки целлюлита и кислый запах. Наверно, потому, что влагалища и грудей было в избытке.

Тогда, в последний раз в моей жизни, секс отдавал греховностью. Мы катались на мятых несвежих простынях, еще сохранявших запах Йоса. Гэсу мешали джинсы. Мне — либриум. Для меня то был славный период ментальной свободы. Я поднималась утром в ночной рубашке и готовила детям завтрак. Потом в ночной рубашке везла их в школу. Потом возвращалась в Кривой проулок, снимала ночную рубашку и снова залезала в постель. Словно работала в ночную смену. Тогда все пили смешанное виски «Хейг». Его реклама гласила: «Рассеет туман в голове», хотя происходило как раз обратное. Со мной.

В тот особенно холодный мартовский день, тащась от Марбл-арч вместе со всеми этими разбитыми сердцами и закоснелыми умами, я выбилась из сил. Тогда я постоянно ощущала усталость, черт возьми. Наташа вытянула из меня все жилы, я выкуривала по сорок сигарет в день, и в голове у меня был туман — из-за либриума. Он не валил вас с ног, как содиумамитал, но все же позволял волнению улечься. Вот так, утопая

в мягких подушках либриума, с молодым любовником под боком, я что-то кричала стоявшему у ограды полисмену. За серой глыбой американского посольства ветер и дождь трепали мозаичную зелень Гайд-парка. Копы, взявшись за руки, оттесняли от входа битников и пожилых благочестивых квакерш. Толпы молодых людей в спортивных пальто — и к моему стыду, Гэс — начали скандировать: «Хо! Хо! Хо Ши Мин!» Абсурд — что общего у стареющего, умного, аскетичного лидера Компартии Вьетнама с этими буржуазными шалопаями?

Все это кануло в прошлое, социальная революция как один из аспектов разрыва поколений. Только это и оставалось левому радикализму после войны. Лечение социальных недугов было такой же модой, как длинные волосы или бритье наголо. Я попалась на эту удочку вместе со многими другими. Марши протеста стали для меня одной из форм борьбы с избыточным весом. Я встречала там множество других женщин среднего возраста, находящихся на грани грушевидное™, которые сочувственно улыбались мне, поднимая плакаты.

Но в тот день я устала, чертовски устала. Когда полиция двинулась вперед, произошел обмен

ударами, и ситуация вышла из-под контроля — изумительное выражение. Она вышла из-под контроля, и кулаки вместо того, чтобы взметнуться в воздух, опустились на головы и скулы. Люди бросились бежать. Я потихоньку смылась, оставив своего молодого возлюбленного в этом бедламе. Но еще прежде передо мной промелькнули отвратительные замедленные кадры — головы, мотавшиеся из стороны в сторону, такой силы удары обрушились на них. Я видела, как громила-англичанин хлестал одного парнишку по лицу — так британские актеры изображают гестаповцев на допросе. По правой щеке, потом по левой и снова по правой. Меня всегда пугала непосредственная близость насилия. Я понимала, что этот раздел двадцатого века не для меня, что это не мое предназначение. Как мне представлялось, моя роль заключалась в том, чтобы, спрятавшись под крылышком истории, наблюдать за актерами, которых уже перебинтовали или украсили как-нибудь еще.

Даже шум беспорядков стихает, если втянуть голову в плечи и постараться его не замечать. Когда бутылки, кирпичи и обломки плакатов полетели в дождливое небо, я побрела на Беркли-сквер и опустилась на скамейку. Там, тогда, стояли еще

не заболевшие вязы — так мне кажется. Я села и забылась, глядя на мокрые, прилипшие к тротуару листья, на угасающих стариков. Иди сюда, сигарета номер тридцать четыре, пришло твое время. Я подумала, что никогда не чувствовала себя такой опустошенной. Или, точнее, такой бесчувственной. Даже усилие, необходимое для того, чтобы осознать собственную усталость, казалось мне… чрезмерным. Мне было лень смотреть. В свои сорок шесть я не могла себе представить, как проживу оставшиеся годы — их отравили у меня на глазах.

Глаза широко открыты в темноте. Из грез о конце шестидесятых я переношусь в кошмар настоящего. Проснувшись, не сразу понимаю, что эти воспоминания — ^отредактированные и неизданные — лишь грубая лакировка на дурно нарисованной картине настоящего. Вернее, понимаю, что резервуар усталости иссяк. И изнемогаю от самой этой мысли. Я полагала, что смогу всегда рассчитывать на эту дурманящую слабость, тягостную сонливость. Что детское приданое прослужит мне до конца дней, и сон — который долго выдавался мне по крохам — будет у меня в изобилии.

Не тут-то было. Дьявол глядит на меня злобны-

ми красными глазами в форме двоек. Они мигают с электронной неумолимостью. В водопроводных трубах урчит, как в голодном желудке. Боль мчится ко мне галопом — неистовые белые кони, сметающие все на своем пути. Ураганная боль. Она заставляет меня вцепиться в соломинку моего сознания, обрушивается на то, что перестало быть мной. Неужели я сейчас умру? Я позволяю этой боли подхватить себя, как трепещущую пылинку. Я поднимаюсь все выше и выше в удушливой тьме, пока мое стеганое одеяло не превращается в решетку манхэттенских кварталов. Кларнет проникновенно стонет:

«Ооооуаааа-уа-уаа-уа-уаа-уа-уааа-уа-уа-уа-уа-аа…»

Затем вступают струнные, ритм ускоряется:

«Диддлумдамдам-диддлумдамдамдидлум-дамдам!»

И вновь кларнет красноречиво жалуется на судьбу:

«Уауауаааауауауааау аааау ауауау ауауа-уаааааааааааа…»

А струнные, не желая отставать, вступают еще энергичнее:

«Дидлумдамдамдидлумдамдамдидлумдам-дам!»

«Уаууа-уааа!»

Боже правый, да это проклятая «Рапсодия в стиле блюз». Бог Отец проникает в Бога Сына. Бог Сын обрабатывает Святого Духа — как же я ненавижу эту музыку. Святая Троица. Какая это к дьяволу рапсодия! Металлический грохот и скрежет, образчик жидовской пронырливости, звучащий на грязных улочках неподалеку от Таймс-сквер и Бродвея.

Город моего большинства плывет мне навстречу из пыльной смертной тьмы этой жалкой комнатушки за океаном. Поначалу мне нравится этот взлет, не требующий никаких усилий; плавная парабола от шутовского колпака статуи Свободы в облака над нижней оконечностью Манхэттена, подо мной вздымается похожий на ногу остров, и я узнаю каждую вспыхивающую неоном улицу. «Дидлумдамдамдидлумдамдам — дидлумдамдам!» Декорация без возраста и различия между подделкой и подлинником, между внутренним и внешним. Музыкальный Нью-Йорк, населенный вечно юными монстрами, ряженными в небесно-голубой треп Раньона. Вот они танцуют всего в квартале отсюда, веселятся за углом, ныряют в метро, Суперкот дурачит Офицера Диббла, а Джетсоны на своих драндулетах

направляются в Уайт-Плейнс.

Улицы, подобно воспаленной глотке, выхаркивают насилие — продукт своего распада. В этом городе слова *memento mori* — не пустой звук, здесь освежеванный полицейский восседает на освежеванной лошади, их черепа и скелеты просвечивают сквозь плоть. Такие очищенные от шкурки рыцари любят сопровождать похоронные процессии, направляющиеся из Гарлема по 121-й улице в Даунтаун. Черные похороны — какое омерзительное развлечение. Сколько черного шелка и черного крепа, сколько черного бомбазина драпирует эти черные тела. Тубы и корнеты издают ненавистные стоны еврейской учтивости. Этот негр решил вступить в Еврейский клуб смерти, который с радостью его принял. А вот эта еврейка отказалась посещать Черный клуб, но ее все равно принуждают участвовать в процессии. Пожалуйста, пусть Смерть не касается меня своими черными руками; пожалуйста, пусть Гитлер с его нафабренными усами не целует меня.

«Ооооуаааа-уа-уаа-уа-уаа-уааа-уа-уа-уа-уа-уа-уа — ааа…» — удается мне выдашгть из себя, перекрыть этим криком глухие убийственные слухи о восстановлении доброго имени Курта Вальдхайма.

— Миссис Блум!

Я пытаюсь отозваться, попросить ее перенести меня, накормить, дать мне наркотики, утешить, но из горла вырывается только «Рапсодия в стиле блюз». «Уауауауаааауауауауаааууауауауауауа-уаааааааааа…»

— Миссис Блум, что с вами? Вам что-нибудь нужно?

Ритм убыстряется:

«Дидлуммдамдамдидлумдамдамдидлумдам-дам!»

Дердра распахивает двойные двери в гостиную, и на пол ложится широкий клин желтого света. Потом она возвращается к моей кровати.

— Миссис Блум, вы меня слышите?

«Дидлумдамдамдидлумдамдамдидлумдам-дам!»

О да, и также вижу сальные угри на твоей желтой коже, напоминающие азбуку Брайля.

— Миссис Блум, моргните или закройте глаза, если вы понимаете мои слова.

Нет. Нет — это выше моих сил. Случилось то, чего я так боялась. Я заживо похоронена в гробу своего тела, пожирающего мою плоть. Время от времени мои веки непроизвольно смахивают струйки влаги, сочащейся из глаз, — словно поме-

шавшиеся «дворники» с ветрового стекла. Время складывается вдвое.

«Дидлумдамдамдидлумдамдам-дидлумдам-дам!»

И тут прорезается мой голос:

«Уауауауаааауауауауааауауауауауауа-уаааааааааа…»

Это определенно убыстряет ход событий. Дердра отскакивает, словно я плюнула ей в лицо. Но я *действительно* плюнула — она вытирает слюну с кончика носа. Я слышу, как мой кларнетный крик эхом отзывается в комнате, наверное, у меня задержка слуха, звуковой стопор. Напыщенный клезмер Гершвина превращается в отвратительный хрип, в булькающее, задыхающееся, сдавленное сипение:

«Ххххрааррггхххреш… Хьяяярх-х х…х…херкх!»

Террорист орудует в самом сердце языка; гласные и согласные спешно эвакуируются из Песенной Башни. Господи! Наверное, от этих дьявольских звуков повылетали все стекла в Кентиш-Тауне.

— Что случилось?

В конусе желтого света появляется взмокшая Нэтти в тренировках и майке с портретом Че Гевары.

— У вашей матери агония, мисс Блум…

— Мам! Муму! Ты меня слышишь?

— Боюсь, она без сознания…

«Уауауауаааауауауауааауауауауауауа-уаааааааааа…»

— Почему она так страшно кричит?

По ужасу, застывшему в фарфоровых глазах моей дочери, я понимаю, какое страшное зрелище собой являю. И прилагаю отчаянные усилия, чтобы восстановить контакт с неумолимо отплывающим кораблем моей плоти. Я чувствую, как он идет ко дну — трещат его мачты, конечности бьются, словно рваные паруса, его затягивает в воронку осознания гибели.

— Боюсь, болезнь затронула мозг.

— Мозг?

«Уауауауаааауауауауааауауауауауауа-уаааааааааа…»

— Какой кошмар… Ее крик не похож на…

Человеческий. Так люди не кричат. Так кричат животные. Ревут коровы. Мой мозг вакцинирован — раком.

— Наташа, успокойтесь… Это не она, это непроизвольные звуки. Крики боли.

О, так и есть, крики боли. Новая с иголочки боль в новой с иголочки эре, которая скоро наступит в

моих нервных окончаниях.

— Что нам делать?

— Я позвоню в больницу, возможно, там смогут ее принять.

— Принять? Для чего?

— Она уже восемь часов без лекарств, возможно, она страдает от боли. Наверняка сказать нельзя, но, похоже на это…

Проверим, поймешь ли ты, как хорошо я умею пользоваться произвольно непроизвольными движениями. В этот момент моя рука взлетает в воздух, судорожно бьется, словно бабочка, и падает назад. Бац — бац-хлоп! Я хватаю Дердру за живот, Нэтти — за ногу, книжки и маленький приемник слетают с тумбочки.

Что-то капает.

Кап-кап. В сущности, Нэтти ничем не хуже других. Только в отличие от них она не может не демонстрировать свой неприкрытый эгоизм. Сейчас он не такой неприкрытый, как вечером, когда она стояла в поношенных трусиках от «Маркс энд Спенсер», с капельками пота на бедрах и на шее и влажной тиарой на лбу. Пропитавшись этим потом, благородное чело Че Гевары прилипло к некогда горделивой груди Нэтти. Так она и стояла здесь вечером. Ей, очевидно, не удалось застать

Рассела; могу поручиться, он отправился на сборище наркоманов — сбыть товар. От Майлса помощи ждать не приходилось, к тому же он должен был бы бежать за много миль отсюда — если у него сохранилась хоть капля благоразумия. Итак, ей оставалось только ошиваться здесь в надежде обрести желанное облегчение. Вы думаете, все это — похороны в прямом эфире, расставание души с телом — погрузило меня в смертельное отчаяние? Не совсем. Вы слышите меня? Не совсем. К чему все эти предписания насчет того, чтоб *уйти,* смириться и *уйти,* оказаться в цветущем саду весной и *уйти к чертям собачьим,* когда в этом нет никакой необходимости. Я могу брыкаться, махать кулаками и визжать сколько захочу, могу цепляться за свою драгоценную жизнь сколько душе угодно — ничего не изменится. Драгоценная Жизнь встает на дыбы, вздымается надо мной, и в тот момент, как мои пальцы цепляются за отвесную скалу летальности, сапог Драгоценной Жизни обрушивается на них. Изо всех сил.

Жизнь оставила меня в комнатке с нейлоновыми шторами. Жизнь оставила меня по-семейному. Я чревата смертью. Смерть приступила к делу: ее череп обнюхивает мне шею. Возможно, именно потому я с таким безразличием слушаю свои

пронзительные вопли, смотрю на свои конвульсии. На свою больную расстроенную дочь.

Дердра включает верхний свет и изгоняет внешнюю тьму. Наташа, опустившись в кресло, глядит на животное, которое некогда было ее матерью. Я не могу поймать ее лицо в фокус, не могу сфокусировать взгляд. Как и все тело, глаза меня больше не слушаются. Быть может, именно потому я так восхитительно безразлична? В конце концов, глупо брать на себя ответственность за непроизвольные действия — рыдать из-за каждого чиха, стенать из-за икоты, скорбеть из-за зевков.

— По-моему, лучше всего ее госпитализировать. Вы можете прислать машину? Бартоломью-роуд, квартира на первом этаже. Звонок с фамилией Блум.

Энергичная Дердра подходит к беспутной девчонке.

— Так вот, мисс Блум… Наташа… Я вижу, вам нехорошо…

— Вы можете мне помочь?

Наташа своего не упустит. Во взгляде, который бросает на нее Дердра, несложно прочесть: какая же ты бессердечная эгоистичная сука. Наташа не сдается.

— Я понимаю, что вы думаете, но мама…

— Отдала вам свой диаморфин? Я знаю об этом, Наташа, но не хочу рисковать карьерой дипломированной сестры и нарушать закон. А теперь, постарайтесь ненадолго забыть о своих проблемах и вспомнить о матери. Возможно, вам следовало бы позвонить миссис Элверс. *И одеться!*

Последняя фраза принадлежит мне. Благоразумная Дердра никогда не сказала бы такого — даже непутевой дочери умирающей пациентки. К тому же она чувствует, что Нэтти может взорваться. Она, как и я, заводится с пол-оборота, может дойти до белого каления. В это трудно поверить, глядя, как понуро она ковыляет в пустую ванную, чтобы привести себя в порядок, сзади ее тощие ягодицы походят на коленные чашечки голодающего ребенка. И этот пот.

Миссис Элверс — теперь, когда она осталась за старшую, мне, вероятно, следует называть ее официально — прибывает в нужное время. Почему бы ей не прибыть? Она сладко спала в своей большой белой кровати. На этой огромной кровати она спит не столько с мистером Элверсом, сколько в непосредственной близости от него. В мире Элверсов много дутого и пухлого.

Скелет Шарлотты заключен в оболочку пышной плоти, и если моя дочь поднимается с места — с животью полной, но еще не расплывшейся женщины, — то лишь для того, чтобы погрузиться в роскошь кресел «мерседеса».

Шарлотта добирается от Риджентс-парка до Кентиш-Тауна за пять минут. Она приносит с собой рассвет и входит через двойные двери ко мне в спальню с серым венцом над головой. Странно, но свет меня пугает, в темноте было лучше. У моей кровати ее встречает взъерошенная сестра, они обнимаются — страх побеждает неприязнь.

— Ах, Шарли, это ужасно, — шепчет Нэтти в волосы старшей сестры.

Потом они неуклюже разнимают руки. Шарли склоняется надо мной, и у меня возникает странное ощущение, что я — аквариум и что моя выпуклая старшая дочь смотрит сквозь мои остекленевшие глаза, чтобы полюбоваться ленивыми рыбками моих мыслей.

— Глаза открыты, но, кажется, она без сознания. Мам? Ма-ам?

Я здесь, дорогая, в саване собственной плоти — но еще живая. Я здесь, дорогая, еще в сознании, но без боязни. Ты видишь, у меня нет больше воли, я ничего не хочу, ничего не желаю. Мир

холоден, как серые хлебцы «Райвита», а я, как обычно, на диете.

Входит Дердра и с рыцарским достоинством произносит:

— Карета «скорой помощи» прибыла, миссис Элверс.

Затем начинается светопреставление. Появляются два здоровенных мужика и одна мужеподобная женщина. Они в зеленых комбинезонах и топают по полу с такой силой, что из-под резиновых подошв взметаются клубы пыли. Переговариваются зычными будничными голосами.

— Это здесь? Где она?

— Да, это миссис Блум.

— Двойные двери, проблем не будет…

Говоря это, он смотрит на меня. Смотрит туда, где я лежу, дергаясь и что-то невнятно выкрикивая. Смотрит без всякого сочувствия, как на мебель.

— …зато в прихожей тесно, обе двери открываются наружу. Нам там не развернуться с носилками. Нужен стул. Рон! Рон! Неси стул из машины, ладно?

Ни малейшей попытки приглушить голос. Словно он на складе. Мои дочери замерли. Они

наверняка ожидали, что их умирающую мамочку бережно поднимут, словно кусочек сусального золота, согреют дыханием и осторожно приложат к носилкам. Два других санитара двигают мебель в тесноте: толкают диван — кровать, кресло и шезлонг. Дердра стоит в стороне, скармливая макароны своего вязания хозяйственной сумке. Оба перемещения завершены. Если у моего тела свое сознание, тогда кому принадлежит это, другое, сознание? Потому что я снова бьюсь в судорогах, а из моего рта изливается голубая рапсодия смерти.

«Уауауауаааауауауауааауауауауауауа-уаааааааааа…»

Санитары таращат глаза на мычащее, бьющееся жвачное рядом с ними. Затем удваивают усилия: нужно побыстрее удалить из городской квартиры эту тушу, которой место на скотном дворе. Сунуть в фургон. Отправить на бойню. Но Нэтти прикована к месту собственными муками. Боже, в этом холодном утреннем свете она выгладит ужасно. Я вижу на ее изящном подбородке расширенные поры. Вижу, как дрожат ее бедра. Но не испытываю сострадания.

Стул уже в гостиной. На редкость удобная штука — простой кухонный стул с подушкой из

пенорезины и множеством завязок. Начало и конец жизни женщины: утром ты возишься с едой, сидя на высоком стульчике, а вечером тебя привязывают к низкому стулу и выносят вон. Рон с напарниками вносят стул в спальню. Санитары пахнут выхлопными газами, сандвичами с беконом, сладким чаем и сигаретами. Они шумят и топают, у них квадратные ладони. Женщина — совершенно неотличимая от коллег, только грудастая — уже расчистила путь к дверям. Безо всяких усилий они срывают с меня одеяло, обертывают легкой шалью, выдергивают из постели, поднимают, швыряют на стул, привязывают, разворачивают носом вперед, кормой назад и волокут вон.

По ходу нашей процессии передо мной мелькают: футляр с фамильным серебром Йоса… рассыпающаяся фамильная библия Йосов… далее по борту щетка для стирания пыли с долгоиграющих пластинок… ковер… плинтус… стена с никудышной темной картиной, купленной на барахолке… электрическая розетка… над ней волшебный кристалл, в котором перед моим тускнеющим взором мелькают грани того пространства, где я жила. Вот так покидаешь дом перед смертью — с грохотом и «Уауауауаааауау-

ауауаааууауауауауауаааааааааа…».

Внутри машины «скорой помощи» еще отвратнее. От мрачно-зеленой крыши над головой стынет кровь. В зеленом свете сидящие кажутся трупами. Очень утешительно. Шарли так похожа на Йоса, что, может, это и *вправду* Йос — или его эксгумированный труп — мчится, покачиваясь, по Лондону. На лицах моих дочерей застыл омерзительный страх. Они боятся на меня взглянуть. Должно быть, я являю собой впечатляющее зрелище. Однако в их глазах мелькает и отвращение, когда они косятся на меня, чтобы проверить: действительно ли Милая Старушка наконец их покинула.

Но я еще здесь. Я прячусь под кроватью в пустой комнате своего сознания, дожидаясь людей в военной форме с черепом на рукаве. Глупо бежать от Холокоста, если он поджидает тебя на каждом шагу…

— Вы не могли бы ехать потише?

— Мы должны доставить ее в больницу.

— Вы что, хотите спасти ей жизнь?

Отлично. Тонкий сарказм, Нэтти. Вмажь им, как ты умеешь. Поставь этих наемников на место. «У-у-у-у-у — у-у-у-у-у-у-у…» Они включили сирену.

— Это совершенно необходимо?

Спрашивает Шарли, демонстрируя свой вариант заботы обо мне. Но Ронетта, сидящая сбоку от низкого стула, к которому я привязана, не находит нужным отвечать. Она в броне своей бессмысленной миссии и профессиональной грубости. Хотя ей чуждо христианское сострадание, она истово бьет поклоны, когда машина взлетает на горбатый мост в начале Сент-Панкрас-уэй и мчится вниз к Сомерс — Тауну. Девочки фаталистически раскачиваются, как безутешные ученики на похоронах мудреца-каббалиста. Судя по их лицам, они безоговорочно верят, что хуже того, что с ними сейчас происходит, ничего нет и быть не может. И это тронуло бы меня, не будь я уже по ту сторону происходящего.

Мы подъезжаем к приемному отделению на Графтон — уэй, детищу индустриальной медицины. Новое крыло больницы Юниверсити-Колледжа, выстроенное в начале семидесятых, похоже скорее на фабрику. Бах! Передние шины бьются о пандус. Трах! Открываются дверцы.

Та-ра-рах! Мой стул плюхается на землю. Потом раздается скрип колес — меня вкатывают в мрачное, с низкими потолками приемное отделение «скорой помощи». Сейчас не больше восьми утра,

и воздух пропитан насилием минувшей ночи. Слышится беззвучный перезвон разбитых голов. Пахнет окурками, их исковерканными трупиками, тлением. Кому есть дело до ничтожных людишек, умирающих от рака, когда ни в чем не повинные сигареты злонамеренно истребляются людьми? Их грубо высасывают, а потом безжалостно гасят.

Бах! Мои носилки врезаются в стену, словно шар в боулинге, но в отличие от шара не обретают покоя. Два санитара водружают мое хрипящее и стонущее тело на каталку и продолжают путь. Волосатые ублюдки. Я слышу, как они переговариваются друг с другом.

— Ее привезли совершенно неожиданно.

— У тебя есть для нее кровать?

— Посмотрим, посмотрим… Я только что говорил с приемным покоем.

— Но кровать для нее есть?

— Найдем.

— Где? Здесь?

Нет, пожалуйста, не здесь. Мы в длинном искривленном позвоночнике тоннеля, который тянется под Графтон-уэй с севера на юг параллельно Гауэр-стрит, соединяя различные органы больницы. Здесь внизу и холодно, и пахнет

кухней. Редкое сочетание. В тоннеле зеленые кафельные стены и каменный пол; он странно напоминает пешеходный тоннель под Темзой, ведущий к Гринвичу. Должно быть, их построили в одно время. Как и в Гринвичском тоннеле, здесь чувствуется давление миллионов тонн воды над головой. Нет, не воды, а болезненных миазмов. Бурных потоков гноя, слизи и сукровицы. Каскадов желчи и блевотины. Великолепно спроектированный викторианский сопледук. Врачи здесь только открывают и закрывают шлюзы: они могут ненадолго задержать течение этой могучей Ориноко, но не в силах перегородить ее плотиной.

Скрип-скрип-скрип. Скрип-скрип-скрип. Колесики каталки подпрыгивают на стыках пола. Благоразумная дочь шагает рядом в своих модных спортивных туфлях; при каждом шаге она заглядывает мне в лицо, словно надеясь обнаружить новую жизнь. Изнемогающая непутевая дочь справляется с задачей гораздо хуже. Она сопит и шаркает у нас в кильватере, руки и бледное лицо покрыты испариной. Справедливости ради следует заметить, что для милой Наташи утро выдалось тяжким. Она страдает от героиновой абстиненции, и хоть сама я никогда не испыты-

вала подобных ощущений, но точно знаю: это ад одиночества и безмолвия, в котором особенно ощущаешь свою уязвимость. Бедняжка Нэтти, от всего пережитого ты едва держишься на ногах, *n'est-cepas?*

Мы остановились посреди тоннеля, в самой низкой его точке. Каталка разбрызгивает солоноватую лужицу слез. Санитары консультируются друг с другом, потом из маленького застекленного помещения сбоку появляется доктор Стил. Его одежда тщательно отутюжена — похоже, он вылез из гладильной машины, где провел недолгую ночь. На его лице застыла маска профессиональной невозмутимости.

— Здравствуйте, миссис Элверс.

— Здравствуйте, доктор Стил.

— Наташа.

— Привет.

Он правильно себя повел: учтиво поздоровался с Шарлоттой и индифферентно с Наташей. Если кто-либо из врачей проявит к Наташе хоть каплю интереса, она тут же попросит у него рецепт. Я смотрю на шарики «Блу-Така», которым списки и таблицы прилеплены к окнам офиса. Когда девочки были маленькими, они играли в «Смешную замазку» — выходит, детская забава эволюцио-

нировала в рабочий материал? Над моим вялым лицом веет теплый ветерок, отдающий капустой и вареной рыбой. В дальнем конце тоннеля сидит маленькая азиатская семья: крошечная женщина в драгоценностях, крошечный мужчина в костюме и совсем уж крошечный мальчик в отлично выглаженных шортах — они чинно сидят рядком, словно благопристойность входит в курс лечения. У маленького мальчика игрушечная металлическая машинка, игрушечная пластиковая корова и игрушечная пластиковая губная гармошка. Плотно сдвинув колени, он осторожно ставит эти предметы друг на друга. Корову на гармошку, на корову машинку, потом корову на машинку, на корову гармошку, словно исследуя возможности новой индуистской космологии.

— Гм-м…

Стил читает записку, поданную Шарлоттой. Возможно, отчет Дердры о ночном «джам-сешн».

— Боюсь, так оно и есть.

— Что?

— По-видимому, рак метастазировал в спинномозговую жидкость.

— Спинно-мозговую?

— В мозг вашей матери. Это жидкость внутри позвоночного столба, оттуда раковые клетки

быстро проникают в мозг.

— У меня такое… такое впечатление, что ее больше нет… Что она перестала быть разумным существом.

— Кто знает… но мы обязаны обеспечить вашей матери хороший уход.

— Пока она не умрет.

— Да, пока не умрет.

Мне нравится эта категоричность, прямота. Конечно, я, как и многие другие, мечтала обрести дар вечной старости, однако окончательный приговор мне тоже по душе. Но Нэтти с ним не согласна — ей хотелось бы чего-то более театрального. Ей кажется, что все присутствующие должны насладиться ее импровизацией на тему любви.

— Черт подери, вы сдаетесь!

— Нэтти!

— Заткнись, Шарли. Ты… Ты бессовестно сдаешься.

— Что ты несешь?

— Вы даже не пытаетесь помочь маме… *вылечить* маму. Вы сдались. Я думала, вы все подписываете какую-то поганую *клятву*, что не бросите больного. Ведь существуют пересадки, черт возьми! Их делают — пересадки печени. Я

читала в газете. Почему бы вам ее не сделать? А может, вы просто никудышный врач? И руки у вас растут не из того места?

Если забыть о том, что доктор Стил не хирург, то следует заметить, что последний выпад Наташи был неплох. Она не только поставила под сомнение его профессиональные способности, но и задела его мужское *amour propre*.[11] На месте Стила я бы оскорбилась, но я была не на его месте, а он и глазом не моргнул.

— Послушайте, Наташа, ваша мать не единственная умирающая. Ни в этом мире, ни в этой больнице — даже в этом коридоре. Да, сейчас делают пересадку печени. В Калифорнии. Если вы найдете тридцать тысяч фунтов на операцию и доставите вашу мать на самолете в Лос-Анджелес, тогда у вас появится возможность — лишь возможность — спасти ей жизнь. Но не мозг.

— Господи! Да-вы-настоящее-чудовище! Ох-х-х-х! Эти козлы со «скорой помощи» швыряли ее, как куль с мукой, а теперь вы хотите поставить ей капельницу в этом гнусном тоннеле и бросить умирать. Национальная служба смерти — вот кто вы такие.

---

[11] Примечания: 11
Самолюбие (фр.).

— Бригада «скорой помощи» сделала все возможное, чтобы доставить сюда вашу мать с максимальной быстротой и минимальными издержками. Мы, со своей стороны, сделаем все возможное здесь. Если вы не будете держать себя в руках, Наташа, я попрошу вас покинуть больницу. Если вы не подчинитесь, вас отсюда выведут. Так вот, миссис Элверс, мы нашли место для вашей матери в Королевской клинике ушных болезней. Оно вот-вот освободится, здесь она пробудет недолго.

Стальной Стил. Как быстро ему удалось поставить на место Нэтти. Мало кто из мужчин, еще способных к эрекции, отважился бы так сурово ее оборвать; похоже, порочное обаяние Нэтти оставило его равнодушным. Он смотрит на нее — совершенно справедливо — как на еще одну больную. И Наташа, проникшись жалостью к себе, сникает, подносит черную манжету к глазу, обведенному темной тенью, и всхлипывает, отвернувшись в сторону, ненадолго впадая в забытье.

ГЛАВА 6

Мы снова едем. Скрип-скрип-скрип-скрип-бах! Врезаемся в угол. Санитары давно ушли, и вместо них теперь настоящий привратник — брюнет-неандерталец с нависшими бровями. Шарлотта шагает с ним в ногу, поглядывая на меня так, словно я куча собачьего дерьма, которую *нужно* поскорее убрать. Королевская клиника ушных болезней… м-м-м. Какая удача, похоже, слух — последнее, что у меня осталось. Мои уши… м-м-м. Удивительная вещь ручной работы, как и все человеческое тело. Мои уши последними ощутят, как в них впиваются клешни рака.

Кто-то помогает толкать каталку — или помощников несколько? Как бы там ни было, справа и слева от каталки множество ног — словно весла у бортов галеры. Толстых ног, тонких, волосатых, гладких, бритых, смуглых. Эти разные ноги объединяет одно: они мертвы. Мертвые ноги. Испещренные пятнами гангрены, распухшие, гноящиеся, изуродованные в катастрофе. Отрезанные ноги свисают с обеих сторон каталки; сгибаясь в колене и отталкиваясь от пола, они отправляются вместе со мною в вечность.

Это — осознаю я с облегчением — ампутированные конечности. Клиника славится ампутациями — здесь был впервые применен эфир. Я прочла об этом в одном полезном историческом справочнике, когда еще интересовалась подобными вещами. Должно быть, это ноги-привидения, обреченные вечно скакать под сводами сей земной обители.

Королевская клиника ушных болезней — это звучит. Из моего королевского рта вынимают царственные протезы. Прощайте, мои чудные акриловые зубы! Вас ни разу не поправляли и не подклеивали. Я купала вас в «Стераденте», и вы никогда не пахли дурно. Я обращалась с вами очень бережно, и вы никогда не трескались и не ломались. Я оставалась верна вам, а вы мне — мы были единым целым, нежно льнули друг к другу четверть века. Две челюсти и я — мы составляли истинно любящую троицу.

— Давление сорок на семьдесят.

— Где капельница?

— Сестра, подайте катетер номер семь.

— Возьмите пять кубиков крови и отправьте в лабораторию.

— Мне нужен физиологический раствор, сахароза и диаморфин.

Ш-ш-ш-ш-ш…

Они задергивают нейлоновые занавески, пряча меня от нелюбопытных глаз таких же матерей, как я. Нам всем известно, что нас ждет — к чему весь этот спектакль? Впрочем, от врачей ничего другого ожидать не приходится, у них человечьи тела и кошачьи головы. Их лапы бывают чрезвычайно ловки, когда нужно поставить катетер, ввести зонд или заполнить карточку. Но я подозреваю, что их химерическая природа мешает им правильно меня лечить. Спасти хотя бы одну из моих девяти кошачьих жизней.

Вероятно, надо было тщательнее обследовать свою грудь. Вероятно, надо было чаще проходить осмотр. Но знаете что? Я не смогла найти свою сиську в густой рыжей шерсти на груди — не говоря уже о всех шести. Когда мне наконец назначили компьютерную томографию, было слишком поздно. Радиация только спалила мне шерстку и обожгла кожу. О! Как это мерзко — голая кошачья кожа. Меня тошнило. Я утратила изумительно острое чувство голода. Не хотелось даже «Вискас». Мне давали тамоксифен. Потом еще тамоксифен. Потом еще. Мех вылезал клоками, я потеряла интерес… ко всему. Теперь меня поместили сюда, в приют для кошек, у меня па-

тологическая беременность. Я полна котятами смерти. А вот и добрая доктор Боуэн стоит у моей корзинки и что-то пишет шариковой ручкой БИК Кристал.

Здесь есть киски со смертельным энтеритом, похуже моего. Киски, лежащие на кафеле. Измученные слепые киски, брошенные всеми. Они жалобно мяукают. Герпес — предвестник СПИДа — это мы уже проходили. «Наклонитесь пониже!» — гласили заголовки, проступая сыпью на бумаге. Конечно, чтобы заметить сыпь, нужно было наклониться к самым гениталиям — чего мне никогда не удавалось. Я по собственному опыту знаю, что неспособность дотянуться кончиками пальцев до своих носков отбивает всякий аппетит к оральному сексу. Даже если делаешь это сидя. Оральный секс — это вкусно. Йосу было вкусно со мной. Глаз не мог отвести от моего рта. Он никогда не кончал у меня на глазах, в Барчестере[12] это не принято. В лучшем случае жена настоятеля могла позволить потрогать ее корсет или кончить в нижнюю юбку. Где вы теперь, золотые денечки?

Я говорю об этом только потому, что у меня до

[12] Примечания: 12

Барчестер — вымышленный город, в котором развертывается действие романов А. Троллопа об англиканском духовенстве.

сих пор не пропал аппетит к сексу — даже сейчас, когда Смерть лижет меня, прижимается ко мне своим черепом. Испытывая это странное чувство, я завидую тем, кто лежит здесь со СПИДом. Они чаще занимались сексом, причем самым непотребным. А я все больше курила и пила.

Это Наташа рассказала мне, кто чем болен. Наташа, присутствие которой на моих сеансах радиотерапии само по себе было забавной интермедией. Среди облысевших до срока мужчин и женщин с оттяпанной грудью Нэтти одновременно и выделялась, и была в своей тарелке. Она хорошо знала медицинское гетто — лечилась в приюте Джеймса Прингла. В палатах «скорой помощи» и в наркотических отделениях она видела, как иссохшие наркоманы тают на глазах. Отчего она такая бледная? От облучения? — думали все, кто видел, как она льнет ко мне, как мы с ней мурлычем, словно кошка с котенком.

— Сегодня принимает эта лесбиянка, муму?

— Похоже, да. Кстати, после ее радиотерапии мне всегда бывает лучше.

— Почему, муму?

— Наверно, она гораздо лучше управляется с грудью — раз ей это нравится.

— Резонно.

Наташа входила со мной в кабинет с лязгающим оборудованием, которое должно было выкурить из меня болезнь, вызванную курением. Оно грохотало и выло — мы обе втягивали голову в плечи. Во время сеанса я ничего не ощущала, хотя мне всегда казалось, что я чувствую запах сожженных клеток. Полагаю, все ядерное выглядит одинаково: электростанции, оружие, что угодно. Все эти бесчеловечные силы, изотопы Вишну, испускаемые лесбиянками в наглухо застегнутых нейлоновых халатах. Они щелкают тяжелыми выключателями на бакелитовых пультах. И сжигают нас безо всякой пользы.

Потом мы выходили на Графтон-уэй, поворачивали за угол на Тотнем-Корт-роуд. Рядом с моей младшей дочерью естественно было чувствовать себя одной ногой в могиле — она, как-никак, уже десять лет назад пыталась рассчитаться с жизнью. Мы заходили в «Хилз», потом пили кофе, потом возвращались домой. Потом она тихонько уходила — за наркотиками. Я молчала. У нас был уговор: ты не говоришь о смерти, я не говорю о героине. Мы квиты. Щеки у меня ввалились, под глазами появились синяки, волосы вылезли, грудь была обожжена. Наташа сопровождала меня в этой гонке к могиле.

Так было не всегда, поэтому я по-настоящему радовалась ее компании. Наташа была ненадежна, непостоянна, эгоистична, неопрятна и даже — чтобы сказать такое о родной дочери, надо жевать жвачку иронии до тех пор, пока она не станет горше полыни — претенциозна. Но она не была скучна, как все остальные женщины в моей жизни, так называемые «подруги». Все эти Сьюзи и Эммы, объясняющие свое одиночество — весьма болезненное отсутствие мужской опухоли, которую виртуозно удалили хирурги-адвокаты, — всем чем угодно: социологией, демографией и даже — смех, да и только! — биологией. Нет, уж лучше моя непутевая дочь.

Те, другие, ничего для меня не значили — а она очень много. Миссис Элверс уже ушла, а Нэтти осталась. Мое как будто не мое лицо теперь без фальшивых зубов — должно быть, я похожа на перегретую смерть. Входит медсестра, толкая перед собой баллон на штативе. Откупорив катетер у меня на руке, она подсоединяет капельницу, с которой я чувствую большее родство, чем с ней. Сестра небольшого росточка, поэтому ей часто приходится вставать на цыпочки и тянуться, при этом широкий эластичный пояс еще туже охватывает ее тоненькую талию. Она в красивом

полосатом фартуке, блондинка, с икрами в форме сердца и ямочками на локтях. Нэтти — голодная ворона — глядит на нее хищным взором, словно хочет слопать этого женственного цыпленочка. О да, моя доченька, не зря говорят: ты — это то, что ты ешь, — а ты не ешь почти ничего.

Я томлюсь здесь, за решеткой, в синтетической обувной коробке. Томятся мои глаза, натыкаясь на стены. Я погрузилась в темноту своих обветшалых заблуждений из-за того, что развлекала всех подряд слишком ярким фейерверком. Мой взгляд то ищет отдыха на дне глазницы, то мгновенно устремляется вперед. Ближе к полудню миссис Элверс позвонит своему мужу Ричарду по мобильному телефону, похожему на черную пластиковую большеберцовую кость. В их тридцати магазинах тридцать скучающих продавцов заворачивают в бумагу оберточную бумагу, а потом регистрируют покупку. Да, в общем-то настало время уходить.

Но я все еще подвожу итог прошлому — даже сейчас. Даже сейчас, когда рак, подобно спруту, загоняет мои мысли в угол и тянет к ним щупальца с присосками. Взглянем фактам в лицо, присоски нужны для того, чтобы сосать. Да, я могу подытожить прошлое. Привет, мое прошлое! Ты

проживаешь на Главной улице в США! Я буду говорить с тобой, комок слизанной и выблеванной шерсти. Я брошу тебя на пол, чтобы посмотреть, куда ты покатишься. Но нет. Прошлое слишком свалялось, оно слишком долго переваривалось, чтобы служить орудием пророчества. Если я попытаюсь ощутить прошлое, его фальшь заставит меня содрогнуться. Оно мне не принадлежит — я принадлежу ему. Я совершила страшную ошибку. Я полагала, что это я провожу время, но это время провело меня. Тех, кто остается здесь, навалом, я же отваливаю отсюда, понимая: все, что от меня останется — это колпачок от шариковой ручки. Хрупкий пластиковый наконечник, за которым тянется двадцать тысяч метров возможности выразить себя — длинная нить еще непроявленного, несформировавшегося смысла. Быть может, ее вытянет кто-то из врачей, чтобы подтвердить, что я мертва.

— Ты еще не на Священной Территории, детка — йе — хей? — Это чернокожий средних лет в белой широкополой шляпе. Он просовывает голову внутрь, раздвинув занавески, отразившись в них, словно в зеркалах — копна курчавых пыльных волос не умещается под шляпой, — и говорит: «Ты еще не на Священной Территории, детка

— йе-хей?» Потом уходит.

Почему моя дочь не заметила его? А, понятно, хотя грызть ногти — не лучшее занятие. Неужели этот чернокожий махал бумерангом мне? Кто он такой — абориген? Вот он вернулся.

— Слушай, Лили, осталось еще мало-мало, я тебе говорю. Сейчас ты лежать смирно. Встречать новое время. Обвиться вокруг *«нее»*. — Он указывает бумерангом на грызущую ногти Наташу. — Сделать новую радугу… — Его произношение — смесь прищелкивания, ударов языком по нёбу и слишком открытых австралийских гласных. Какого черта он здесь делает? Кто впустил его в палату? Вот погоди, в Королевской клинике ушных болезней тебя живо услышат! Господи — боже! В этих больницах становится опасно. Любой психопат может сюда ворваться и приставать к больным. И даже похитить меня. Похитить мать у ее дитя. Ха-ха! Ха-ха-ха…

«Хххрааррггххршео… Хьяяйрррррг-х… х-х-херг!»

— Сестра! Сестра!

Нэтти вскакивает со стула и выбегает из кабинки. Она будет звать на помощь любую сестру, кроме собственной — как и я. Она притаскивает пожилую, раскрасневшуюся брюнетку, которая где-то пряталась. Ухоженную. Какого черта ее

потревожили?

— Да, да. Что здесь происходит?

«Хххрааррггххххршео… Хьяяйрррррг-х… х-х-херг!»

Она наклоняется и светит фонариком мне в глаза, не для того, чтобы посмотреть, что у меня внутри, а просто чтобы проверить реакцию зрачков на свет. Это жутковато, словно ты бойлер и кто-то наклоняется, чтобы проверить твой запальник. Медсестра выпрямляется, дотягивается до висящих на капельнице пакетов, поправляет прозрачные трубки. Я тоже становлюсь прозрачной, как учебный муляж человеческого тела. Или шариковая ручка. Я вижу, как работают мои капилляры, вены, артерии, втягивая седативные, поглощая опиаты. Боли больше нет. Нет страдания. Вам, вероятно, приятно было бы об этом знать. Но… нужно хранить… молчание. Никому ни слова.

Боли нет, потому что нет меня. Нет меня? Нет, неверно — нет тебя. Боль терзала кого-то другого. Боль терзала меня — так мне кажется. Терзала меня, вспоминающую разные глупости, а больше всего тебя — ничтожную боль. Боль — моя забубённая подружка на этой дурацкой гулянке. На боль нужно время — время болезненно. Может ли быть… что время… и боль… одно и то же? Боль

— это камушек, брошенный в бурный и бессмысленный поток тривиального перехода к чему-то новому, который я ощущаю, не дыша всей грудью — или дыша без груди? Скоро я махну на все рукой и поплыву по течению. Помните модные в семидесятых приспособления, сулившие избавить вас от всех мучений при резке лука? Приберегите их до безмятежной, ничем не омраченной старости. Зигзагообразное лезвие вставляется в пластиковый цилиндр и приводится в движение с помощью пружинного толкателя, скачет вверх и вниз. Результат всегда разочаровывал. К тому же эти штуки было чертовски трудно мыть.

Меня кромсали зигзагообразным лезвием, и рваные куски моей старой грязной плоти остались в Королевской клинике ушных болезней. Мое тело лежит на субсидируемой кровати, но мое обнищавшее сознание находится снаружи, за занавесками. А что до чувств — кому они нужны, когда не осталось того, кто мог бы чувствовать? От них и раньше было мало проку, чувства — всего лишь омертвевшая кожа нашего равнодушия, которую мы соскребаем друг с друга, пока не превратимся в прах. Кому охота пылесосить эти стертые ороговелости? Кому они нужны? Что это? Куда я направляюсь? С кем? И зачем, зачем, зачем,

мамочка? Все эти годы я думала, что одинока, но лишь сейчас поняла, что значит быть одной.

Я была одинока пятнадцать лет назад, на равнинах Восточной Англии.

Нет, я одинока *сейчас*, в Олдборо, где небо такое же линяло-серое, как покрывало на смятой постели в гостинице «Шип» в Даниджe, где я провела ту ночь. Это заведение было скорее пабом, чем гостиницей, хозяин великолепно вписывался в интерьер — с усами и в жилете с брелоком, — он метался между стойкой и расположенной в глубине кухней. Казалось, он делает все одновременно: обслуживает бар, готовит еду, подает ее. провожает толстых посетителей — в тот вечер толстой была только я — в их смятые постели.

Нет, не то. Я вспоминаю о прошлом — и это не то. Небо над Олдборо такое же линяло-серое, как дешевые пластиковые занавески; подобно им, оно распахивается, впуская Стила, Боуэн, медсестру и смазливую девчушку. Врачи-исполины рассаживаются в непостижимо величественном пространстве больничной палаты. Плитки огнеупорного кафеля плывут вдали как маленькие плоские планеты. Все смотрят на меня. Это тяжело. Лучше побыстрее убраться отсюда — вернуться назад.

Она слишком поздно начала совершать моцион, предпринимая короткие велосипедные прогулки на музыкальные фестивали и цветочные выставки или осматривая церкви — в ее унылой приемной стране было множество шпилей. Трое детей, одна эпизиотомия, два континента, ворох фобий, куча депрессий. Белье толстой пожилой женщины. Это сильно затрудняло велосипедные поездки. Зачем она в них отправлялась? Верите или нет, даже в округлые семидесятые еще попадались округлые женщины средних лет, которые думали, что катание на велосипеде *в принципе* что-то значит. Они катались на велосипеде и ели в ресторанах вроде «Крэнкса» или «Сереса», где подавали здоровую пищу, в своем упорстве они стремились ублажить саму Богиню Плодородия. Они *объедались* тертой морковью и пили мерзкий *сливовый сок*. Они *изобрели* экологическое сознание, создав кооперативы по закупке овощей, и это позволяло им носить резиновые сапоги в городе.

Бедная Лили. Бедная, бесконечно трогательная, толстая, старая, неряшливая Лили; *jolie laide*[13] которой уже давно пора в могилу. Грустно бы-

---

[13] Примечания: 13
Прекрасная дурнушка (фр.).

ло на нее смотреть. Последние пятнадцать лет она усердно подбирала и прятала всякий хлам: консервные банки, оберточную бумагу, пустые пачки из-под сигарет — все что угодно. Засовывала в карманы пальто и даже в сумку, а потом несла к себе, семеня мозолистыми ногами, пока не добиралась до места, которое в тот момент называла домом, и присоединяла свои новые находки к уже имевшимся. Неудивительно, что она всегда обращала внимание своих детей на старьевщиков, она сама была настоящей старьевщицей, несмотря на буржуазное происхождение. Но, в отличие от нее самой, любой хлам оказывался рядом с подобным же хламом, которого становилось все больше. После каждого такого похода в доме Лили росли горы мусора, пока он не отправился в последний путь — вниз по Темзе на большой железной барже, на помойку.

В Олдборо, опершись на свой «Рали»,[14] Лили стоит у ратуши и смотрит на безбрового человека, который возится у себя в палисаднике, подстригая папоротник секатором. Любопытно, думает она, что отсутствие такой, казалось бы, неприметной черты, как брови, придает ему на

[14] Примечания: 14
Велосипед «Raliegh Tourer».

редкость зловещий, уродливый и странный вид. Кроме того, забавно — она переминается с одной мозолистой ноги на другую, ощущая свежие, натертые педалями волдыри, — что я это заметила. Я никогда не наблюдала за людьми, они ничего для меня не значили. Сколько еще подобных наблюдений мне осталось? Пять в день? Десять, если ездить на прогулки? Сколько лет осталось до дня, когда сбудется мое пророчество и из темных вод вылезут раки — кромсать мою папоротниковую плоть клешнями-секаторами? Может быть, десять — значит, я умру в 1984 году. Или пятнадцать? Кто знает? Никто не должен знать час своей смерти или смотреть на солнце. Особенно в Олдборо. Особенно в этом июне, не по сезону ветреном и хмуром. Должно быть, к полудню начнется дождь. Она довольна, что захватила шерстяное белье. Большие шерстяные панталоны.

Лили направляется к крохотной кассе за углом, напротив такого же крохотного кинотеатра, где продают билеты на фестиваль. Мимоходом она бросает в урну мусор — обертку от конфеты, которую таскала с собой не меньшей двух дней. Сбрасывает бумажный балласт — неудивительно, что ее слегка покачивает. Ей нравится

Олдборо с его окрестностями. Это та Англия, ради которой она сюда приехала: страна домов с островерхими крышами, благовоспитанных старых леди, секаторов, мягко круглящихся холмов, страна с хорошим социальным обеспечением и здравоохранением. Та Англия, ради которой она сюда приехала — это Голландия. Лили покупает себе билет на дневной концерт. Питер Пирс поет «Liederkreis» Шумана, партия фортепьяно — Марри Перайя. Лили до смерти рада, что ей удалось достать билет на самое интересное выступление на фестивале. «Куплю сандвичей, — думает она, — потом поеду к Снейпу по тропинкам. Отыщу там тихое, укромное местечко. Сяду и почитаю».

Она читает книжку о Суффолке. Объемистый труд по социальной истории, любовно составленный автором на основании сотни высокопарных интервью с престарелыми крестьянами. Лили нравится примерять на себя эту укорененность, эти тяжелые доспехи оседлости, но она знает: к ней это не относится. Она заходит в магазин, размышляя о том, что на самом деле ей больше бы пристало жить в штетле,[15] собственноручно

[15] Примечания: 15
Городок в черте оседлости.

сворачивая голову курам. Вспоминает о девочках — младшая в лагере для трудных подростков, старшая катается на лыжах. Думает о том, крепки ли узы, связывающие ее с дочерьми? Они ослабли. Девочки почти взрослые. Ее труд завершен. Теперь она с полным правом может исполнить все свои визгливые угрозы «сдать материнский значок».

Никого из нас не было ни во Фликсборо, ни на площади Красного Льва — где тоже устраивались концерты. Есть много способов умереть: обуглиться и выпасть в осадок под действием химических реактивов или угодить под дубинку правопорядка — не так уж важно, какой из них заявит на тебя права. Изюм — с роскошной средиземноморской красоткой на коробке — 5 пенсов. Апельсин — 3 пенса. Хрустящие хлебцы — 23 пенса. Шесть кусочков сыра — 18 пенсов. Банка светлого пива «Топ Дек» и лайм — 10 пенсов. Итого — 59 пенсов. Неплохо. Еще останется на такси от Снейпа до Саксмандхема, и тогда ей не придется надевать теплое белье на обратном пути. Итого — 59 пенсов.

«Что-нибудь еще?» — спрашивает почти безбровая девушка за кассой. Что это? Местное врожденное уродство? Безбровость. Какая мер-

зость.

«Простите?»

«Возьмете что-нибудь еще или вы уже все взяли?»

Лили понимает, что девушка произнесла эту длинную фразу из-за ее американского акцента.

Наверно, она приняла меня за туристку. Господи! Эта шоколадка выглядит очень соблазнительно. По одной вдень. Шоколад с нугой и тянучкой. М-м-м. Мне этого нельзя. Я езжу на велосипеде, чтобы стать стройнее, здоровее, сексуальнее. Чтобы заниматься любовью на свежем воздухе. Я не делала этого со школьных времен, когда расцарапала задницу кольцом и под белыми трусиками текла кровь.

«И батончик "Марса"». — Черт побери, я уже съела его глазами.

Она подходит к своему велосипеду и прячет покупки в контейнер, аккуратно рассовывая их между носками, ночной рубашкой и курткой. По-прежнему пасмурно, но, похоже, дождя не будет. Она поднимает глаза, чтобы проверить, там ли еще безбровый мужчина, видит ли он, как ловко и спортивно она складывает вещи. Но его уже нет, вместо него грушевидная женщина лет шестидесяти с волосами цвета слоновой кости и

химической завивкой.

«Поднеси к ней спичку, — язвительно думает Лили, — и случится мини-Фликсборо».

До Олдборо рукой подать, стоит лишь миновать ряд солидных домов на пологом холме. Но даже этот подъем вызывает у Лили одышку. Нога № 1: сначала боль от мозолей, потом боль от «шишки», потом более острая от волдырей, потом становится еше хуже, потому что в дело вступает нога № 2, и все повторяется сначала. В промежутках между нисходящими спиралями усилий появляются другие, давно знакомые ощущения: хрипы в легких, боль в груди, колики в животе, неудобство от белья. Толстые ноги крутят это колесо страдания, в которое полностью погружена Лили — к каждому приступу самосовершенствования она добавляет мантру ненависти к себе. «Неловкая и неуклюжая, невежественная и самодовольная, невеликодушная и нещедрая…» Погружена настолько, что не замечает, как огромные руки сдирают серый покров над головой. Настолько, что не слышит голосов будущего звукового удара, который прозвучит над равниной. Уже совсем утро.

— Миссис Элверс? — Да?

— Мы хотим перевести вашу мать в маленькую

палату в дальнем конце коридора. Там вам будет спокойнее.

— Спасибо. Сестра?

— Да?

— Я знаю… Знаю, что вы не можете… не любите об этом говорить… но…

— Осталось недолго.

Ланч. Лили останавливается, чтобы свериться с картой. Не то чтобы она умеет читать карту — просто ей хочется убедиться, что расстояние преодолимо. Чтение карт — конек Йоса. Он имел обыкновение изучать карты, сидя в сортире в Кривом проулке. Уборная никогда не запиралась, потому что в ней никогда не было замка. Что свидетельствовало не столько о широких взглядах обитателей, сколько о привычке жить по принципу «не — сделай-сам». Уборная никогда не запиралась — поэтому время от времени женщины натыкались на старого козла, сидящего над кучей собственного навоза и вглядывающегося в крохотный кусочек сельской местности.

На ее счастье, прямая унылая дорога проходит по равнине, вдоль хвойных посадок. Может, заползти туда и спрятаться за колючими деревьями? Эта перспектива ее не радует. Слева от дороги тянется поле для гольфа — тут Лили вспо-

минает о недавней кончине Йоса, — потом поля, засаженные картофелем или засранные скотом. В этом тщательно обработанном ландшафте нет места для отдыха и чтения о величии труда. Какая ирония! Пока Лили жмет на педали, «Марс» упирается ей в бедро. Маленький батончик шоколада кажется целым поленом. «Это всего лишь игра воображения». Она обещала себе не есть шоколадку до вечера, а вечером съесть всего одну дольку. Ее пятидневная поездка подходит к концу, ей хочется вернуться домой, встать на весы и убедиться, что на дорогах Суффолка она сбросила столько-то фунтов и унций.

Скрип-скрип-скрип-скрип-скрип-скрип….

О, эти чертовы усилия! И почему они не даются без усилий? Лили с усилием крутит педали, изо всех сил стараясь не думать о шоколаде. Замечательном, мягком, коричневом, обожаемом шоколаде. Шоколаде, наполняющем ее чрево теплой волнующей сладостью. «Я чувствую его запах, — думает она, раздувая ноздри. — Чувствую запах "Марса"». На худой конец придется дождаться момента, когда она намажет хрустящий хлебец сливочным сыром, очистит апельсин и отхлебнет пива, но Лили не уверена, что выдержит. Эти жалкие попытки самоконтроля

никогда ни к чему не приводят. Разве в местной газете напишут: «ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА, СОВЕРШАЮЩАЯ ВЕЛОСИПЕДНУЮ ПРОГУЛКУ, В ТЕЧЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ ЧАСОВ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ БАТОНЧИКА "МАРСА"»? Нет, не напишут. Даже в Восточной Англии в округлые семидесятые это никому не интересно.

Когда мимо вихляющего велосипеда Лили со свистом проносятся машины, ей делается не по себе. Если крутить педали энергичнее, можно ехать гораздо быстрее. Почти час дня. Она выехала из Даниджа в половине девятого. Наверняка за прошедшие часы ее ляжки немного похудели. Она надеется. Страстно. Ей приходит в голову, что большинству пожилых жёнщин, достигших менопаузы, следует задуматься о велосипедных прогулках — по очевидным причинам. Отчего *в любое время года* на дороге лежат сухие листья? То, что мертво, должно истлеть. Доберусь ли я когда-нибудь до Снейпа? Стоит ли волноваться, когда какие-то педерасты распевают нацистские любовные песни? По-моему, не стоит, С одной стороны дороги все те же лесные посадки, с другой — коровье дерьмо. «Надоело! Мне *надо* остановиться. *Надо* съесть шоколадку».

Так она и делает — зануда. Ее желудок упорно

требует прекратить движение. Лили тормозит, велосипед виляет, и в это время мимо с грохотом проносится очередной грузовик. Она в ужасе шарахается, обдирает ногу о педаль и падает, слившись с велосипедом в одно целое — в отвратительный ком из стали, резины, нейлона, шерсти и жира. Слезы перед трапезой. Лили стаскивает велосипед с его непомерно громоздкими контейнерами с дороги и направляется к калитке, ведущей в хвойный лес. Жадно хватает свои припасы и, нежно прижимая их к груди, словно съедобных младенцев, неуклюже протискивается в калитку с пятью металлическими прутьями. Она чувствует, как струйка крови лениво течет под брюками вниз по ноге к лодыжке и в носок. Этим она займется позже.

Она делает привал у дерева с приколоченной шипящей кровожадной надписью: «СТОЙ! СТРЕЛЯЮТ!» — бросает поклажу и опускается на сырую подстилку из листьев и хвои, вдыхая запах не столько жизненной силы леса, сколько тления. И восклицает в застоявшемся сосновом воздухе: «Разве мне здесь место?» Ей отвечает не эхо, а влажная тишина: «Нет, здесь тебе не место. Тебе нет места нигде». Она вытаскивает «Марс» из кармана, одним движением срывает с него

обертку и торопливо сует в перекошенный рог. Ммм… вкусно. Пока она жует вязкую тянучку, верхняя челюсть отлипает от десен, и ласковая струйка сбегает вниз по ее нелюбящему и нелюбимому горлу. «Я могла бы умереть прямо здесь и теперь», — размышляет она, с горечью осознавая, что это ничего бы не изменило.

Ее желание исполняется. На темнеющий лес опускается черная завеса дождя. Картавое тарахтение трактора на дальнем поле внезапно смолкает, как и мычание, щебетание и другие буколические звуки. Внутренности сковывает холод. Происходит полное затмение самой реальности, ибо из-за завесы дождя появляется стофутовая рука и отводит ее в сторону. Из темноты возникают четыре великана в триста футов ростом. Великан в голубом, великан в белом и великан в красном. И еще костлявый великан в черном.

«Тужься!» Вот как тебя заклинают. «Тужься!» Меня выталкивают в коридор. Толкают вперед. Заталкивают в меня спринцовки. С диким напором. Интересно, на этот раз я обосрусь и рожу одновременно? С Наташей я утопала в говне, крови и водах. Потом меня зашили, как какую-нибудь выпотрошенную индюшку. Мне было

так стыдно — меня заставили стыдиться. На самом деле оба раза, когда я здесь рожала, меня кормили типично английской смесью похоти и ханжества, разведенной до жидкой кашицы неодобрения. В Штатах в конце сороковых, когда я рожала Дейвида-младшего, дело обстояло не лучше. Надеюсь, сейчас все изменилось, и если этот дурацкий феминизм чего-то для нас добился, так это права сохранять достоинство в родах и испытывать радость при рождении. Независимо от того, насколько тяжело рожать. И сколько при этом выходит говна.

— После того, как ты умирать. Лили, у тебя еще будет много времени, йе-хей!

Снова этот абориген. Оперся своей плоской задницей о кровать и беззаботно болтает. Врачи, акушерки и родственники испуганно суетятся у моей постели не из-за него. Впрочем, я не умираю — я рожаю.

— Навалом. Эй, знаешь, я тебя перевозить, детка, йе-хей?

Куда?

— Через Стикс. Через реку. Слушай, скоро ты будешь там, Лили, поверь мне, детка. На Священной Территории. Я не вру. Но ты можешь попасть

и к унгуду,[16] йе-хей? Освободиться от колеса судьбы, понимаешь?

Не имею ни малейшего представления, о чем ты говоришь, но ты, похоже, приятный попутчик.

— Ювай, Лили! Поверь, мы с тобой подружимся. Классно проведем время, йе-хей!

Схватки учащаются… Ты можешь подержать меня за руку? Как тебя зовут?

— Фар Лап Джонс… можешь звать меня просто Фар Лап.

Какое странное имя.

— Так звали жеребца. Знаешь, мы с ним выиграли большой приз, когда я был еще юнцом. Это прозвище. Не настоящее имя.

Он берет мою кожистую лапу в свою. Он курит самокрутку. Это странно: в больничной палате, в наши дни… Дым поднимается над его выпяченными губами и оседает на голове, ложась завитками, как туман в горной лощине или мои волосы, когда я сделала укладку в старшем классе — Лонг-Айленд, 1939 год. Я сдаюсь, это поздние роды, а имя младенца — Смерть. Кто бы подумал, что после долгих месяцев мук, пота и боли я все еще ношу его во чреве?

---

[16] Примечания: 16

Унгуд — в австралийском фольклоре Змей-Радуга, пожирающий и извергающий людей.

— Ты ошибаешься, детка. Слушай, Лили… ты умираешь. Меня… вот этого… — он помахал сигаретой, — здесь нет. Нет ничего. Ни палаты. Ни больницы. Ни рака. Ни смерти. Нет…

Тужься! Тужься! Тужься! Высокие колеблющиеся стены больничной палаты раздуваются, затем сжимаются, как будто они — матка, а я ребенок. Я чувствую толчки. Я — глупый ублюдок. Вот появляется крохотная ножка-с желтыми мозолями, с вылезшими «шишками», — за ней другая. Ягодичные роды — неудивительно, что они так болезненны, чтобы прорваться в этот мир, нужно жать на все педали. Потом — густая поросль волос между желтыми ляжками, потом — обвисший живот, который раньше тоже рожал. Потом — искромсанные груди, потом хилые переплетенные ручонки и наконец бравый руль, чтобы не сбиться с пути в житейском море. Бравый руль и копна белокурых волос. Вот она, на кровати, беззубая, морщинистая, не пожелавшая родиться легко. Рубашка, в которой тридцать процентов хлопка, скомкана у шеи. Разве труп может так потеть?

— Ты не труп.

— Что-что?

У нее отвратительно английский вид… Мне не нравится женщина, которой я стала.

— Ты не труп… Ты умираешь.

Язвительное возражение вертится у меня на языке, но я прикусываю его… своими собственными зубами. Фар Лап сидит на краю кровати и по-прежнему курит, а я стою на ногах, у меня свои зубы. Снова свои зубы и свой жир. Словно рак клешней отхватил его, а кто-то другой подобрал и вновь пришлепнул ко мне — как глину. Я чувствую запах сигареты Фар Лапа, и самого Фар Лапа. От аборигена пахнет чем-то диким и мясным, с примесью крови. Все путаное рондо смерти: рапсодия в стиле блюз, хрипящее соло, грохочущий брейк боли, тошноты и страха — подошло к концу. Все разошлись, остались мы вдвоем: пожилая, не слишком хорошо сохранившаяся женщина, но со своими зубами, и пожилой абориген в черных джинсах, клетчатой рубахе и белой широкополой шляпе.

Белый светильник на стене бросает на нее желтый круг. Через открытую дверь в палату проникает тусклый желчный свет ночных заведений. Я вижу в окне оранжевый ореол уличных фонарей. Слышу грохот и лязг грузовиков на Гауэр-стрит. На тумбочке у кровати мигают красные глаза электронных часов. Должно быть, одна из моих дочерей не поленилась принести их

с Бартоломью-роуд, чтобы они могли засвидетельствовать время моей смерти: 3.27. Пахнет деттолом.

— Осталось несколько минут, йе-хей?

— Что?

— У нас осталось несколько минут. Ясно?

— Для чего?

— Ну, я уже говорил… чтобы ты увидела Чистый Свет.

— Чистый Свет?

— Нуда, Чистый Свет. Разве не ты однажды написала: «Привязанность к реальности страшна и возможна»?

— Странно… Я написала это в письме много лет назад. Откуда ты об этом знаешь?

— В 1961-м. Гляди, — он наклоняется вперед, — все проще простого: у тебя больше нет зубов, больше нет жира, а абориген не болтается ночью по лондонским больницам и не курит — поняла?

Хотя Фар Лап оказал мне большую услугу, произнеся свою тираду на почти правильном английском, смысл его слов так до меня и не дошел.

— Что ты хочешь сказать?

— Все это не имеет никакого отношения к реальности, Лили. В Лили нет ничего реального. И

никогда не было. Забудь о ней, детка. Избавься от нее. Она тебе не подходит. Выброси ее или влезь в нее опять, как в старую одежду. Купи ее или продай. Поняла?

— Значит… ты нереальный?

— Проклятая зубастая женщина, подумай о них… о своих чертовых зубах! — Австралиец вновь становится агрессивным. Он швыряет окурок на линолеум, придавливает каблуком, встает. На нем сапоги с резиновыми вставками. Сапоги для верховой езды. Они в пыли. Я изо всех сил стараюсь не думать ни о чем — но думаю о зубах. Думаю о том, на что я их употреблю, как буду грызть, хрустеть, размалывать и разжевывать разные лакомства. Думаю о своей плоти, как ее можно будет обнимать, гладить, трогать и хотеть. И вдруг Фар Лап произносит:

— Черт подери, детка. Мы опаздываем.

МЕРТВА

«Я собираюсь выйти в отставку лет через пять после смерти».

Уоррен Баффет

ГЛАВА 7

Тело, лежащее на кровати, маленькое, будто детское. Хоть это оказалось правдой. При виде своего мертвого тела во мне пробуждается жалость. Бедняжка. Бедная старушка. Бедная мертвая старушка. Жизнь оборвалась. Оборвалось дыхание — словно я долго пила не отрываясь. Потом в последний раз дрогнули бледные ввалившиеся щеки. Потом — ничего. На электронных часах 3.28, все кончено. Кончена моя жизнь. И это, вероятно самый радикальный прорыв в лечении рака, на который все мы так долго надеялись. Теперь уже некуда спешить. Непутевая дочь расчесывает кожу под грязной вчерашней одеждой, у образцовой дочери деловитый вид, несмотря на пеньюар и роскошную пижаму. Мне она сюда такую пижаму не приносила, решила наверстать упущенное?

Их всполошила расторопная медсестра, брюнетка. С видом мажордома она распоряжается пародией на сцену смерти. Неожиданно она наклоняется и прикладывает ухо к отвисшему карману, который был когда — то моим ртом. Что она надеется услышать? Дыхание? Слова? Она

выпрямляется.

— Да, по-видимому, ваша мать скончалась.

— О, — произносит Шарлотта.

Моя дочь явно в шоке, потому что это «о» звучит безразлично, так можно было бы отреагировать на сообщение о приготовленной для вас чашке чаю. Шок — это способ, с помощью которого тело на время превращает глубокие переживания в прозаичные. Шок — это плохо написанный рассказ. Сообщение о чае — предлог для того, чтоб его выпить.

— Я вызвала доктора Боуэн, она скоро будет.

— О… хорошо.

Они ждут, заметно раскачиваясь — все трое — с пятки на носок. Ни слова о недавнем, несомненно, важном событии. С моей стороны естественно было бы ожидать истерики — если не от благоразумной, то, по крайней мере, от непутевой дочери, весьма неуравновешенной. Но та явно владеет собой. А когда она владеет собой, то почесывается — и тогда все прекрасно. Сдирает персиковую кожу зазубренными ногтями.

Доктор Боуэн, сорокалетняя лесбиянка с унылым лицом, тихонько входит в палату в туфлях без каблука. Лацканы ее белого халата увешаны значками с выражением протеста — разной

акронимической чепухой, которую ей удается раздобыть. Доктор Боуэн заслуживает жалости. Помнится, она говорила мне, что онкология не ее «конек». Это верно, она слишком расхлябана, чтоб быть хорошим онкологом. Рак требует железной руки — как у доктора Стила. Как бы там ни было, доктор Боуэн — или Джейн, как она просила ее называть — нашла путь к моему сердцу. Она пошарила в моей жалкой измятой ночной рубашке, частично обнажив мои искромсанные груди, потом приложила к сердцу стетоскоп. Да, пока ты умираешь, врачи не жалеют средств на самую фантастическую аппаратуру, но стоит тебе умереть, они просто-напросто вставляют резиновую трубку себе в ухо и слушают — чтобы ничего не услышать.

Боуэн с медсестрой просматривают перечень жизненно важных функций, которые у меня отсутствуют, и сестра помечает каждый пункт — росчерком «Паркера». Затем она протягивает список Боуэн, та равнодушно ставит свою подпись, пробормотав себе под нос, что я «скончалась в 3.47». Когда расстаешься с телом, время летит незаметно.

— А что теперь? — спрашивает Нэтти.

Она по-прежнему в прозаической фазе шока, и

вопрос ее, вероятно, рассчитан на то, чтобы смотаться всей компанией — хотя это опровергается струйкой, вытекающей у нее из носа. И хоть она не в силах завязать с героином, отвыкать от своей муму ей придется.

— Тело вашей матери останется здесь до утра, но вам следует быстрее обратиться в похоронное бюро. У вашей матери были какие-либо твердые убеждения на этот счет?

В ответ мои девочки хохочут, и это не смущенное нервическое английское хихиканье, нет, это грязный циничный еврейский смех, после которого неплохо было бы язвительно повторить: «Были ли у нашей матери какие-либо твердые убеждения?» — тем же тоном, каким задают вопрос: «Париж — это город? Отвечай, золотце». Но мои девочки не заходят так далеко, обеим не хватает наглости.

— Нет-нет, — отвечает Шарлотта, — она была атеисткой и не хотела никакой суеты…

— Да, — встревает Наташа, — она сказала, чтобы ее просто сожгли и похоронили без шума.

Странно, пока мои дочери что-то говорят, произносят от моего имени первые со времени моей смерти слова, я чувствую, что уплываю, ускользаю, удаляюсь. Я все еще слышу за спиной их

голоса, но смысл слов для меня уже не важен. Это похоже на обрывки сюрреалистических разговоров — «-ремя для», «-юсь, что мы», «-упая ошибка», — которые слышишь в аэропорту, пробираясь по переполненному залу отлета. Я выплываю из палаты для умирающих и вижу, что это просто застекленный блок в большой палате. Смерть в системе национального страхования. Что ж, это, вероятно, лучше смерти в рассрочку. Американской смерти.

Я скольжу по прохладному каменному полу палаты, разглядывая лица на подушках, потом подол моей ночной рубашки задирается, и слышится стук камня о камень. Я опускаю взгляд и вижу крошечного серого человечка, прыгающего у моих лодыжек. Ростом он не больше нескольких дюймов и смахивает на эмбрион, но эмбрион лет двадцати. Я наклоняюсь и с любопытством разглядываю малыша. Его крохотный ротик открывается и закрывается, и, присев на корточки, я слышу, как он поет: «Я обожа-а-аю тебя, любу-у-юсь на тебя. Я обожа-а-аю тебя, ля-ля-ля-ля-ля-ля…» Я не то чтобы в шоке — это было бы слишком прозаично, — скорее, изумлена. Изумление служит мне защитной дамбой, ибо за ним, в глубине, бушует страх — страх по поводу

тех мыслей, что просачиваются в мое сознание. Я — размышляю. Я — это я. Я умерла.

У серого человечка блестящие черные глазки. Он отлично танцует. Ловко движется в такт дурацкой песенке, приплясывая у меня между ног. Черт побери, кто он такой?

— Добро пожаловать, Лили. Это литопедион, твой маленький окаменелый ребеночек, йе-хей.

Передо мной стоит Фар Лап, тот самый абориген, который околачивался возле меня, пока я умирала.

Нужно сказать, что на конечном этапе он начал здорово меня раздражать. Я не могла понять, откуда он взялся — не стоит говорить, что все это попахивало обскурантизмом.

— Откуда мне знать, — огрызаюсь я.

Но Фар Лап пропускает грубость мимо ушей, он просто садится на корточки и кончиком мизинца гладит человечка по сморщенному лобику.

— Знаешь, детка, могло быть гораздо хуже, — говорит Фар Лап Джонс. — Гораздо хуже маленького парнишки. У тебя никогда не было абортов?

— Нет.

— А мертворожденных детей?

— Нет.

— Потому что они сваливаются тебе прямо на

голову — если на то пошло, йе-хей.

— Как это сваливаются?

— Мертвые дети… зародыши, новорожденные, любые. Знаешь, если у матери есть дети, очень молодые… вернее, маленькие… Так вот, когда женщина умирает, дети возвращаются — ясно? Но, понимаешь, йе-хей, если дети маленькие, совсем… гм, они связаны с матерью… виснут на ней. Дети постарше — те не так к тебе липнут, взрослые дети — не липнут совсем.

— Как в жизни?

— Нет, не так, как в жизни… — Он замолчал, дожидаясь, пока пройдут санитарки. — В жизни смерть вас разлучает, йе-хей? А теперь она вас всех соединяет. Не знаю, что тебе больше по нраву. Ведь у тебя есть умерший ребенок, верно?

Как это похоже на жизнь — надо *умереть* к чертям собачьим, чтобы кто-то поговорил с тобой о том, что тебя по-настоящему волнует. Он похож на негатив гриба, этот Фар Лап, со своей белой шляпой и черными ногами. Однако его мягкая настойчивость не лишена приятности. Он берет меня под руку, не касаясь, и ведет к лестнице, как лошадь, покачивая полями шляпы и прищелкивая языком. Мы скользим вниз по ступеням, беседуя о Дейвиде-младшем.

То, что я не чувствую прикосновения, меня не удивляет — нет боли, нет прикосновения. Равнодушие медсестер, мимо которых мы проходим, тоже — нет прикосновения, нет боли, нет причиняющих боль убийц, крадущихся в ночи. То, что сознание после смерти сохранилось… что ж, похоже, я допустила грандиозную ошибку. Тот жестокий, варварский мир, по которому я пробиралась, натужно улыбаясь, впадая в гнев, терзаясь иррациональными страхами — был чистилищем. А этот? Наверное, рай.

Мы скользим вниз, мимо плакатов, объявляющих о предстоящих событиях в мире беременности, психозов, кариеса и наркомании. Мимо пустых залов, где снисходительно булькают радиаторы. Вниз, мимо полных боли рисунков, выполненных калеками, и безжизненных, блеклых акварелей тех, кого пощадила болезнь. Наконец, мимо сонного охранника, задремавшего над газетой, и оказываемся на улице. Я бросаю взгляд вниз, чтобы посмотреть, как там литопедион, но он держится молодцом — вцепился в край моей ночной рубашки и раскачивается на ней. Крошечный Тарзан.

Но на улице ночная рубашка таинственным образом исчезает вместе с ночью, и я стою на

дороге голая, в первых лучах рассвета.

— Эй! — окликаю я Фар Лапа, который сворачивает сигарету одной рукой. — Что это?

А это вот что: дрожащий, как желе, целлюлит, все эти рыхлые фунты, сожранные раком. Весь этот *жир.* Мне и в голову не приходило, что я могу стать толстой после смерти. Упитанной в загробном мире. Округлой среди теней.

— Ее нельзя брать с собой, детка.

— Да я не про ночную рубашку… Вот про это. — Обеими руками я рисую в воздухе пышные формы.

— О, йе-хей! А это придется оставить. Тонкое тело оказалось не таким уж тонким, йе-хей?

Не понимая ответа, я продолжаю ворчать.

— Я никуда не смогу пойти в таком виде, — абсурд, я ходила так годами, все мы под одеждой голые. — Кстати, куда мы направляемся?

— В Далстон. — Кажется, он сказал именно так.

— В Долстон?

— Нет, в Далстон.

Далстон, а я-то полагала, что знаю почти все лондонские пригороды — даже не слишком известные.

— Зачем?

— Ты будешь там жить, Лили-детка. На новом

месте. А сейчас хватит болтать, вот такси.

К бордюру подъезжает такси, обшарпанный четырехдверный автомобиль. «Форд-гранада» или что-то в этом роде. В молодости меня интересовали машины. Вроде восьмицилиндрового «бьюика», который был у меня в конце сороковых и на крутом подъеме выжимал шестьдесят миль в час на третьей скорости. Большие машины, словно лежащие подо мной норовистые мужчины, подчинялись моим ступням, икрам, бедрам, рукам. Со временем мужчины становились старше и слабее. А машины — меньше. И я отказалась от обоих видов транспорта.

Водитель этого драндулета грек-киприот. Об этом свидетельствует иконостас на приборной доске. Крошечные изображения святых, Богоматери и патриархов в золоченых рамках и в гирляндах рождественских огней и четок. У заднего стекла лежит одна из всем известных кивающих собак, черная, с тремя поддакивающими головами. У киприота сальная тонзура, наклейка смуглой кожи в редеющих волосах. Он улыбается, гремит допотопная греческая музыка. На всех сиденьях коврики с деревянными шариками, словно едешь в ортопедической машине для больных радикулитом — тех, кто твердит: «Я уми-

раю от болей в спине», словно это долбаный рак.

Длинный Фар Лап протискивается на переднее сиденье, я устраиваюсь сзади вместе с литопедионом, который ловко прыгает с обочины в машину. Мне такое не под силу, мне нужно забираться в машину бочком, как это делают грузные люди, заранее выставив ногу вперед. Для нас, толстяков, каждый шаг — это испытание поверхности земли на прочность, попытка узнать, кто из нас двоих сдастся первым.

Пункт назначения не назван, однако киприот проворно трогается с места и плавно едет по Хантли-стрит. Только когда мы сворачивает с Графтон-уэй на Тоттнем-Корт-роуд, я начинаю понимать, как комфортабельна наша машина, как плавно она скользит вперед — словно летит по воздуху, а не трясется по городским ухабам.

И тут мне приходит в голову, что я забыла о…

— Я ничего не чувствую, — кричу я Фар Лапу, не видя его лица в зеркальце заднего вида. Таксист выключает магнитофон.

— И не надо, — ворчит мой наставник.

— Мне кажется… это странно… я не чувствую своих внутренностей… их расположения… Но я *вижу,* что мое тело *касается* сиденья, хотя и не давит на него.

— Так оно и есть.

— Что?

— Все верно, Лили-детка. У тебя больше нет физического тела, малышка, только *тонкое тело,* йе-хей? Вот так. Оно не отражает света. Не чувствует боли и удовольствий. Не пахнет. Не нуждается в пище и сне. И в спиртном. И в этом тоже. — Он, как мальчишка, делает неприличный жест. — Ему не нужно ничего.

После нескольких секунд размышлений я снова спрашиваю его:

— Но и боли оно не чувствует, верно?

— Верно, детка, боли не чувствует. По крайней мере, пока.

Итак, проигравших нет, все получили призы. Мне достался раздавленный рак. Оторванные клешни валяются возле бело-коричневой кашицы, которой стала его плоть. Боли не будет. Это кажется фантастическим везением. Ничего не чувствовать, как будто тебе вкололи супер-новокаин и эпидуральная анестезия продлится во веки веков. Мне это нравится.

Такси резко сворачивает под легкую сетку Юстон — тауэр и мчится по Юстон-роуд к неприветливому зданию фирмы «Уэллком». Черт возьми, сколько раз я тащилась мимо по дороге

на работу. Старая толстая буржуазная дама, с трудом волочащая сумку от «Барнс энд Ноубл» с образчиками второразрядной культуры и вредной пищи с высоким содержанием углеводов. Городской ветер треплет мне юбку, засыпает шрапнелью песка глаза. В своем лицемерном рвении я сжимаю искусственные челюсти.

Челюсти? Мечты о зубах. Вновь мечты о зубах. У меня опять свои зубы — это я прекрасно чувствую. Запломбированные, с кривыми резцами и мостами на коренных зубах — ради них не стоило умирать. Прежде всего, их не стоило выдергивать, но до того, как в воду стали добавлять фториды, это делали сплошь и рядом.

Их рвали, глазом не моргнув. На совершеннолетие родители дарили своим чадам с дурным запахом изо рта *протезы.* То были ключи от двери, через которую можно сбежать от пиореи. Евреи предавались этой страсти с особым рвением — словно предвосхищая злонамеренное стремление испорченной эмали попасть в дурное окружение. В то время зубов у меня уже не было, но был отменный аппетит. Теперь же у меня есть зубы, в которых нет никакой нужды. *Quelle*

blague.[17]

— О чем ты думаешь, детка? — Фар Лап, повернувшись, показывает мне желтые белки и желтые зубы.

В отличие от африканских негров, австралийские аборигены совершенно матовые, их кожа никогда не бывает маслянистой. Или землистой. Она просто тускло-черная. Бесспорно, восьмидесятые годы трудно себе представить без этого этнического меньшинства.

— О тебе.

— А что обо мне, хей?

— *Для чего* ты нужен?

— Я же тебе говорил, Лили. Говорил там, в больнице. Я твой посмертный провожатый, детка.

— Тогда… веди меня. Куда мы едем, черт возьми?

— Зна-а-ешь ли ты свой путь? На зве-е-зды взглянуть не забудь. Зна-а-ешь ли ты свой путь?.. — Это распелся литопедион, он ловко перебирает своими окаменевшими ножками на спинке заднего сиденья. Когда мы прибудем на место, придется сделать ему серьезный выговор.

— Я же говорил, детка… в Дал стон. Ничем не

---

[17] Примечания: 17
Смешно (фр.).

хуже других пригородов, хей?

— А где находится этот Далстон? — Мы направлялись к Пентонвилл-роуд. — Похоже, мы едем к Долстону.

— Верно. Знаешь, это совсем недалеко. Очень маленький район, йе-хей? Выезжаешь на Кингсленд — роуд и сразу же сворачиваешь на Долстон-лейн. Стоит немного зазеваться — и пропустишь Далстон.

— Выходит, с запада он граничит с Айлингтоном, а с востока с Долстоном?

— Так и есть.

— А с юга что?

— Опять-таки Долстон.

— А с севера?

— Сток-Ньюингтон.

— Ничего не понимаю. Ведь *между* этими районами Лондона ничего нет. Разве только Далстон — плод измышления риэлтеров?

— Может, и так. А может, ты знаешь Лондон не так хорошо, как думаешь.

— Прости… А ты, выходит, знаешь его хорошо, черт возьми?

Фар Лап отвечает не сразу. За это время мы успеваем повернуть на Барнсбери-роуд и миновать таксопарк. За это время я успеваю понять,

что выбрала бы другую дорогу в Долстон. Я бы поехала на север через Арчуэй — заглянула бы в уютную затхлую квартиру Джека Хармсуорта на последнем этаже дома для священников на Хорнси-лейн. Когда я войду туда на цыпочках, он будет спать после вечерней порции джина. Я выну бутылку из его посиневших рук. И буду знать, что он рад меня видеть, и мы с ним выпьем по чашечке кофе. Или я направилась бы отсюда на юг, через Ковент-Гарден в фешенебельную квартиру Эммы на Боу-стрит. Я никогда не заходила к ней так рано — клянусь, она спит в обнимку с одним из плюшевых медвежат из своей коллекции, словно с крошечным страстным любовником.

Зачем я об этом думаю? Ни один из этих путей в Долстон — или Далстон — не назовешь прямым. Впрочем, я не сидела за рулем уже года два. Отдала старую машину Наташе, которая, как и следовало ожидать, ее угробила. К тому же я никогда не заглядывала к своим друзьям без предупреждения. Особенно в этот час — никогда. Это *недопустимо,* как говорят благонравные англичане.

— Я хорошо знаю Лондон. Слушай, Лили, я старомодный человек, йе-хей. Я до сих пор пою песни. Так вот, когда я приезжал сюда на двух-

сотлетие…

— Двухсотлетие Австралии?

— Да. Может быть. Во всяком случае, когда я сюда приехал на двухсотлетие — потому что кому-то нужно было устроить здесь грандиозную тусовку, — я стукнул своим большим бумерангом о ковер прямо в терминале Хитроу, покрутил трещоткой и рухнул замертво, хей? Взял да и отдал концы. Сердечный приступ.

— Когда это было?

— Да где-то в январе.

— В январе? Значит, ты в Лондоне только с января?

— Верно.

— И ты еще смеешь утверждать, что знаешь город?

— Я же сказал, Лили, я немного старомоден. Мне нужно было узнать, что поют у вас в городе…

— И как ты можешь говорить, что одино-о-ка, Что не светит солнце для тебя-я? Позволь пройтись мне под руку с тобой по Ло-о-ондо-ну… — проникновенно запел литопедион, но мы не обратили на него внимания.

— Я побродил по городу. Хотел узнать, чем он живет, йе-хей?

— А вы тоже умерли? — спрашиваю я такси-

ста-киприота. Я собиралась объяснить ему, куда сворачивать с Ливерпул-роуд, но поняла, что мои советы вряд ли пригодятся.

— Я? Четыре года назад, — отвечает он, стукнув себя в грудь кулаком, словно гордясь своими успехами. — Меня звать Костас… если вы не против.

— Наверно… Наверно, вы очень по ним скучаете? — Неужели эти банальности говорю я, но слова вырываются сами собой. На приборной доске рядом с пустоглазыми головами в нимбах, улыбаются из кружев, тафты и прочей мишуры фотографии кудрявых ребятишек.

— Да нет, пр-р-равда, нет, — отвечает он, раскатывая дьявольское «р». — Теперь, после смерти, я вижу их гораздо чаще, чем при жизни.

— А они… могут вас видеть?

— Нет-нет… Я им такого никогда не сделаю… они же совсем маленькие. Зачем их пугать? Вот их мамаши совсем другое дело.

Мне хочется продолжить разговор, но Костасу надо выполнить сложный маневр, который мне слишком хорошо известен: проехать станцию, быстро свернуть на Хайбери-Корнер и выехать на Сент-Полз-роуд. Когда мы снова останавливаемся у выезда на Эссекс — роуд, мой интерес к затронутой теме не пропадает, но я впадаю в

состояние, которое — *faute de mieux*[18] — я могу назвать только бесцветной тупостью безразличия. Не помогает даже лимонный рассвет конца весны, когда игра света и теней придает всему окружающему двуликость Януса. Город — словно струпья на коросте, сигаретный пепел поверх пепла от сигар. В бесконечные ряды хромых, безнадежно искалеченных викторианских особняков затесались гнусные муниципальные дома. Унылые торговые улицы не оправдывают своего названия, это пародия на коммерцию, каждая третья витрина заколочена досками, поверх которых красуется портрет поп-звезды или политика. Изредка в промежутки между кирпичными стенами вклиниваются треугольные, квадратные или трапециевидные площадки для безнадежной игры в жизнь, с грязными воротами на обоссанных углах, в которые никто и никогда не забьет гол.

Пять утра, город ворочается на своем глинистом речном ложе, увязая в омуте сладкого сна. Пять утра, и горожане стирают следы учтивости с затуманенных глаз, испускают бесполезные газы и астматически разевают рты, пытаясь вдохнуть

---

[18] Примечания: 18
За неимением лучшего (фр.).

в себя грядущий день. В Хитроу садятся самолеты с сонным прахом. Терминальное утро. У меня разыгралась фантазия, или дорога, по которой мы едем, еще кривее и грязнее обычного? Я приезжала сюда либо по повседневным делам, либо в ходе выполнения жестокой миссии. Я рыскала повсюду, чтобы найти свою непутевую дочь, подобрать с ковра очередных «друзей». Или спасти от смерти в больнице после того, как она довела себя до состояния полной анестезии, пытаясь избавиться от боли буржуазного благополучия.

Я хорошо знаю Баллз-Понд-роуд — кто ее не знает? Но это не она. Это очередной район поляризованного города — с бедными на востоке и богатыми на западе. Кривые ряды кособоких домишек с разбитыми ступенями и растрескавшейся, словно высохший скальп, черепицей. Небольшие участки с муниципальными домами здесь еще меньше, из узких крытых переходов жители могут равнодушно наблюдать — если увидят что-нибудь вообще — бесцветную тупость окружающего города. И магазины — так мне кажется или они еще беднее, чем обычно? Почти нигде на мутных стеклах не видать кредитных карточек — выбор предлагаемых товаров жалок, услуги совершенно бесполезны.

Фар Лап сидит, упершись острыми коленками в переднюю панель, а острыми плечами — в спинку сиденья, его профиль сливается с черным профилем дороги. Время от времени он поворачивает голову, поправляет солнечные очки и смотрит на меня с чуждым всему земному дружелюбием. Костас ведет машину с живостью, удивительной для человека, умершего в начале восьмидесятых, виляя то вправо, то влево, переключая скорости, наваливаясь всем корпусом на педали и вновь откидываясь на сиденье. Связка крестиков и образков на зеркале заднего вида болтается из стороны в сторону.

— Как он управляет машиной, раз он нематериален? — спрашиваю я Фар Лапа. — Или его тело не такое тонкое, как у меня?

— Йе-хей, ты проявляешь любопытство, детка. Со временем все поймешь. Жизнь познается не в один день и смерть тоже.

Не только машина Костаса яростно мчится по дороге, соседние машины тоже устремляются в узкое «горлышко» Айлингтона. Если не считать редких молочных фургонов и громыхающих грузовиков, эти предрассветные гонщики заполонили собой всю дорогу. Насколько я понимаю, все они — собратья Костаса, у всех за задним

стеклом лежит кивающий головой Цербер, все везут недавно умерших пассажиров. «Форды» с инфарктами, «тойоты» с тахикардией, «воксхоллы» с вальвулитом. Вряд ли они щеголяют друг перед другом своей лихостью, ведь им нечего бояться. Когда мы тормозим на красный, нас подрезает старый «датсун» с насквозь проржавевшим корпусом. Но вместо того, чтобы загудеть или выругаться, Костас смеется.

— Это Спиро, он сегодня в ударе! — И ставит машину рядом.

В «датсуне» на сиденьях те же коврики из деревянных шариков и еще один грек за рулем. На заднем сиденье, вцепившись в подголовник водителя, сидит человек с бледно-зеленым лицом. Похоже, ему пришлось несладко.

— Видишь, детка? — говорит Фар Лап. — Еще один новоумерший.

— Я догадалась. Но куда они все едут?

— Хей-йе, детка… у конечных такси один конечный пункт.

— Далстон?

— Верно.

— А это… он?

Мыс ревом съезжаем с Боллз-Понд-роуд, с ревом мчимся по улочке с односторонним движени-

ем, сворачиваем перед старым викторианским пабом, который похож на водонапорную башню и так и называется «Водонапорная башня», останавливаемся у бензоколонки. Асфальт в масляных разводах похож на грязную карту мира. Мой провожатый отвечает:

— Да, он. — Фар Лап берет один из двух огромных черных бумерангов, лежащих между дверью и сиденьем, и ловко рассекает им воздух. — Вог кафе. Сюда заходят все водители, йе-хей? Пора подкрепиться — ночь была для нас долгой, йе-хей?

Кафе притулилось под одним из пролетов развязки. Это барак из волнистых стальных листов, полный — так мне кажется — испарений и запахов. Снаружи видны лишь закрашенные белым окна со звездами, в которых что-то написано — наверно, названия блюд. Костас ставит машину на забетонированную стоянку, рядом с двумя десятками других машин — «фордов», «воксхоллов». «тойот» и «мицубиси». На всех багажниках кривые антенны, заземленные обрезками старых пластиковых мешков. По вспученной кирпичной стене, истекающей известкой и птичьим пометом, змеится надпись: «ДЖОРДЖ ДЭВИС ПРОВИНИЛСЯ — И ТЕПЕРЬ ОН МЕРТВ».

Мы выбираемся из машины, и мой обызвествленный плодик цепляется к моей ноге. Не знаю, что волнует меня больше — литопедион или мой голый зад.

— Черт побери, Фар Лап, — говорю я, — не могу же я пойти туда в таком виде.

Костас прохаживается поблизости. Он еще толще меня, и никто не говорил ему об оптическом эффекте, производимом горизонтальными полосками на рубашке. Он такой волосатый, что из ноздрей вьются кудри. Один из тех уродливых людей, которые не раз заставляли меня радоваться жизни. Он открывает багажник, и там, среди промасленного тряпья, лежит небольшой «Самсонит», точь-в-точь такой, как тот, что собирала для меня Шарли, когда меня переводили в Королевскую клинику, — но абсолютно новенький. Я открываю его. Внутри большие мягкие старушечьи панталоны, нижняя рубашка и свободное платье колоколом («Хорошо еще, что не кастрюлей, муму!» — звучит в моем внутреннем ухе вкрадчивый голосок Нэтти), туфли, похожие на пирожки, начинкой для которых служат распухшие за полвека ноги. Вся эта жалкая экипировка для моего главного путешествия новая с иголочки. Все вещи до одной, и это еще печальнее. Я

стягиваю платье с маленькой вешалки, вынимаю туфли из коробки, разрываю целлофан, в который упаковано белье и колготки. И без тени стеснения одеваюсь под взглядом темных глаз мертвого мужчины.

Костас ведет нас в кафе, больше смахивающее на турецкую баню. Из кипящего на пластиковом прилавке титана вырываются клубы пара, ведущие жестокий, но иллюзорный бой с гигантскими щупальцами дыма, который поднимается к потолку из полусотни зажженных сигарет, вставленных в полусотню курящих ртов. Столы стоят почти вплотную — двадцать прямоугольников, напоминающих игральные карты, разложены для таинственного пасьянса. За каждым такая же разношерстная тройка, как Фар Лап, Костас и я. Новоумерших легко узнать — у всех на лицах потрясение и облегчение. Облегчение, потому что нет боли — будь то сокрушительный удар насильственной смерти, или быстро-медленно ползущий рак, или удар молнии — и потрясение, ибо в загробном мире царит невыносимая скука. Вместо Харона — греки-киприоты с помятыми лицами и брюками, они громко болтают, а их тлеющие сигареты выжигают пятна на поверхности стола. Они сидят, откинувшись назад, или

подавшись вперед, или оседлав повернутые задом наперед стулья — так обычно сидят жокеи, когда они не на коне.

— А почему все водители конечного такси — греки — киприоты?

— Йе-хей. Видишь ли, это дело случая. У этих парней большая община в окрестностях Далстона — в Долстоне, Хомертоне, Хокстоне, Клаптоне, Хакни, — они хорошо знают район, понятно? Вот они и занимаются извозом. Как говорится, все течет, все меняется — раньше все таксисты были коренными лондонцами, но за последние десять лет смертельное хозяйство немного разладилось. Йе-хей?

Я следую за ним к пустому столику. Наша троица — черное лицо, смуглое лицо, землистое лицо — садится перед бутылочками с красным, коричневым и желтым соусами. Да, мне ясна история с транспортировкой умерших, но к сборищу посмертных гидов привыкнуть гораздо труднее. Это очень странные ребята. Американские индейцы с кольцом в губе величиной с десертную тарелку; буддийские монахи в шафрановых покрывалах; шаманы-самоеды в расшитых малицах из оленьих шкур; корейцы-даосы в блестящих черных шляпах; сенегальские колдуны в масках из

черного дерева; даяки в круглых соломенных шапочках; и несколько двойников барона Самеди в одеяниях вуду.

— Что это за сборище? — спрашиваю я. — Что общего у этих парней? Только то, что они поклоняются разной чертовщине, а не всемогущему доллару?

— Йе-хей, — привычно отзывается Фар Лап. — Верная мысль, Лили-детка. Все мы здесь, так сказать, старомодные люди, йе-хей? Похоже, вы, люди Запада, не в состоянии понять, что означает смерть, унгуд, ничего. Поэтому вам нужен проводник, один из нас. Смотри… раз вы сами ни во что не верите, вам нужны проводники, которые верят в никогда-никогда. Поняла?

— Гм… Кажется, да…

— Нет, не поняла. Ты просто так говоришь, Лили — детка. Во всяком случае, смерть — это не сидеть перед Чистым Светом. Долго-долго. А теперь давай поедим. Что закажешь? — Большим черным бумерангом он указывает на прикрепленные к стеклу картонные звезды. На них в разном порядке перечислены блюда из яиц (пашот, глазунья, омлет), колбаса, бекон, бобы, черный пудинг, белый пудинг, фруктовый пудинг, один кусок, два куска, бобы и помидоры. На одной

написано: «Настоящий английский завтрак», на другой — «Настоящий ирландский», на третьей — «Настоящий мертвецкий».

Когда я впервые оказалась в Лондоне в конце пятидесятых, слова «настоящий английский» вызывали у меня изжогу. Стоило мне их произнести, и нёбо покрывалось липкой пленкой. Заметьте, в те дни — когда мы чувствовали карточную систему на собственном брюхе — завтрак в кафе обычно состоял из «чая и двух ломтиков». Двух тонких мертворожденных ломтиков белого хлеба с маргарином. Абсолютно безжизненных. По правде говоря, англичанам *на самом деле* нравилось нормирование продуктов. Только из-за него они не раздулись и не лопнули ко всем чертям — ведь им приходилось поглощать огромное количество углеводов. Со временем я тоже приучилась и даже привыкла к этому гнусному занятию — смазывать стенки своего желудка толстым слоем жира. Подобно пересекающему Ла — Манш пловцу, я ныряла в бурное внутреннее море своих неврозов — самозабвенно, с головой, намазавшись жиром.

Да, в прошлом подавали другую еду.

— Хоте-е-ли бы вы за-автракать в Аме-е-рике?.. — заливается литопедион.

А я-то совсем про него забыла. Но вот он, сидит на столе среди бутылочек с соусом.

Фар Лап и ухом не ведет.

— Лили, что закажешь, детка?

— А что ты посоветуешь?

— Я бы взял настоящий мертвецкий…

— Да, мы всегда берем настоящий мертвецкий, — вставляет Костас, — всегда. — Таксист закуривает «ВН» и выпускает мне в лицо струйку голубого дыма.

— Тогда настоящий мертвецкий, — бормочу я, и Фар Лап поднимает вверх три пальца.

Его сигнал замечает тип с бочкообразной грудью, приглядывающий за бойлером.

— Три мертвецких — заказ эксгумирован! — кричит он.

Но я не реагирую на эту фразу, я собираюсь накинуться на невежу Костаса за то, что он пускает дым в лицо женщине, умершей от рака всего несколько часов назад, как вдруг замечаю, что дым не ест глаза и даже *ничем не пахнет.*

Все запахи куда-то исчезли. Я втягиваю, раздувая ноздри, спертый воздух кафе — абсолютно ничем не пахнет. Ни жиром, ни яйцами, ни проклятым мясом, ни сигаретным дымом, ни потом — ни-чем.

— Фар Лап, — говорю я, — я не чувствую запахов.

— Что-что, Лили-детка?

— Я не чувствую запахов.

— Как же ты можешь их чувствовать? Ты же умерла, детка. Я тебе говорил — у тебя теперь тонкое тело. Оно не отражает света. Не устает. Ему ничего не нужно — ни еды, ни секса, ни-чего — понимаешь? Вот потому-то ты и не чувствуешь запахов — подумай, детка, зачем тебе запах? Йе-хей?

— А завтрак? Зачем мне настоящий мертвецкий завтрак? И вообще… что я с ним буду делать?

— Увидишь.

— Точно, — вставляет Костас, ткнув в воздух сигаретой, — сейчас сами увидите, леди. Быть мертвой — значит смотреть и *слушать.*

Смотрю. К нам приближается кокни с бочкообразной грудью, неся три мертвецких завтрака — в каждой руке по тарелке, на правом запястье еще одна, а с левой руки свисает пластиковая корзинка. И тут я вижу, что под каждым из столов стоит корзинка, и все проводники едят свой настоящий мертвецкий завтрак, сначала тщательно его пережевывая, а после отправляя в корзинку, не всегда с безупречной точностью. Новоумершие

ошарашенно смотрят на это безобразие — и я, полагаю, в их числе.

— Черт возьми, Фар Лап, значит, так вы едите?

— Да, — отвечает он, накалывая кусок колбасы на вилку и отправляя в рот.

— Но зачем? Зачем вы это делаете?

— Ритуал, Лили-детка. Сам я… завтракаю только тогда, когда привожу сюда новеньких, ну а другие… они проводят в Далстоне целую вечность, так почему бы им не поесть — даже если они не могут глотать?

— А сигареты? — обращаюсь я к Костасу. — Зачем вы курите?

— Вы раньше курили, леди?

— Курила? Разумеется, курила, еще как. Поэтому я и здесь!

— Ладно, ладно… а вы когда-нибудь курили в темноте?

— Случалось.

— Но ведь не часто — так?

— Пожалуй.

— Вот-вот. Потому что вам нужно было видеть. Видеть дым. Это не менее важно, чем чувствовать. Тогда почему бы нам не курить? Хотите сигарету?

Мне хочется закурить «ВН» сильнее, чем

съесть настоящий мертвецкий завтрак, который, впрочем, ничем не отличается от настоягцего английского. И вот я беру сигарету, а Костас подносит спичку. Дым безболезненно играет на аккордеоне моих изношенных легких.

— Как называется это место? — спрашиваю я сквозь собственную эктоплазму.

— Да никак, — отвечает Фар Лап. — Мы называем его просто кафе. — Он слизывает с матовой верхней губы глянцевую полоску яйца.

— Потому что в Далстоне всего одно кафе?

— Да нет… Просто это самое старое, йе-хей? Ведь Далстон — это цистрикт.

— Что?

— Цистрикт… он раздувается, потом сжимается и снова раздувается. Это и есть цистрикт.

— Не понимаю.

— Ну… скоро сама увидишь… кончила есть?

— Да я и не начинала, — отвечаю я и гашу окурок в желтке. Мертвецкий завтрак, в самом деле.

— Прекрасно… Тогда пошли. — Наше трио встает, направляется к стойке, петляя между столиков, и, к моему изумлению, Фар Лап расплачивается.

— Ты дал им денег? — спрашиваю я, пока мы направляемся к машине. — Разве в таком месте,

как это, нужны деньги?

Он поворачивается ко мне.

— А почему нет? Это место ничем не хуже других. Нужно убирать улицы, платить учителям, прочищать канализацию… Здесь не какой-то там отель. Повторяю тебе, Лили, мертвецы такие же люди, как живые.

— Но только мы не можем чувствовать, обонять или любить…

— Или испытывать боль! Или пахнуть, или потеть и все такое. Это оборотная сторона медали, — говорит Костас, которого, похоже, ободрила гибельная трапеза — он залезает в машину со смертельной живостью.

Пока он разворачивается, я снова начинаю приставать к Фар Лапу.

— Если в этом кафе завтракают умершие и их проводники, то почему там подают и обычную пищу?

— Йе-хей. Туда заходят и другие люди.

— Ты хочешь сказать — живые?

— Кто еще?

— Хорошо… и ты хочешь сказать, что их не пугает вид жмуриков, выплевывающих пищу?

Прежде чем изречь очередное поучение, Фар Лап наклоняется ко мне.

— Лили, это Лондон, в этом чертовом городе полно всяких странных типов.

— Выходит, в Далстоне есть и живые люди?

— Нет, я этого не говорил, просто если они здесь появляются, их не гонят — я же сказал, это цистрикт.

Цистрикт. Кажется, до меня доходит. Пока машина тащится по дороге, я начинаю понимать, чем отличается Далстон от других районов города. Конечно, дома, магазины, склады, промышленные здания и стоянки подержанных машин здесь точно такие же, как по соседству, но Далстон еще более безлик, чем все остальные известные мне районы северо-восточного Лондона. Общее впечатление, которое оставляет это место, — бесцветность и полное безразличие к муниципальным добродетелям.

Далстон — один из тех районов, где вы всегда оказываетесь случайно. Вы попадаете туда, если нечаянно пропустили остановку или не туда свернули. Мне не пришлось даже спрашивать Фар Лапа, чтобы понять, что Далстон бывает маленьким или большим, в зависимости от того, кто на него смотрит. Он словно скрытая складка в закатанном рукаве города, невидимый клеш в штанине, разрез на пиджаке. Наверное, если

кто-то из живых заедет в Далстон, то не заметит ничего особенного. Перед ним промелькнет ничем не примечательное пространство, его машина несколько раз отразится в витринах — и вскоре он уже окажется на Хокни-Марше или Стамфорд — Хилле, или в центре города. Далстон. Вы даже не поймете, что здесь были, — пока вас не настигнет смерть.

Когда Костас сворачивает на улочку с викторианскими домами, похожими на дом, в котором я жила в Кентиш-Тауне, я не удивляюсь. Когда мы останавливаемся посередине, я воспринимаю это как должное. Я выбираюсь из машины, Костас с Фар Лапом уже стоят на тротуаре. Странно двигаться так, как я привыкла, но не чувствовать балласта жира, боли в распухших ногах, врезающегося белья. Литопедион выпархивает вслед за мной, распевая: «О-о, этот за-а-городный гомон…» С ним я еще разберусь, а пока мне предстоит разобраться с новой квартирой.

— Мне на первый этаж?

Фар Лап подходит ко мне, стуча своими деревяшками по перилам. Старый чурбан.

— Нет-нет, Лили-детка, спускайся вниз. Пока что поживешь в подвале, а потом, может, переедешь выше.

Итак, мы спускаемся в подвал, на площадке выстроились мусорные ведра, которым место на помойке. Фар Лап вынимает связку ключей. Берет один и отпирает тяжелую дверь с наличником и четырьмя дребезжащими стеклами. За дверью сырая затхлая прихожая. Я следую за плоской задницей Фар Лапа, Костас с «Самсонитом» шагает сзади.

— И снова чемода-а-ан на первом этаже-е-е, опять пришла разлуки пора-а-а… — заливается литопедион.

И мы обходим мои новые владения.

По левой стороне подвала кривится уродливый коридор, за первой дверью справа полуразрушенная спальня. Постель представляет собой бесформенную пагоду из трех двуспальных матрасов. Есть там еще облезлый туалетный столик с крутящимся овальным зеркалом, покосившийся гардероб тридцатых годов под красное дерево и три окна, почти не пропускающие свет. Если бы не сырость, здесь было бы очень пыльно. Похоже, беднягам клещикам в старых сырых матрасах пришлось научиться плавать, чтобы выжить.

Следующий ватерклозет по коридору — гостиная. Она укомплектована двумя колченогими креслами, невзрачными лампами на неказистых

столиках и газовым камином с миниатюрным огнеупорным склепом, в котором покоятся реликвии прошлого. Здесь старая бумага может совершать свое долбаное сати.[19] О, и еще книжный шкаф с Библией и несколькими заплесневевшими номерами «Ридерз Дайджест». На шкафу примостился крошечный старый черно-белый телевизор, похожий на скворечник. Но это еще не все. Вместе с литопедионом, который вертится у меня под ногами, мы направляемся в конец коридора, где нашим глазам предстают все ужасы кухни и ванной. Двух тесных замызганных каморок, в которых едва помещается самое необходимое. В Нью-Йорке — с учетом ветхости помещения — здесь кишели бы тараканы. Но я уже знаю, что здесь увижу, мне даже не надо смотреть: шесть комков бумаги, некогда бывших номерами «Дейли уоркер», семь разномастных чашек с блюдцами и пять мокриц, лежащих кверху брюхом. Вот так.

На кухне есть газовая плита и ненавистный *ящик для мяса.* Впрочем, ведь я не собираюсь здесь готовить — какого черта мне беспокоиться. Ни готовить, ни даже разогревать кастрюльку с

---

[19] Примечания: 19

В индуизме обряд самосожжения вдовы на погребальном костре вместе с телом мужа.

кофе. И никаких омовений в ванной, где рядом с эмалированной кушеткой на обшарпанном *табурете* с пробковым сиденьем мог бы восседать психиатр — возможно, Штикельберг? Даже головки заклепок, крепящих зеркало к мокрой стене, в *дерьме.* Кафель в подтеках *сточных вод.* Повсюду на обоях отвратительные ромбы, режущие глаз параллелограммы и ядовито-яркие конусы. Узор шестидесятых годов — плод творчества английских мужланов. Забалдев от двух пинт сидра «Стронгбоу», исказившего их внутреннее зрение, они вообразили, что это и есть психоделический опыт. На полу дрянной ковер, похожий скорее на подстилку. Об него только ноги вытирать.

Квартира просто омерзительна. Я плюхаюсь в одно из кресел и перевожу взгляд с Фар Лапа на Костаса и с Костаса на литопедиона. Гостиная чуть пристойнее всего остального — весна в аду. Хотя «гостиная» не слишком подходящее слово. Помнится, Йос называл убогую комнатушку в Кривом проулке «салоном». Претенциозный кретин. И все-таки назвать эту ободранную конуру «гостиной» не поворачивается язык.

— Черт побери, Фар Лап, квартира просто улсас. Не будь я мертвой, я бы тут же умерла. Неужели ты думаешь, что я здесь останусь?

— С чего-то надо начинать, Лили-детка, йе-хей. — Фар Лап ничуть не обескуражен. — К тому же у тебя нет другого выхода. Не можешь же ты бесконечно шататься по Далстону. Тебе нужна квартира, а я ее сдаю, йе — хей? Тебе нужно проводить со мной много времени. И еще ходить на собрания.

— На собрания?

— Да, на собрания. Вроде подготовительных курсов. Они проводятся в Далстоне повсюду. Ты должна на них ходить, Лили, иначе ты ничего не узнаешь о смерти, не сможешь ни с кем перекинуться словцом, не сможешь выполнять свои обязанности, йе-хей?

— Не только из-за этого, — вставляет Костас, опускаясь в другое старое кресло и закуривая другую сигарету. — Знаете, леди, здесь бывает страшно. Случаются всякие ужасы, к которым вы должны быть готовы.

— Ужасы?

— Да.

— Ужасы здесь, в Далстоне? С его тоскливыми кафе, скучными улицами, унылыми домами и этой дрянной квартиркой?

— Да, даже в этой дрянной квартирке.

И тут из спальни доносится странное бормо-

тание и хихиканье. Очень тихое, но вполне различимое. Бесцветные голоса повторяют нараспев:

— Толстая старуха, старая толстуха, толстая старуха, старая толстуха…

— Черт побери, что там такое? — раздраженно спрашиваю я.

— Толстая старуха, старая толстуха, толстая старуха, старая толстуха… — не унимаются голоса.

На чужеземных лицах Фар Лапа и Костаса мелькают озорные улыбки.

— Ну, что там? Отвечайте!

— Толстая старуха, старая толстуха, толстая старуха, старая толстуха …

— Похоже, это Жиры, детка, — не сразу отвечает мой посмертный гид. — Они поселяются у многих, особенно у женщин. Пойдем-ка взглянем на них… Они что-то вроде литопедиона. — Он кивает на малыша, который сидит на каминной полке, болтает серыми ножками и поет: «Я про-о-сто бедолага, / Никто не пожалеет, / Все ополчились про-о-тив, / И не-е-куда бежать…», — причудливо вторя доносящемуся из спальни речитативу: «Толстая старуха, старая толстуха, толстая старуха, старая толстуха…»

Я встаю и направляюсь к двери, Фар Лап с

Костасом следуют за мной. В спальне меня ожидает жуткое зрелище. Отвратительное и, как ни странно, жалкое. У окна стоит моя копия, голая и лоснящаяся. Вторая пытается забиться под кровать, третья сидит на обитой плюшем банкетке перед туалетным столиком. Расплывшиеся создания, похожие на меня, с трясущейся, дрожащей плотью и огромными, свисающими до колен животами. У них нет ни глаз, ни волос, ни сосков, а обвисшие рты похожи на рот моего собственного трупа. Рекламные пончики Пиллсбери за гранью распада. Та, что стоит у окна, держит на вытянутых руках моток кишок, та, что сидит на банкетке, стягивает их, петля за петлей, и отправляет той, что лежит под кроватью. Ее я не вижу, но слышу звук, похожий на щелканье садовых ножниц — «ж-ж-жик… ж-ж-жик…». Они отбивают такт, мои жирные двойники, и речитатив «Толстая старуха, старая толстуха, толстая старуха, старая толстуха…», похоже, служит им трудовой песней.

Увидев меня, вся бригада замолкает и сбивается в кучу. Фар Лап и Костас глубокомысленно кивают головами.

— Истинная правда, — говорит мой посмертный гид, — настоящие Жиры.

Жиры недовольно перешептываются, их голоса напоминают урчание в желудке:

— Что он сказал? Кто он такой? Вот она…

— А кто они такие, — я напускаю на себя равнодушный вид, под стать самому аборигену, — эти самые Жиры?

— Твои… гм… Лили, ты часто сидела на диете, когда была жива… йе-хей?

— Ну… да… сидела. — Черт возьми, да я была просто помешана на диетах. Я так часто думала о лишнем весе, что, вероятно, вызывала его к жизни одними мыслями. Проклятье! Эти бесконечные цифры, нацарапанные на обоях, густые диетические добавки и жидкие соки, скупо отмеренные порции — обстричь лист салата, чтобы избавиться еще от одной калории. Эти долбаные собрания худеющих толстяков. Сидела ли я на диете? В семидесятые и восьмидесятые вся моя жизнь свелась к непрестанной борьбе со своим аппетитом — чтобы ненавистный мир в моем лице не лопнул от обжорства.

— Взгляни-ка на эти Жиры, Лили, йе-хей, это все твой собственный жир. Вот столько ты потеряла, когда сидела на диетах, — черная мотыга указывает на фигуру с мотком в руках, — а столько набрала опять. — Он кивает на ту, что тянет

кишки из мотка.

— А та, что под кроватью?

— Это жир, от которого ты избавилась навсегда.

— Значит, мне все же удалось немного скинуть… в общем. — С какой стати мне испытывать удовлетворение? Но я его испытываю.

Фар Лап молчит. Он вынимает из маленькой соломенной сумки на плече листки бумаги, брошюры и конверты.

— Слушай, Лили, тут у меня для тебя немного денег… на обустройство, ясно? И еще карта Далстона и перечень собраний. Пойдем-ка в другую комнату.

— А что мне делать с этими?… — Я не могу обращаться с ними запросто, с этими монстрами из рассказов Эдгара По.

— С Жирами? От них беспокойства не больше, чем от литопедиона. Они же часть тебя, Лили-детка, ясно? Не страшнее твоих собственных мыслей, йе-хей?

Я следую за ним в другую комнату, и Жиры вновь принимаются тянуть кишки и бормотать. Фар Лап отсчитывает ровно семнадцать фунтов тридцать шесть пенсов. И бумажные деньги, и монеты старые, истертые.

Тут в разговор вступает Костас:

— Вы должны расплатиться со мной, Лили. Отдайте мне свои протезы.

— Зубные протезы?

— Да. Свои вставные челюсти.

— Но… у меня их больше нет.

— Поищи в саквояже, — советует Фар Лап.

Я ищу. Вот они, завернутые во что-то мягкое, как это бывало в тех редких случаях, когда я их снимала. Теперь они завернуты в новые старушечьи панталоны и, как ни странно, выглядят не такими уж искусственными. Я чувствую прилив нежности к этим челюстям, они были больше мной, чем то, во что я превратилась. Однако Харон есть Харон, думаю я, даже если он переправил меня всего лишь через Лондон. Я направляюсь в соседнюю комнату и протягиваю челюсти Костасу.

— Здесь на углу есть магазинчик, Лили-детка, йе — хей? — говорит Фар Лап. — Там продаются разные моющие средства… чтобы привести квартиру в порядок, йе-хей?

— А что будешь делать ты?

— Работать… мне нужно на работу, как и Костасу. Мы все здесь должны работать. Лили. Может, увидимся вечером на собрании. А может, нет.

— А если я не пойду на собрание?

— Тогда останешься дома с Жирами и с…

— Я и ты, и пе-е-сик Бу-у-у в нашем маленьком саду-у-у…

Он прав, лучше любое собрание, чем сидеть здесь с крошечным обызвествленным трупиком, ожившим напоминанием о моей сексуальной безответственности. Не говоря уже о Жирах.

ГЛАВА 8

Что ж, я могу рассказать, что со мной происходило. Не думаю, что моя смерть сильно отличается от чьей-либо другой. Здесь у каждого из нас своя чертовски душещипательная история — это уж точно. Однако вы можете подумать, что бормотание Жиров в соседней комнате и прыжки литопедиона, во весь голос распевавшего песенки семидесятых годов, мешали мне осознать, что я умерла. Да нет. Я помню этот первый вечер в полуподвальной квартире в доме № 27 по Аргос-роуд так же ясно, как и все, что происходило со мной до этого или после.

Разумеется, тогда я не знала, что это Аргос-роуд, мне был известен только номер дома — 27. Сырой полуподвал в скучном пригороде огромного города, который я научилась терпеть, но не сумела полюбить. А смерть? Она имела ко мне не больше отношения — в метафизическом смысле, — чем имя Господа, которое нельзя произносить, или культ Девы Марии, или расступившиеся волны Красного моря, или любое другое религиозное фиглярство. Жизнь после смерти казалась такой же неправдоподобной, как Атлантида, дурацкий

затонувший континент, в существование которого верят только наивные дурачки.

Наверное, вы решили, что мое тонкое тело, воскрешение зубов, странности Фар Лапа и Костаса произвели на меня большое впечатление, но это не так. Поверьте, когда я говорю, что потусторонний мир, каким он предстал передо мной в тот весенний день 1988 года, был ничуть не более странен, чем мое первое прибытие в Англию зимой пятьдесят восьмого, когда мой беременный живот — туго набитый Шарлоттой — был прижат к перилам «Куинн Мэри», пока корабль, гудя, продвигался к пристани, а внизу волновалась толпа встречающих, целое поле габардиновых пальто, с разбросанными по нему розовыми цветами. Один из таких цветков — я искала его, веря или желая верить, что он означает любовь, — держал Йос. Веское основание для веры.

Англия — страна глубокой, допотопной отсталости, здесь у домов-крепышей вся кровеносная система наружу. Жестокое напоминание о том, что вы замерзнете, когда придет зима. В Англии нет мудрости. Нет и не было — ни сейчас, ни тогда, никогда. Именно поэтому я не любила эту страну, ее культуру и людей. И всегда носила в сумочке свой американский паспорт, готовая при

первой же необходимости прыгнуть на корабль. Что же касается семейки Йоса с их детскими прозвищами, благовоспитанным ханжеством (нельзя ненавидеть кого-то за то, что он черный, или еврей, или женщина, а можно просто не любить их как таковых — *и между прочим* черноту их кожи, еврейство, принадлежность к женскому полу), с их неопрятным опьянением (были они пьяны или медленно соображали, или и то и другое?), решимостью умерщвлять себя изнутри, поглощая пищу с огромным количеством углеводов — рядом с ними мой посмертный проводник и Харон-таксист вовсе не казались чем-то особенным.

Поэтому я сочла свою смерть всего лишь очередной переменой места действия, продолжением форсированного марша в войне, которую вела. Вот так я перескочила из постели Каплана в постель Йоса, из Соединенных Штатов в говенную маленькую Англию, так меня переместили — через Королевскую клинику ушных болезней — из Кентиш-Тауна в Далстон. Теперь мне предстояло снова пройти утомительную процедуру акклиматизации. Разобраться с коммунальными платежами, найти ближайший супермаркет, записаться в библиотеку. Впрочем, при всей моей

предусмотрительности — а какой от нее толк, в частности, для невротика? — мое безразличие к таким аспектам жизни, как переадресовка почты или здравоохранение, свидетельствовало о более значимой перемене адреса, чем при предыдущих переездах.

Да, как я уже говорила, я прекрасно помню остаток дня моей смерти. Он кажется мне этаким держателем для книг — парным к моему прибытию в старую книжную Англию. Саутгемптон, зима пятьдесят восьмого. Лед, испещренный шлюпбалками грузоподъемных кранов. Земля, море и небо, соперничающие друг с другом в мрачности. Когда подошло время сходить с корабля, я сидела, сжавшись, в своей каюте, как расплывшаяся корова в железном стойле, пока не раздалось трубное мычание Йоса — «Лили! Что случилось? Я ждал тебя на причале просто целую вечность», — пока он не пришел, чтобы погнать меня по сходням. Просто целую вечность — выражение *совершенно в духе* Йоса, у него все было *совершенно* просто. Справедливости ради надо сказать, что простота довольно часто служит последним прибежищем сложности. Да, *просто целую вечность* — вот как долго века пребывали в компании Йоса. На самом деле они пробыли в

его компании не больше *пяти дерьмовых минут*, в течение которых нервная дрожь — от расставания с Капланом, бегства от Восьми Супружеских пар. Которые Когда-то Что-то для Меня Значили, освобождения от рыдающих призраков вины, окружавших смерть Дейва-младшего, — наконец, отпустила меня. Ох, — и бегство из этой Жидамерики — тоже великое избавление.

Кто он был, этот большой, розовый, мокрогубый тип, который несколько раз грубо овладел мной на заднем сиденье взятого им напрокат «крайслера»? Он кусал меня за сиськи. С Йосом я, вероятно, ошибочно принимала шок за оргазм, и, несомненно, оргазм за любовь. Но странным образом, как и любой другой любовник, Йос стал для меня архетипом во плоти. Все мужчины в одном — потому я ненавидела всех.

С Йосом я вернулась к череде неудобных жилищ, где на веревках сохли пеленки, повсюду валялись груды нижнего белья, торчали какие-то подпорки, словно обломки старинных летательных аппаратов. Эта чертова мисс Незадачливая-Последовательница-Братьев — Райт не отстирывала белье дочиста — только развешивала. Затем, когда я была беременна второй мисс Йос, мы осели в Кривом проулке, где за-

пущенность стала образом жизни. Иисус-черт побери-Христос, если бы ты жил в Хендоне в шестидесятые годы, ты бы знал, что такое жизнь, подобная смерти. Далстон, по сравнению с этим, просто блеск, хотя особо и не блестит. Последние пятнадцать лет своей жизни я провела в чистилище. Умирание, исчезновение — вот и все, чего я ждала, — стоило ли удивляться, что одной поддельной солидности подвала было достаточно, чтобы заглушить мое всегдашнее яростное любопытство?

На Жиры мне было наплевать, а литопедиона можно вытерпеть. Я решила сходить в магазин за моющими средствами. Ну, казалось мне, ведь я еще могу почувствовать запах аммиака? Сумею отличить крем для обуви от говна?

На улице светило солнце. Фар Лап был прав — тонкость тонкого тела у такой неуклюжей недотепы, как я, весьма относительна. Было суше, резче, теплее, чем в сыром подвале. Я была свободна от боли и ожидания смерти — и ощущала себя тоже суше, резче, теплее. Впрочем, в жизни масса такого дистанцирования, таких лишь предполагаемых чувственных удовольствий — могла ли смерть оказаться иной? Здесь даже, черт возьми, цвели *вишни,* розовые и белые вычурные цветки,

неуместно легкомысленные, они выглядывали из-под плотных подолов поздневикторианских домов. Домов, напоминавших перевернутые айсберги: четыре этажа бесстрастной любезности над затопленными сырыми подвальными помещениями. Пока я спешила в магазин на углу, с выданной мне по поводу смерти дотацией, которая позвякивала в кармане платья, я ощущала себя почти девчонкой.

По пути мне встретилось несколько человек, но они походили на зомби не больше и не меньше, чем любые прохожие на любой городской улице. Высоченная девушка с разделенными пробором кудрями, спадающими на воротник, протирала косметической салфеткой веки; старик-инвалид с деревянной ногой осторожно трогал камни мостовой резиновым наконечником палки; смуглокожий азиатский господин с аккуратно подстриженной бахромой седых усов шел мне навстречу. Их глаза видели меня, затем смаргивали прочь.

Угловой магазин оказался в углу — как банальная постмодернистская деталь. Мрачноватая пещера, где пахло куркумой и висели гирлянды самых разных товаров. Здесь были и картонные стенды с карманами, из которых торчали

перочинные ножи, и заплетенный в косу лук, и пучки лакричных нитей. В темных уголках этого торгового логовища притаились стенды с почтовыми открытками, пластиковые корзины с овощами, подрагивающие шкафчики-холодильники и забытые полки с жестяными банками, хранившими души супов.

Повинуясь надгробной песне указаний крошечной индианки в безупречном сари, которая сквозь просвет между кассой, кипой «Далстон адвертайзер» и белыми кудрями нескольких швабр, направляла меня то туда, то сюда, чтобы я смогла вызволить из ее лабиринта вот эту хорошенькую бутылочку с отбеливателем, этот изящный флакон универсального средства для пола и вон те замечательные щетки для посуды. Сидевший позади нее на высоком стуле крошечный мальчик в отлично выглаженных серых шортах играл с игрушечной металлической машинкой, игрушечной пластиковой коровой и игрушечной пластиковой губной гармошкой. Блуждая по магазину, я наблюдала, как он старательно уравновешивает эти вещи у себя на коленках. Он ставил машинку на корову, стоящую на гармошке, затем гармошку на корову, стоящую на машинке, словно исследуя возможности новой

индуистской космологии.

Набрав моющих средств, я заплатила крошечной хозяйке магазина.

— Вы, наверное, новая дама, — обратилась она ко мне, — сама она, несомненно, была дамой. — Та, что въехала в номер двадцать семь.

— Да, верно, — ответила я, польщенная тем, что меня узнали. Возможно, это перемещение в Далстон и дальнейшая ассимиляция пройдут легче, чем я предполагала. — Квартира в жутком состоянии, — сказала я ей. — Похоже, там лет двадцать никто не делал генеральной уборки.

Она фыркнула.

— Да-а-а, — протянула она, и в этом «да» прозвучало множество оттенков, — да, это чистая правда. Чистая правда. Мистеру Баззарду уборка была не важна — он из неприкаянных душ, понимаете? Он сейчас переехал. В Байсестер, за Оксфорд. Сказать вам, миссис …?

— Блум.

— Миссис Блум. В двадцать седьмом много неприкаянных душ, не позволяйте им беспокоить вас. Не давайте им брать верх. Это ваш литопедион?

Она выглянула и посмотрела на литопедиона, который сидел на самом краешке ящика с бана-

нами, болтая короткими ножками и распевая очередную старую песенку: Опустели улицы, Никого-о-о вокруг, Все отпра-а-а-вились — На луну!

— А как тебя зовут, Карузо? — спросила она. Я была ошеломлена — мне даже в голову не приходило с ним заговорить.

— Лити, — пропищал литопедион.

— Веди себя тихо… — сказала она ему, и он замолчал. — Вот умница. Вам нужно быть с ним построже, миссис Блум. Они только и могут, что выпаливать всю устаревшую чепуху, которая приходит им в голову. Как правило, это поп-музыка, поскольку она проникает туда, где они оказываются… в ваших… складках. — Для наглядности она собрала в складки свое сари.

На меня произвели впечатление эти сведения — гораздо большее, чем мистическая абракадабра Фар Лапа.

— М-м-м… Могу ли я вас спросить, миссис …?

— Сет.

— Миссис Сет. У меня есть… ну, Жиры… Жиры, которые у меня в квартире, они опасны?

— В сущности, нет, миссис Блум. У большинства людей Жиры вроде подростков, если вы понимаете, о чем я говорю.

— Вроде подростков?

— Ну да, они состоят из приобретенного и потерянного жира. Жир — обычно результат детских злоупотреблений шоколадом, сладостями и тому подобным. Поэтому у Жиров такой характер. Они дуются, огрызаются, брюзжат, они включают музыку на полную мощность, но их всегда можно заставить слушаться — если быть с ними построже.

Звякнул колокольчик, и в магазин зашел новый покупатель. Мужчина неопределенного возраста производил пугающее впечатление: волосы дыбом, наподобие парика, безобразная борода торчком. Не человек, а какая-то щетка. Кожа — руки, щеки, лоб — покрыта ожогами и ссадинами. Он был в расклешенных джинсах, коротких, как кюлоты, из которых торчали худые ноги, и дешевой нейлоновой куртке, застегнутой по самую шею. Глазки словно дырочки от пуль малого калибра, которые кто-то всадил в остатки его мозгов. Он медленно наклонился и взял с нижней полки рядом с дверью метровой длины упаковку оловянной фольги. Наркоман, решила я и бросила на миссис Сет заговорщицкий взгляд, полный терпимости к ближнему.

К моему удивлению, она не ответила мне тем же, а просто отсчитала сдачу, шепнув: «Я знаю,

что вы подумали, миссис Блум, но это хороший человек. Вы ведь пойдете попозже на собрание — я зайду за вами в семь часов». Затем она повернулась к наркоману, который нетвердой походкой двигался в нашу сторону, и лучезарно улыбнулась ему.

— Привет, мистер Бернард, как вы сегодня себя чувствуете?

Я собрала свои покупки и вышла.

Целый день я изо всех сил пыталась навести в подвале какой-то порядок. В чулане под лестницей я обнаружила одну из смешных старых щеток для ковра, которые оставляют грязь и ворс двумя параллельными рядками. Я таскала эту чертову штуку взад и вперед по сырым коврам. Прогнав Жиры, я вытащила грязную груду матрасов из спальни на улицу, где они высохли на свежем воздухе.

— Что она делает? — ворчали Жиры. — Убирается! Ха! Глупая старая корова…Стоит ли стараться?

Каждую поверхность, которую можно отмыть, я вымыла, потом оттерла «Флешем». В кухоньке я с помощью новой швабры набросилась на засаленный линолеум и терла его до тех пор, пока швабра не стала походить на напомаженную ше-

велюру стиляги пятидесятых годов. В туалете мне пришлось извести пять тряпок, они стали того же цвета, что залитый мочой унитаз. Затем я снова выгнала Жиры, грязными тряпками смахивая на них комки пыли.

— Что она делает! Ох! Перестань… ох! Отстань от нас!

Миссис Сет, несомненно, была права относительно Жиров. Несмотря на их причудливую внешность, в них, по сути, не было ничего страшного. Почти слепые, они тратили вечность, ощупью отыскивая путь в комнату, или включая телевизор, или даже подкрадываясь ко мне сзади, бормоча, как мерзкие индюшки: «Толстая старуха, старая толстуха, толстая старуха». Скоро я привыкла гнать их как стадо перед собой, как привыкла говорить Лити «сбавь тон» — одно из викторианских словечек Йоса.

У меня в мыслях не было погружаться в хозяйственные дела так скоро — в сущности, через несколько часов после смерти. Но вот чертовщина, когда я прикинула, через какие муки прошла, хозяйство показалось не таким уж страшным. В общем, мыть не так уж плохо, когда *не ощущаешь* ни грязи под ногтями, ни пыли, летящей тебе прямо в нос. Конечно, хотя я с легкостью

справилась с задачей, одного только ощущения от уборки, одного только положения рук и ног хватило, чтобы напомнить мне, как я всю жизнь распластывалась — без веры — перед богами домашнего хозяйства.

К семи вечера все эти мерзкие занятия уже вязли в моих вновь обретенных зубах. Само *отсутствие* усталости — боли в коленках и локтях от всех этих работ — было мучительным. Как бы то ни было, моя энергичная уборка не сильно сказалась на квартире, только растревожила обои, резавшие глаз, разберединла старые раны попорченной мебели, взбудоражила изношенную арматуру и плохонькое оборудование. Когда раздался звонок, я надела пальто, которое, оказывается, лежало на моем саквояже в спальне, велела Жирам вести себя хорошо, сунула Лити в карман и направилась к дверям, навстречу миссис Сет.

— Нам далеко идти… до этого собрания? — спросила я, когда мы пошли вдоль Аргос-роуд. Крошечная миссис Сет делала пять крошечных шажков на один мой широкий шаг.

— Нет, вовсе нет, — ответила она, — это через несколько улиц, надо свернуть вот здесь и там. Вот и все.

Пока мы в сгущавшихся сумерках шли по Далстону, мне хотелось о многом поподробнее расспросить доброжелательную миссис Сет, но сейчас, когда она была лишена магазинного антуража, зато украшена драгоценностями, начать беседу было сложно. Решусь ли я острить? Как давно вы умерли, миссис Сет? А у вас есть свой литопедион? А Жиры? Есть ли в Далстоне еще умершие Сеты? Возможно, лучше начать более отвлеченно, вроде: скажите мне, миссис Сет, как *именно* живут мертвецы?

Впрочем, все это не имело значения, миссис Сет сказала правду, мы пришли довольно скоро. Об этом первом из многих собраний у меня остались самые яркие воспоминания. Оно проходило в Общественном центре южного Далстона, в унылом модернистском здании из серого бетона, с плоской крышей и ложными окнами, в нем не было ничего ни центрального, ни общественного. К боковой стене примыкал пустырь, где в крапиве и бурьяне валялось случайное спортивное оборудование. С другой стороны стояло заброшенное складское помещение, несчастные окна которого свидетельствовали об извращенных попытках их выбить.

Если история двадцатого века может считаться

олицетворением конструкторских нововведений, этот Общественный центр, несомненно, был воплощением Первой мировой войны. Холл методистской церкви, ставший ничьей землей, выстоявший под обстрелом гаубиц истории. Мы вошли через бетонную траншею. Пустая казарма, как я и ждала, — обшарпанный линолеум на полу, беленые стены бетонного блока, двери, ведущие в складские помещения, каморки-кабинеты и туалеты. В мужском три обычных писсуара наверняка соседствовали с одним крохотным. Через раздаточное окно было видно кухню, в которой исходил паром электрический чайник, а два человека разливали чай по пластиковым стаканчикам и раскладывали печенье по одноразовым тарелкам. Наверху к огнеупорному кафелю были прикреплены цепями пять больших светящихся полос. Удлиненные солнца светили вниз на собравшуюся компанию — около тридцати мужчин и женщин, неловко стоявших группами здесь и там, переминались с ноги на ногу, как если бы у них на всех был один переполненный мочевой пузырь.

В тот момент я подумала, что это оптический эффект, вызванный полосами света, мерцающими в темноте за ложными окнами. Потому что я

увидела лучи еще более желтого цвета, которые шли из голов людей, из самой макушки, и отражались от потолка, образуя странные нимбы над их обыкновенными головами.

Я полагаю, вы сами не раз были на собраниях Персонально мертвых. В таком случае, что мне сказать об этих людях? Только то, что они были из тех, кто ходит на такие собрания — неоднозначные мероприятия, организованные неопределенными группами из неизвестных побуждений. Временные искатели временных истин. Конечно, присутствовали здесь странные типы с кольцом в губе и наверченными на шею ожерельями — вроде тех, что я видела утром в кафе, но они были лишь закваской для обычного лондонского серого хлеба. Женщины средних лет, старые женщины, очень старые, сморщенные старухи с тяжелыми головами в сбившихся набок синтетических платках, в бесформенных пальто, с распухшими руками, лондонские жители. Чосеровские фенотипы. Мужчины численно превосходили женщин, но выглядели еще более безрадостно. Они держали в руках туго свернутые газеты или зонтики, словно эстафетные палочки, о которых забыли. Как правило, они были моложе женщин, но чертовски бесцветны! Не мужчина, а бумаж-

ная фигурка, небрежно вырезанная из образцов для вязания в старых «Вуманз релм». Мужчина из средних рядов групповых фотографий. Мужчина на рекламе, которую рассматриваешь, пока стоишь на движущемся эскалаторе. Мужчина, чей детородный орган — лишь деталь, отмеченная в каталожной карточке, пылящейся в одном из кабинетов института Кинси. Статистический мужчина. Напоминает профессиональных нищих, с которыми мне приходилось сталкиваться: «Миссус, это пятерка, а не двадцать» — или переходить улицу, чтобы не иметь с ними дела. Вечные неудачники, бездельничающие без всякой причины. Всегда исчезающие за углом, вызывая легкую паранойю.

Пока эта просвечивающая команда растаскивала штабеля пластиковых стульев у стен и расставляла их свободным овалом, я отметила и другие особенности собрания. Стены были облеплены листками со своеобразными призывами: «ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ ДРУГИМ»; «НЕ ДУМАЙ, НЕ ДУМАЙ, НЕ ДУМАЙ»; «ДЕЛО ПЛОХО»; «НА ЦЕЛУЮ ВЕЧНОСТЬ». Надписи были так же грубы, как и чувства, — чья-то дрожащая рука зря бралась за фломастер. Листки никуда не годились, но рядом с раздаточным окном висели два плаката, кото-

рые оказались гораздо хуже. На них значилось:

Двенадцать ступеней Персонально мертвого

1. Мы поняли, что умерли и наша жизнь окончена.

2. Мы пришли к выводу, что ничему не верим.

3. Мы решили подробно вспомнить нашу прежнюю жизнь.

4. Мы провели исследования и составили пугающий реестр наших манер и нервных тиков.

5. Мы показали этот реестр нашим посмертным проводникам и подверглись их осмеянию.

6. Мы вполне готовы покинуть самих себя.

7. Мы дожидаемся небытия.

8. Мы составили список всех, кого ненавидим.

9. Мы запомнили их.

10. Мы продолжаем составлять ежедневный реестр и вписываем туда все, что кажется нам тревожным.

11. Мы стремимся путем медитации совершенствовать свое бессознательное состояние и изоляцию.

12. Уничтожив себя духовно в результате прохождения этих ступеней, мы передаем это послание новоумершим.

А также:

Двенадцать принципов Персонально мертвого

1. Главная цель — наше общее уничтожение, индивидуальная смерть зависит от сплоченности умерших.

2. Для нашей групповой цели не существует абсолютного авторитета; обычно нами управляют мелкие бюрократы.

3. Единственным условием членства является смерть.

4. Каждая группа самостоятельна — откровенно говоря, кому какое дело?

5. У каждой группы единственная исходная цель — передать это послание новоумершим.

6. Персонально мертвый никогда не должен ставить свое имя на векселях или одалживать его какому-либо живому объекту или предприятию, если не хочет напугать их до смерти.

7. Каждая группа Персонально мертвых полностью самостоятельна и не имеет права получать пожертвования со стороны.

8. Персонально мертвые не профессионалы, в отличие от наших посмертных проводников, которые по большей части принадлежат к традиционным народам и могут умиротворяться с помощью раковин каури, трещоток, презервативов и любого другого привлекательного для них барахла.

9. Персонально мертвые сверхорганизованы, по большей части это не имеющая цели и неэффективная бюрократия.

10. У персонально мертвых столько различных мнений, что они взаимно исключают друг друга, поскольку равноценны.

11. Наша политика в отношении паблик рилейшнз основана на обмане. На уровне прессы, радио и фильмов мы должны постоянно поддерживать иллюзию, что мы живы.

12. В основе всех наших тезисов лежит индивидуальность как напоминание о том, что надо ставить личность выше принципов.

Сейчас, на этой стадии смерти, я стала думать о своей прежней жизни с восхитительным пренебрежением. Зачем беспокоиться о дочери-наркоманке, если я все равно не могу поменять ей засранных пеленок? Зачем метать громы и молнии в мистера и миссис Элверс, если это не приносит им ни малейшего неудобства? Поэтому я умерила свои ежедневные муки, из которых сплетала и расплетала колыбельку для кошки. Два Дейва, с которыми меня связывали жизненные обязательства — да хрен с ними. Могли бы они стать благодаря мне более нежными, более внимательными любовниками, отцами, дру-

зьями? Наверно, нет. Мой мошенник отец… моя садистка мать? А пощечины и пинки, доставав-шиеся мне на протяжении шестидесяти пяти лет? Исчезли — или, по крайней мере, *не актуальны.* Кажется, даже мои главные гонители были лишь на ярких, но эпизодических ролях; теперь они значат не больше, чем значки с выражением протеста на лацканах халата Джейн Боуэн.

Я должна была бы осознать чудовищность того, что в моей жизни все было пропитано злобой, — но этого не случилось. Наверное, как ни трудно это себе представить, мое теперешнее спокойствие поглотило всю эту злобу, и я просто поверила: смерть, вероятно, смягчила меня.

Что же касается церемониала собрания Персонально мертвых — если не считать двенадцати ступеней и двенадцати принципов, клиновидных ломтиков диаграммы толпы рядом со мной — почему они не включили меня? Почему мне даже не пришло в голову, что существует лишь один человек, который мог бы вычленить эти отдельные элементы *моего собственного опыта* и сложить из них эту мрачную картину? Не знаю. Но в тот момент я забыла все слезные собрания Анонимных Семейств, которые посещала — вместе с другими бестолковыми мамашами

и задолбанными женами, — пытаясь обуздать неиссякаемую способность Наташи разрушать себя и окружающих.

Боже мой, вот я сижу, перелистывая «Вуманз релм», и по-прежнему не знаю. И даже сейчас, когда у меня более чем достаточно времени, чтобы подвергнуть сомнению все, *что заслуживает внимания,* я не думаю, что когда-нибудь узнаю. Не в этом круге.

Итак, зомби расселись на расставленных овалом стульях. Настала мертвая тишина. Мигнули огоньки тридцати с чем-то сигарет и дешевых тонких сигар. Струйки дыма потянулись вверх сквозь идущие от макушек столбы света. Община называлась «Нюрнберг». Заседание вел маленький человечек, похожий на рыбу, в голубой рубашке и сером джемпере с v-образным вырезом. Он поочередно вызвал трех докладчиков читать многословные речи, напечатанные на каких-то ламинированных листах. В первой, озаглавленной «Почему мы мертвы?», говорилось о том, каким неудобным и страшным опытом стала для каждого из нас смерть; как тревожно осознать, что человеком был стиль и что наше ощущение себя было всего лишь манерами и отрицательными эмоциями. Второй выступающий

объяснял, что цель наших регулярных собраний — напоминать друг другу, что мы мертвы, и вводить новоумерших в ход посмертной жизни. Третий предлагал средства от этого зла, но к тому времени мое внимание рассеялось. Выступления продолжались. Если бы я хоть немного устала, то смогла бы заснуть, но нет, ничего не вышло.

Бог знает почему, интерес к жизни слабел у меня слишком часто, но теперь стало еще скучнее.

Мой взгляд, словно жирная муха, бесцельно перемещался по просторной комнате, блуждая по объявлениям о дополнительных занятиях аэробикой, по огнетушителю, нескольким сваленным в кучу гимнастическим матам. Когда кто-то из мертвецов в очередной раз закурил, а я изнывала без сигареты, мне пришло в голову, что в этом странном кадеше есть своя справедливость. Вот он, мой ад, — ведь я всегда гордилась тем, что не принадлежала ни к каким организациям. Все кончается вот так, банальным до смерти клубом, мне предстоит вечно тут сидеть, под этим полосатым освещением.

Персонально мертвые, хором благодарившие последнего болтуна, заставили меня очнуться. Маленький человечек по прозвищу «Секретарь» представил Робина Кука, сообщившего, что он

прибыл сегодня вечером, чтобы поделиться с нами своим смертным опытом. Кук, длинный и тонкий, как сигарета, постоянно зажатая между его тонкими губами, огонек которой как бы заполнял пробелы между его словами. Под низко надвинутым на лоб козырьком твидовой кепки не видно глаз. Весь он состоял из острых локтей, острых коленок и резких тонов. Кук, по его словам, был приятно удивлен, — принимая во внимание полное отсутствие у него каких бы то ни было религиозных убеждений, — обнаружив, что существует жизнь после смерти. В некотором роде. При жизни он был писателем, автором триллеров, и всегда публиковался под псевдонимом, так что для него нет проблем продолжать свои занятия и теперь. И действительно, книги, написанные им после того, как он оказался в Далстоне, продавались чуть лучше опубликованных раньше. Хотя и не были приняты критикой.

Да, трудно привыкнуть к тому, что не чувствуешь, не осязаешь, не ешь и не спишь, но он не переставал ощущать отсутствие боли и унижения, сопутствующих смертельному недугу. Кук был благодарен смерти — принимая во внимание го, в какое дерьмо превратилась его жизнь. Да, были ужасные психические проявления, вызван-

ные распадом мозга, — но, черт возьми, у него всегда было мрачное воображение. Он расценил цинизм программы Персонально мертвых как средство от распущенности. «Что означают эти ступени? — прохрипел он. — Не имею ни малейшего представления. Выполняю ли я их хоть в каком-то отношении? Не имею ни малейшего понятия. Мне кажется — я основываюсь только на своем опыте, — что вся эта структура — просто шутка. Кто шутит? Не знаю, и больше того, мои дорогие, не думаю, что когда-нибудь узнаю». Он говорил — как вы можете заметить — примерно то же, что могла бы сказать я.

После того, как Кук закончил, Секретарь объявил, что «открывает собрание, чтобы все могли поделиться». Они называют это «поделиться» — что за дурацкое, нелепое выражение. Ну и словечко, умереть можно, — если ты, конечно, не мертвец. Как бы то ни было, на практике это означает неубедительные, преувеличенные жалобы. Один за другим, представляясь «Я такой-то и такой-то и я персонально мертв», Персонально мертвые наполняли воздух табачным дымом и своими сетованиями. Удивительно, но при весьма выразительной жестикуляции сам рассказ был скучен. Это напоминало появление

Жиров; ужасы внезапно бледнели, словно звуки пианино, придавленные педалью. Думаю, меня поразило тогда, что я действительно мертва и, более того, что вся пикантность жизни была лишь функцией страха смерти. Но с таким же чертовским успехом, возможно, и не была.

Персонально мертвые говорили о богах индуистского пантеона — Ганеше с головой слона, Ханумане с телом обезьяны. Кали, увешанной гирляндами черепов, о восьмируком Вишну — те проникали к ним сквозь тонкие стены комнаты, излагали свои древние обиды и вновь разыгрывали свои эпохальные битвы. Круговорот аватар в унитазе. Персонально мертвые стенали о Христе, воскресшем на Голгофе их плиты с вытяжкой, чтобы произнести с дрожью в голосе Нагорную проповедь на полу их мирской кухни. В пригороде Вавилона, где они обитали, по муниципальному парку легким галопом гнали своих коней Четыре всадника Апокалипсиса. Смерть, Война и Голод раскачивали Персонально мертвых на качелях на детской площадке, в то время как Гражданское несогласие раздавало сандвичи с ветчиной и чай возле озера с лодками.

В этом причудливом царстве Персонально мертвых гурии купались в маленьких водопро-

водных раковинах в углах гостевых комнат, где мертвые строители совершили некие иллюзорные работы по переоборудованию. Эти безупречные куртизанки, способные постичь любое желание правоверного, пили шербет и сладострастно хохотали по ночам. В Далстоне в одной квартире с вами могли оказаться даже тибетские добуддистские боги. Таким образом, на Коринт-уэй, Спарта-террас, Сиракьюз-парк и Атенз-роуд снизошло психофизическое многоцветье. Синие боги размером с агентство по продаже автомобилей неясно вырисовывались над агентствами по продаже автомобилей; красные боги размером с автобус прятались среди автобусов; а зеленые боги скрывались в высокой траве на насыпи вокруг далстонского водоема и выскакивали при приближении Персонально мертвых. Цветочницы продавали дьявольские плотоядные растения по фунту за штуку. Очень дорого.

Некоторых боги посещали соответственно их вероисповеданию. Какой-то протестант дрожащим голосом свидетельствовал, что был вызван в ночь перед потопом, чтобы спилить Мафусаилу огромные рога. Омертвевшую жесткую шкуру девяти веков. Но некоторые пребывали в

замешательстве. Почему этого эксцентричного старого португальца терзает Осирис? Почему этот придурочный еврей-ортодокс восторженно трясет пейсами при появлении Змея-Радуги? И каким боком это относится ко мне? Секретарь внушал нам, что важно «улавливать не столько различия, сколько сходство». Еще говорили о физиологических явлениях — о персонификации икоты, моргания, отрыжки, цукания и зевоты, — что подозрительно напоминало Жиры. Однако мое внимание рассеялось. Лити обнаружил двух своих собратьев — сереньких эмбрионов, и все трое принялись носиться взад и вперед по темным углам комнаты, распевая пронзительными голосами:

Мы — одна семья,

Мои сестрички и я-я-я-я!

Секретарь посоветовал им замолчать и вести себя прилично.

Что значит «прилично»? — издевалась я про себя. Как должен вести себя воскресший окаменелый трупик? Как *должен* себя вести любой из нас? *Я* хочу сказать: запреты здесь неуместны. А что, если ты *просто не любишь* креплах?

Прошел час или около того, Секретарь нако-

нец угомонил хрупкую, нервную женщину, которая жаловалась на Митру — он жил в ее холодильнике и совершал невероятные обряды, связанные с огнем, — и сообщил нам, что последние десять минут предназначены для того, чтобы «новоумершие» могли поделиться. «Иначе вам, коматозникам, трудно признать, что вы умерли, — прокричал он. — Кроме того, если вы не умерли, то что тут делаете? Даже если вы не решаетесь ничего сказать, можете что-то проворчать, или прохрипеть, или повторить что-то из того, что вы делали, испуская последний вздох». Когда он произносил эти жестокие слова, его рот казался рваным отверстием на бумажном лице. Все мертвые глаза, как на шарнирах, повернулись ко мне, все костлявые пальцы подрагивали, словно хотели меня схватить.

Увидев Фар Лапа Джонса и Костаса, входивших через вращающуюся дверь — самую обычную вращающуюся дверь, — я ощутила облегчение и решила нагло выкрутиться. «Я Лили, — сказала я. — Лично я думаю, что умерла». Вот и все. Вот и все, что я сказала. И этого было вполне достаточно — какого-то признания, что я умерла. Отрезана от всего. Не женщина, а опухоль, иссеченная из мира. Поля белой шляпы Фар Лапа отогнулись вниз

под грузом невозмутимого одобрения. Его отраженные тени поклонились, и поклон отразился в двух крохотных плитках пола. Костас наполнил широкую грудь ненужным ему воздухом, и в расстегнутом вороте рубашки встопорщились волосы. Мои друзья что-то одобрительно проворчали.

Затем все кончилось, мы встали и, держась за руки, тихо забормотали молитву: «Боже, даруй мне глупость отрицать то, чего я не могу изменить, безрассудство пренебрегать тем, чем я могу, и невежество, чтобы не уметь отличить одно от другого». Фар Лап и Костас подобрались поближе, чтобы участвовать во всей этой галиматье.

Как только все кончилось, я подошла к ним.

— Ради чего вся эта хрень? — спросила я у Фар Лапа. — Полная чушь. Это не может научить меня ничему ни о Далстоне, ни о смерти, ни о том, как с ней примириться.

— Йе-хей, ну, я думаю, это может показаться совершенно хреновой тусовкой — но таков путь, детка, йе-хей? Таков путь…

— Да, мадам Лили, именно *таков* путь, — добавил Костас. — Вам здесь надо слушать моего друга, он ваш посмертный проводник. Вы не можете снова сесть в мое такси и уехать из Дал сто

на — ничего не повернуть вспять. Слушайтесь его! А мне сейчас нужно кое с кем поговорить. — Он незаметно выбрался из комнаты, а Фар Лап показал, подрагивая бедрами, чтобы я последовала за ним в одну из каморок-кабинетов.

Там он уселся на вертящийся стул за письменным столом. Прислонился головой к пробковой доске — поля шляпы спереди задрались, открыв завитки черных волос — и наблюдал за мной отчужденно и иронически.

— Да-а, здесь ничего для тебя нет, Лили, детка. В общем-то, это правда. Вся эта тусовка, знаешь, — это потому что ты умерла, но не хочешь этого принять, йе — хей? И будет еще хуже — поверь мне. Будет хуже, чем литопедион, йе-хей? Хуже, чем Жиры, — и все это в твоей головке, детка. Здесь нет ничего реального. Ничего вообще — ни тебя, ни всего этого, ни меня, ничего. Понимаешь меня, детка? Разве ты не помнишь, что чувствовала там, в госпитале, когда мы уходили из палаты? Было похоже на мираж, хей-йе? Когда горячий ветер дует в буше, и все мерцает, йе-хей? Это была *ты,* детка, поверь мне. Это и сейчас ты — ни-что. Осознай это, и все вокруг… испарится, понимаешь? Ну, Лили, поняла?

Но я совсем ничего не понимала. Я видела щеки

Фар Лапа, удивительно напоминавшие яблоки, его веки — как из черного дерева, все эпштейновские рельефы его красивой головы. А за ним я видела пробковую доску, к которой кнопками были приколоты программы мероприятий, записки и газетные вырезки. Видела брызги дождя на черном оконном стекле и крошечные пыльные смерчи на полу. Видела груды развязанных папок на серовато-коричневом столе. Видела Персонально мертвых, которые все до единого курили в холле, и видела Фар Лапа, распечатавшего жестянку «Лог Кабин», его пальцы, захватившие щепотку табака и разминавшие ее, чтобы свернуть сигарету. Видела свернутую бумажку, появившуюся на его нижней губе. Видела, как он скрутил другую сигарету, как поднес к сигарете спичку с красной головкой. Я видела это, и пусть все это было дурацким, пусть смущало и тревожило меня, — я не усомнилась ни в чем ни на секунду.

Рождество 2001

Я верила в это не меньше, чем в высящийся за моей спиной громадный оборонительный бастион, состоящий из наваленного слоями, как ступени тольтекской пирамиды, дрянного

барахла. Вещей, которые Ледяная Принцесса с Риэлтером украли, а потом не сумели продать или заложить. Взрослые забывают, как велики их прегрешения в материальном мире, они озабочены своими мелкими психическими проступками. Я просто не могла понять, к чему клонит Фар Лап Джонс, — не слышала его. Я не могла достать и мобильный телефон, который, я знала, лежит здесь, наверху, но так, что я не могу до него дотянуться. Но даже если бы могла, сейчас это просто мертвая схема — немобильник, не-средство-связи. Он так же не способен воспринять что-либо, как я в свое время не понимала Фар-Лаповых «йе-хей». Тогда мне казалось, он хочет свести меня с ума — но, черт возьми, с этим я прекрасно справлялась сама.

ГЛАВА 9

Я неплохо устроилась в Далстоне. Вымывая депрессию из своего подвала, я мурлыкала:

Коробки-коробочки, и не различишь,

Из заплаток-лоскутков, и не различишь.

Красные и синие, желтые, зеленые.

Из заплаток-лоскутков, и не различишь.

Я нашла работу. Не в самом Далстоне, а по пути к нему, в Хакни. Фар Лап объяснил мне, что безразлично, в какой компании работать, у живых или у мертвых. И поверьте — это действительно *оказалось* совершенно одно и то же. Всего шесть недель назад я перестала заниматься вопросами пиара там, где трудилась, когда была жива, и вот уже делаю то же самое в другой компании, на другой стороне города, печатая еще больше пресс-релизов новой кухонной посуды, открывающегося загородного клуба, только что появившихся термальных носков — любых новых веяний, пополнявших все более ускоряю-

щийся поток все более банальных новшеств. Или *так это мне казалось.*

Пока я была жива, вряд ли кому-нибудь в «Чандлер коммьюникейшнз» хоть раз пришло в голову спросить меня о том, кто я и как мои дела, в «Баскинз паблик рилейшнз» всем тоже было на меня наплевать. Каждый день я шагала на работу по Аргос-роуд, сворачивала на Коринт-уэй с ее интенсивным движением, немножко срезала по «окультуренной» Спарта-террас — разве мертвец не может быть весьма мобильным? — и проходила через Сиракьюз-парк, чтобы поймать автобус, идущий по Атенз-роуд. В затхлом тепле верхнего этажа, где, оттирая людей среднего возраста, толпились пенсионеры и дети, я забывала о собственной смерти, пренебрегала Смертью как таковой, плевать хотела на метафизику, а просто сидела и читала ерундовые женские журналы. В конце концов, после долгого ворчания дизеля, подняв глаза от «Вуманз релм», я обнаруживала, что автобус катит по Далстон-лейн или по Куинсбридж-роуд или уже сворачивает на Мейр-стрит. Назад, в так называемый мир живых — как ни смешно это звучит.

Каждый контакт между мирами живых и мертвых был в высшей степени прозаичен. Ком-

мунальные услуги! Получить их было не легче, чем всегда, несмотря на то, что в каждой конторе обычно работал кто-то из мертвецов. Повседневная жизнь была по-настоящему трудна для меня с моим теперешним тонким телом. Границы жизни и смерти были так же условны, запутанны и неопределенны, как границы самого Далстона. Живые по глупости утешаются тем, что хотя бы после смерти вещи будут четко обозначены, — как если бы смерть была барьером, стеной или границей. Но я обнаружила, что смерть гораздо лукавее. Ее границы так же размыты, как граница зрительного поля. Теперь понятно, почему общение спиритов с потусторонним миром всегда до смешного банально. Если бы кому — нибудь из живых пришло в голову вызвать меня стуком по столу, я первым делом попросила бы чашку чаю.

Престарелый ловелас Баскин дал мне работу, потому что я нагло заявила, что возьму на двадцать процентов меньше, чем любая вертихвостка, готовая с ним флиртовать. По правде говоря, меня наняла миссис Баскин — чудовище с мелкой завивкой, — которая время от времени приходит приводить в порядок счета. Так всегда бывает. Так что от «Баскинз паблик рилейшнз» шекелей набегало немного.

Я потратила целую вечность, чтобы придать подвалу вид, который меня устраивал. Звать маляров, чтобы красить и отделывать комнату, не имело никакого смысла. На собраниях Персонально мертвых мне любезно объяснили, что мертвые ремесленники совершенно ненадежны. А ведь теперь я избавилась от артрита, бронхита и гингивита — от всего, что могло бы помешать мне сделать ремонт самой. На блошином рынке в конце Спарта-террас я купила черные слаксы и мужскую белую рубашку. Завязав концы рубахи под сиськами, я полезла на мебель, чтобы ляпать на потолок краску и размазывать ее. Жиры толпились вокруг, хихикая над моими потугами.

— Посмотри-ка на ее белое брюхо! Хи-хи, когда она тянет руки вверх, оно висит, как мешок… Хи-хи, старая толстуха. Толстая старуха, старая толстуха…

И так далее. За несколько долгих дней это могло бы свести меня с ума, но не свело. В сне я теперь не нуждалась, но по отдыху скучала. Черт, если бы я только знала, что жизнь после смерти окажется безостановочной суетой, я бы в свое время подольше валялась в постели, обложившись бутылками с горячей водой и пила бы галлонами чертов *горячий шоколад.* Вот он, результат моей

хреновой диеты — я, навеки грушевидная, в окружении слепых рыхлых теток, воплощающих мое собственное тщеславие. Ну да, у меня есть Лити.

Я остановилась на имени Лити для моего литопедиона, поскольку не могла придумать ничего другого. Звать его Гэсом-младшим не казалось — как бы это выразиться — уместным. Кроме того, о прошлом я думала в последнюю очередь, столько всего предстояло сделать, столько работы было впереди. Лити был трудным, не по летам развитым малышом, но, несмотря на проворные ножки и знакомство с поп-мелодиями семидесятых, не имел ни малейшего понятия о жизни; поэтому я занялась воспитанием своего нерожденного трупика — младенца.

Я одевала Лити в дешевое кукольное платье для Барби и Кена и брала с собой в «Баскинз паблик рилейшнз». Он достаточно соображал, чтобы сидеть и помалкивать, когда ему велят. «Какая странная кукла», — сказала как-то миссис Баскин, а толстая краснощекая секретарша Глория однажды призналась, что Лити кажется ей противным. Тем не менее с удобного местечка на моем письменном столе, опираясь на пластмассовую компьютерную пирамиду Хеопса, Лити сумел получить представление о производстве

бумаги для поделок в конце 80-х.

Признаюсь, я разговаривала с Лити на том же детском языке, на котором в свое время говорила с Наташей, пересыпая каждое предложение всякими «нуу — нуу», «гуу-гуу» и другими прилипчивыми словечками. Лити стал моей крошечной игрушкой, и вскоре меня даже развлекали его представления, когда он кружился по подвалу, распевая:

Пляса-а-ли мы и пе-е-ли мы

Под со-о-лнцем лета и зимы.

В его морщинистом почти-личике или в блестящих черных глазках-бусинках я не видела никакого сходства ни с собой, ни с Гэсом. Не думаю, что в мире живых можно найти что-то похожее на литопедиона, за исключением, быть может, этого придурка, спилберговского инопланетянина. Но даже у него большие голубые глаза. Огромные голубые глаза — такие могли появиться только в воображении еврейского мальчика, которому до смерти хочется крутить романы с блондинками-шиксами. «Инопланетянин как шикса — дискуссия». Неплохая тема для какой-нибудь курсовой работы, которую впору задать самому литопедиону.

Поверьте мне, Далстон ничуть не хуже любого живого пригорода Лондона годился для того, чтобы притравливать борзых моего презрения. Кто бы мог подумать — англичане среднего класса и после смерти оставались такими же напыщенными идиотами, как при жизни. Они продолжали возводить ступенчатые барочные здания классовой принадлежности, громоздя один на другой едва различимые оттенки произношения, манер и образования. Мертвецы делились на культурных и некультурных, староумерших и новоумерших, на соль земли и отбросы. С мрачной неизбежностью оказывалось, что социальная принадлежность следовала за тобой повсюду — твой смертный грант был индексирован. Мало того, несмотря на свое хваленое пренебрежение к вульгарной известности, английские мертвецы обожали покойных знаменитостей, объявляя всем и каждому о своем знакомстве с таким-то и таким-то — желательно еще при жизни рассказчика.

Большинство известных мертвецов уже давно покинули Далстон — и это тоже заставляло думать, что здесь просто отстойник для новоумерших, что мы будем жить здесь, пока нас не переселят в более удобные места. Ну а пока

абсолютно все считали своим долгом сообщить мне, что, разумеется, они знакомы с графиней Тересой Любинской. Рассказать, какой она была *цветущей,* несмотря на свои страшные раны, как она попала в Далстон прямиком *на метро* после того, как ее закололи, и поняла, что *мертва,* только когда назойливый контролер на Кингз-Кросс спросил у нее билет, и ее поразило, что она пересела на другую линию *безо всякой на то причины.* Дерьмо собачье. Типично для английских мертвецов: единственные жертвы Холокоста, которые они признают, это долбан ые польские аристократы, убитые в долбаном Лондоне. Совершенно в их духе.

Они общались, Боже, да еще как. Устраивали вечеринки, на которых окунали губы в ликер, а потом выблевывали его в герани, снимали с деревянных шпажек канапе только для того, чтобы потом выплюнуть в ведра. Да, вечеринки с выпивкой у этих английских мертвецов бывали *событием.* Они жевали пирожки с заварным кремом — это легко.

Стояло долгое, жаркое лето для тех, кто должен был работать, и, откровенно говоря, это не мне пришла в голову идея проводить вечера на террасах, жуя пирожки с заварным кремом, чавкая

салатами и затем извергая их в пластиковые ведра. На самом деле, ведра не всегда были пластиковыми, мертвецы-модники предпочитали ведра из оцинкованной стали. Они выглядели красивее, в них было легче попасть, хотя звук был слишком громкий. А миссис Сет всегда с готовностью защищала ведра, жевание и выплевывание. «Надо дать людям возможность делать то, что им хочется, миссис Блум, — говорила она, — а эти мертвецы хотят вести себя как живые, это можно понять».

Можно было понять и то, что «Бакалейные товары и гастрономия» миссис Сет неплохо наживались на продаже ведер, распродаже вин и проклятой торговле сырами. И почти так же хорошо — на продаже алюминиевой фольги наркоману Берни, неприкаянной душе, который жил на чердаке дома № 27. Я долго не могла понять, каким образом эти дурацкие мертвецы напивались на своих мертвецких вечеринках. Потом до меня дошло: они вели себя так, будто выпили — такова власть ритуала. Но все равно было приятно смотреть на мертвецов среднего возраста, несущих вздор, поющих старые мелодии из шоу и даже пытающихся ухаживать за дамами.

Насколько я могла понять, единственное, что

отличало эти сборища от сборищ живых — если не говорить о ведрах для блевания, — фантастическое число курильщиков. Похоже, мертвецы курят *все.* Даже те, кто при жизни не курил, оказавшись в Далстоне, закуривают. Вот она, награда курильщику после смерти. Как только легкие наполняются едким дымом, наступает несколько коротких мгновений, когда чувствуешь, что почти материализовался. Затем выдыхаешь и снова становишься не более материален, чем клуб дыма, проплывающий перед твоей посмертной маской. Но за такие мгновения стоит платить, ради них стоит работать.

По большей части цены в Далстоне были низкие, в конце концов, кто селился здесь *по доброй воле?* Но сигареты были такие же дорогие, как и в любом другом месте, а я истребляла пачку за пачкой. Не знаю, как для вас, а для меня с тех пор, как я умерла, весь процесс курения сделался подарком. Обертка-гладкость-хруст целлофана, когда его сдираешь с картона, ребристость упаковки, ее твердые края, сами *направляющие* руку. Затем грубая шелковистость фольги внутри, и, наконец, вот они, раковые палочки, *восхитительно безвредные.* Курить, когда ты так явно толста и стара, — как вдохновляет эта бравада перед ли-

цом живых, дожидающихся смертного часа!

К тому же курение отпугивало Жиры. Они не выносили сигаретного дыма. Очевидно, это было как-то связано с их слепотой. Я могла только видеть, а они могли только обонять. Они жалобно стонали, как подобает подросткам с избыточным весом и правильными представлениями о здоровье. «О-о-о! — восклицали они хором, когда я встречала очередной рассвет сто — какой-то сигаретой в сутки. — О-о-о, зачем ей это? Неужели она не может бросить? Не знает, что это вредно?» А я прогоняла их еще одним вредоносным клубом дыма. Вид их подрагивающих задниц, торопливо исчезающих за дверями спальни, вызывал у меня смех. Но теперь я понимала — думая по привычке об абсурдности мира, — что до того, как умерла, смеялась лишь сама над собой.

На сборищах Персонально мертвых «старожилы» — те, кто умер более пяти лет назад, — советовали не заводить никаких отношений в первый год после смерти. Дурацкий совет, ведь единственное, чем мертвецы занимались больше живых, так это заводили отношения. Или, скорее, съезжались друг с другом. Пара старичков-мертвецов съезжалась с покойником средних лет, чтобы сэкономить на квартирной плате и соблю-

сти приличия. Мертвецы средних лет по тем же причинам брали в жильцы молоденького. Нередко можно было встретить на прогулке двоих мертвецов средних лет, между которыми пошатывался старик за девяносто. В Далстоне легко было впасть в детство. Вам может показаться, что эти подобия семьи, созданные ради удобства, должны попахивать как-то странно — да нет. Хотя благодаря этим совместным хозяйствам я поняла, что кровная связь — самая произвольная основа эмоциональной жизни.

Чаще всего мертвецы обсуждали прошлое и будущее. Этим объяснялось их демонстративное отсутствие интереса к Далстону, его окружению и структуре. Далстон — который Фар Лап именовал «дистриктом» — был очень похож на соседние районы, а его жители на жителей тех мест. Несмотря на обманчиво малые размеры, Далстон никогда не ощущал суматохи окружавшего его города живых. Ночью, когда мы, мертвецы, в безопасности наблюдали внутри Далстона собственные шоу ужасов, нам было слышно, как живые со свистом проносятся по низким участкам магистрали, пересекающей соседние районы. Что они видели, случайно остановившись? Ничего особенного. Площадку перед бензоколонкой,

пропитанную собственными испарениями, жалкий магазинчик, где за стойкой ежится хозяин, а на углу проститутку, торгующую своими печальными мгновениями.

Случайные водители оказывались здесь и днем и ночью. Они покупали бензин, продукты и разную ерунду, по большей части не подозревая, какой смертельной опасности подвергаются. На призрачных мертвых проституток живые клиенты не обращали внимания. Но и мертвые не собирались считаться с живыми. Мы восставали, являя себя во всей красе. Бедные, неряшливые женщины, умершие от нищеты и наркотиков, от слишком большого числа беременностей и слишком больших доз валиума, средь бела дня появлялись на Далстон-Джанкшн, тельца их абортированных эмбрионов парили в воздухе на уровне низкого лба, а окровавленные пуповины гирляндами свисали на нейлоновые халаты. У самоубийц вторым ртом зияла разверстая рана или сверкали на запястьях алые браслеты, или они демонстрировали искалеченную нижнюю часть тела, подобно улиткам ползая вдоль квартала. Убитые показывали свои изрезанные, простреленные и изувеченные ударами дубинки тела.

Больные выставляли напоказ свои шанкры.

Жертвы инфаркта бились в судорогах и падали, бились и падали, бились и падали в нескончаемом хороводе. Мы все падаем.

Как реагировали на это живые? Разумеется, сходили с ума. Попадали в больницы, ударялись в религию или уезжали из страны. Они уносили с собой гримасы загробной жизни, прорыв отвратительного пятого измерения, о котором всегда подозревали, но никогда не видели воочию. Их преследовали видения. Гуляя по улицам Далстона, я очень скоро поняла: все, что я когда-либо слышала при жизни и во что не верила — всадники без головы, или женщины в белом, или рыдающие призраки-предвестники смерти — самые невинные упоминания об этом омерзительном чистилище. Что до душевнобольных, с их рассказами о вторжении инопланетян, тайном контроле и дьявольском разобщении — все они говорят абсолютную истину.

При жизни я изо всех сил старалась преодолеть тьму на границе зрительного поля; побороть страх, что притолока моего разума рухнет, пока я буду медлить на пороге между домом и миром, клаустро — и агора-. Бывали времена, когда фобии овладевали мною настолько, что мне с трудом удавалось противостоять ощущению, что

я целиком заключена в пределах *собственной долбаной головы.* Крохотная женщина-куколка пристально смотрит сквозь глазные впадины, прорезанные садистами — нейрохирургами. Я пыталась спастись бегством в Христовы затхлые сараи, Господние крикетные павильоны. Замечательно, что англичане утешаются, посасывая такой практичный пресный, недоваренный леденчик. Я оправдывалась тем, что мне нравится хор, или скульптуры, или спокойная атмосфера. Но в большинстве английских церквей ничего такого и в помине не было, и, по правде говоря, я *просто чертовски боялась этого дерьма у себя в голове.* Отчаянно боялась, что оно прорвется и затопит меня целиком. Невелика радость обнаружить, что я все время была права. Все время права.

После первого собрания Персонально мертвых я не видела Фар Лапа довольно долго. Он объяснил: «Я нашел работу, как и ты, Лили-детка. Сидя на месте, денег не заработаешь. Я ходил и искал новых клиентов, понимаешь, йе-хей?» Что это за клиенты, я долгое время не догадывалась. Фар Лап направил меня в хорошие конторы Персонально мертвых. «Здесь тебя научат всему, что тебе надо знать, детка. Продолжай ходить

на собрания. Говори о своих собственных делах — тебя поймут. Больше я тебе пока ничего не могу сказать, хей-йе? Ни-чего».

На собрании я ляпнула, что страшно хочу присутствовать на собственной кремации — понаблюдать, как я сгорю. «Иди, — сказал один из Персонально мертвых. — Иди, но ничего не жди. Это не разрешит проблем прошлого и не сделает чистилище хоть немного приятнее». Смерть оказалась не способна подвести итог.

Я села в метро у Хайбери и Айлингтона, перешла на северную линию на Кингз-Кросс, где, при желании, можно увидеть на эскалаторе призраки знаменитостей. Я ехала до Голдерс-Грин, рассматривая отражения бледных метро пол итенских лиц, нелепо вытянутых в стекле напротив. На темных стенах тоннеля, проложенного под городом, извивались сухожилия высоковольтных кабелей. Пока поезд двигался к северу от Уэст-Энда, я ощущала застройку над головой, а в Хэмпстеде меня стала угнетать огромная глинистая тяжесть пустоши. *En route*[20] на собственные похороны я испытывала только *легкую* клаустрофобию. Это фантастика — при жизни я не смела и

---

[20] Примечания: 20
По дороге (фр.).

мечтать о том, чтобы проехаться на метро, если не была *пьяной* или на транквилизаторах, или то и другое вместе.

Затем самый длинный перегон из всех — от Хэмпстеда до Голдерс-Грин; от старого интеллигентного района к воплощению новизны и оборотистости; от вилл на холме к шале в долине Голдерс-Грин, где поджарые женщины-нувориши, невыразимо вульгарные, со шнобелями, торчащими над крышами машин, гоняли по Голдерс-Грин-роуд «мерседесы» своих мужей, обращаясь с огромными автомобилями, словно это драндулеты за десять косых. Затем они паркуются под углом 45 градусов и сидят в кондитерской Линдис, или в булочной Гродзински, или еще каком калорийном закутке, чтобы попухлее набить себя. Совершенно так же, как в шестидесятых! Всего через двадцать лет после того, как их долбаные отцы и матери *худели* для печей.

Я всегда терпеть не могла Голдерс-Грин. Я водила сюда девочек в кинотеатр «Айоник», только если фильм больше нигде не шел. Потому что ненавидела быть под этим прессом еврейства, чавкающего, болтающего и торгующего, используя свои преимущества, любую поддержку и свои поганые характерные черты. Черт побери!

Словно в какой-нибудь хреновой синагоге! Я не могла удержаться. Не могла скрыть от своих детей-полукровок собственного национального недовольства собой. Поэтому, как только мы выходили из этого заведения, я клялась, что мы больше никогда сюда не придем. И что если они еще захотят посмотреть здесь кино, пусть их ведет их чертов *папаша.*

Я держалась месяц, два или даже три. Затем в скучный зимний вечер мы возвращались из магазинов в городе, трясясь по Финчли-роуд в дрянной машине, которой в ту зиму владело семейство Йос, и мысль о том, чтобы оказаться дома, где папочка, с его вялым гойским видом, с трубкой-и-в-шлепанцах, вдруг оказывалась для меня *слишком.* И мы останавливались у Блума, я вводила девочек, мы дожидались в по-домашнему пахнущем помещении, пока старый неряха в белом халате с пятнами не сделает нам заказанные сандвичи с солониной и картофельные оладьи. В этом городе углеводов даже еда у Блума — где, признаем это, *свой кормил своего* — имела экзотический привкус. Затем мы садились в старую развалину и все съедали. Я говорила Нэтти и Шарли, что мы чертовски выдающаяся нация. Что именно мы дали миру всех великих

мыслителей этого века, а также предыдущего. Что даже в заведении у того же Блума полно непризнанных Эйнштейнов, Фрейдов и Марксов, которые работают официантами, пока заканчивают свои докторские диссертации. И что когда просыпается наша злость, мы можем удержать целую армию Йосов и его католического племени в течение нескольких месяцев, а потом совершаем *самоубийство,* но не капитулируем.

Этот Голдерс-Грин совершенно не изменился. Оглядевшись по сторонам, я пошла на север по Финчли-роуд вдоль ряда страшненьких одноквартирных домиков, притаившихся за колючими изгородями бирючины, в Хуп-лейн.

На третий день после смерти я, воскреснув, оказалась рядом с супермаркетом «Экспресс дери». Не знаю, каким образом я поняла, что время подошло, но поняла. Мне не хотелось идти на бдения при собственном гробе, организованные миссис Элверс — естественно, вместе с Эстер, — преисполненной жалости к самой себе, смешанной с мощным английским безразличием. Зачем присутствовать при начале собственного забвения?

Нет, меня интересовала кремация. Я должна была убедиться, что гроб самой дешевой выделки, люди из похоронного бюро с самыми хамскими

манерами, а катафалк не лучше Йосовой таратайки. Я собиралась прокрасться в заднюю комнату, куда лента конвейера уносит гроб. Мне надо было увидеть крематорских злодеев, вытряхивающих мой труп из ящика ценой в двести фунтов. Увидеть, как они грабят мою собственность, в то время как я ее покидаю. Я провела годы в ужасе перед индустрией смерти — и хотела застигнуть это жулье на месте преступления.

Хотя все оказалось совсем не так. Одиннадцать утра хмурого вторника, унылое мокрое шоссе, пустое, если не считать периодического шуршания «вольво», «фольксвагенов» и «мерседесов», везущих денежных матрон издалека, из жидовского пригорода Хэмпстед — Гарден, растрясать кошельки. Под ногами влажные листья, а вверху граненая труба крематория, которая поддерживает небо набухающей колонной дыма от сгоревшей плоти, уносящего серость из его краснокирпичного лютьенского сердца.[21] Еврейское кладбище позади меня неожиданно ярко освещено. Я невесело рассмеялась при мысли обо всех этих дураках, заплативших кучу долларов, думая, что уютно здесь устроятся, в то время как

---

[21] Примечания: 21
Лютьенс, сэр Эдвин (1869–1944) — известный английский архитектор.

преобладающие ветры означали, что им после смерти предстояло снова обретаться в диаспоре на противоположной стороне, в Ист-Энде.

Странно, но Наташа Йос явилась одна, причем не с той стороны, с какой я ожидала. Из пригорода Хэмпстед-Гарден. Почему, я не могла себе представить. Вряд ли там можно было уколоться. И все же она укололась. Несмотря на довольно раннее время, она не сказать, чтобы выглядела очень бодро, но, во всяком случае, была собранной. Я следовала за ней, держась на целых пятьдесят шагов позади. К тому времени Фар Лап уже выучил меня искусству незначительности, так что я знала: она не заметит меня, если я не захочу. Как смерть похожа на детство, включая вот такие игры в прятки с бабушкой.

Наташе не пришлось раздумывать, уместно ли надеть черное на это человеческое барбекю — она и так всегда ходила в черном. И все же, я не без удовольствия отметила, что сегодня она в своих лучших вещах. Черная шелковая юбка-миди, расклешенная от колен; черная шелковая блуза с очень большим остроконечным воротником; прелестный свитерок из синели; длинный черный шарф и длинное черное пальто с высокой талией — пальто в довольно теплое майское утро

было важной деталью, необходимой, чтобы поплотнее укутать наркотическую дрожь. Всю эту одежду покупала ей я, вот почему вещи подходили одна к другой. Наташины повадки красавицы наложились на грязные уроки ее отца. Во всяком случае, несколько лет она добывала деньги на наркотики, приходя со своим приятелем Расселом в «Маркс и Спенсер». Она воровала вещи, затем приносила их обратно и возвращала за полцены. «Маркс и Спенсер» давали больше денег при возврате вещей, чем любой другой крупный магазин. Ох уж эти евреи! Они понимали, что это лучший способ справиться с воровством. Итак, пятьдесят процентов еврейства, пятьдесят процентов возврата — такова моя Нэтти.

Пока она клацала стоптанными каблуками дешевых пластиковых ботинок, я успела рассмотреть, что у нее довольно приличные черные колготки — во всяком случае, спустившихся петель видно не было. Она спросила дорогу у медлительного человека в мешковатом костюме. Мелкая похоронная сошка уставилась на нее плотоядным взглядом. Наташа пошла дальше. Я последовала за ней.

Катафалк стоял у дверей часовни. Он показался мне самым обычным. Славно. Гроб тоже был до-

статочно простым. Ни цветочных подношений, ни венка, формой напоминающего стульчак. Никакого самого простенького букетика в мою честь. Четверо наемников взяли фоб и взгромоздили на свои ненадежные плечи. Кто бы мог подумать, что старая кошелка столько весит? Они слегка пошаркали похожими на ортопедические, тупоносыми ботинками от Фриман Харди энд Уиллис. Поправили фоб своими здоровенными ручищами. Затем потащились вперед. О, тяжкая смертельная поступь!

«Ско-ре-е в церковь иде-о-ом венчаться!» — завопил литопедион в кармане моего пальто. Я уняла его, прошла вперед, опустилась на одно из сидений в задней части зала. Нэтти стояла на два ряда впереди меня, покачиваясь в узком проходе, в то время как служащие похоронной конторы торжественно взгромоздили мой гроб на постамент, в котором, насколько я помнила по предыдущим визитам, скрывалась лента конвейера.

Затем — ничего. Или, как сказал бы Фар Лап, «ничего». То есть огромная пустыня ничто, запредельная тундра, почти исчезнувшая степь. Ни молитв, ни музыки, ни цветов, ни слез, ни-чего. Могильщики стояли, выстроившись в передней

части часовни, демонстрируя неприхожанам свои четыре слоновьих задницы. Вскоре один из них вернулся туда, где стояла Нэтти, и сказал ей что-то на ухо, она ответила ему тоже шепотом. Этот тяжелоатлет-служитель смерти прошагал через холл и, не пытаясь скрыть, что делает, нажал потайную кнопку. Лента конвейера вздрогнула, натянулась и потащила свой печальный груз за кулисы налево. Сцена пустеет.

Наташа быстро прошла мимо меня. Мне удалось разглядеть крошечные, как булавочные головки, зрачки, белую, как бумага, кожу и потрясающие скулы, и вот уже ее нет. Что она видела? Ни-чего. Я подождала, пока удалились гробовщики, потирая руки, вытаскивая пачки «ВН», затем прошла вперед и обогнула конвейер, там и оказалась ожидаемая дверь.

Говорят, людям на пользу увидеть еще раз перед захоронением тела тех, кого они любили. Помогает окончательно убедиться в том, что мертвый мертв. Испустил дух. Покинул этот мир. Возможно, мне пойдет на пользу увидеть грабеж, который я давно предчувствовала. С моим трупом, освобожденным от соснового чехла, не церемонились. Дешевка-гроб снова был водружен на катафалк и вернулся в демонстрационный

зал, словно подержанный автомобиль с чередой беспечных владельцев. Как известно, нет ничего более утешительного, чем утвердиться в одном из давних предубеждений. За кулисами двое одетых в комбинезоны мужчин, косивших под англичан, занимающихся мирным физическим трудом, проверили печати, документы, бросили взгляд на круговые шкалы большой бормочущей печи; затем, даже не посмотрев, как лежит на ленте тело, открыли дверцы, нажали еще одну кнопку, и *оно* исчезло. Оно, заметьте. Не я — оно.

Ждала ли я, что еще кто-нибудь будет присутствовать на этом костре? Рассыпая бенгальские огни эмоций, озаряя округу фейерверками чувств? Нет, не особенно. Хотя меня удивило отсутствие мистера и миссис Элверс. Я предположила, что у них назначена важная встреча — они были людьми такого сорта. Встречи для них были чрезвычайно важными торжественными церемониями. До такой степени, что спроси любого из них во время вечернего чая, не хочет ли он ломтик кекса, каждый ответил бы: «Нет, спасибо, у меня важная встреча в ужин». Из-за этих важных встреч оба они набирали вес; и по мере того, как время шло, а сеть «Бумажных обрезков» ширилась, чета Элверсов становилась все толще.

Да, в это теперь уже солнечное утро скорбеть было предоставлено Нэтги. Под платанами с их танцующими листьями, среди цветущих вишен и яблонь, она казалась удивительно красивой и до смешного русской. Она ждала около небольшой конторы, которая, как и все кругом, была крепко сложена из темного кирпича Дахау. Могильщики погасили сигареты и направились к своему катафалку, но один из них задержался, заметная складка перерезала его лоб. Хотел ли он утешить Нэтти или ударить? Или и то и другое — эта девушка могла вызвать любое желание. Он еще помедлил и вздрогнул.

А что же Нэтти, плакала ли она? Нет, не плакала, и это меня взбесило. На долбаных похоронах Йоса она плакала. Признаться, тогда ей было всего десять лет, но ведь сейчас-то — это ее родная мать. Ее муму. Источник ее собственного бесподобного нарциссизма, ее капризного обаяния, ее безудержных потребностей. Как могла она не уронить ни слезинки? Неужели трудно было выжать из себя такую малость? Впрочем, я *знаю,* что она была печальна, вполне печальна для своей проклятой натуры. Несчастна, как не знаю кто. Невероятно одинока. Или она гоже была как Йос? Еще один хренов Йос, его лицо, как фреска,

написано по сырой штукатурке *на оборотной стороне* ее собственного. Похоже, так.

После получаса ожидания ей принесли урну Ну, не совсем урну, скорее огромную пластиковую банку «Нескафе» бронзового цвета с завинчивающейся крышкой. Она взяла эту нескладную штуку, как младенца, на руки, тонкие, исколотые так, что живого места не осталось, поношенные перчатки крепко сжали крышку ее дорогой мамочки. Повернулась и ушла, назад по Хуп-лейн, так и не заплакав.

Теперь я думаю, она была ошеломлена и героином, и шоком от всего пережитого. Наркотик непременно должен был затормозить ход колесиков ее тончайшей работы механизмов. Но при всем том — *совсем* не заплакать! Да, это пробило мою бесцветную, лишенную запаха, бесчувственную тупость безразличия. Я примеряла ярость, словно шляпу, и она почти-почти мне подошла. Я осыпала проклятиями свою наркоманку — дочь. Я закурила сигарету и, вдыхая табачный дым, вспомнила слова гораздо более известного курильщика, чем я. Камю, погибшего в сорок семь лет в автокатастрофе. «Если человек не плачет на похоронах своей матери, мир должен отрубить ему голову». Именно, Берт, именно. А как быть с

дочерью? Эта мысль заставила меня вздрогнуть. Заставила вздрогнуть.

Рождество 2001

Я дрожу. Здесь холодно. По какой-то причине перед тем, как все это случилось, Риэлтер открыл в кухне окно. Перед тем, как он медленно повалился на пол. Я стою здесь голодная, замерзшая и совсем не плачу. Я гляжу вверх на оборотную сторону листьев отвратительного вьющегося растения. По каким признакам можно понять, что дом нежилой? Если вьющиеся растения обвивают его кругом, захватывают своими сильными побегами. Этакий приручeнный день триффидов.[22] Возможно, вьющееся растение захватит этот дом, теперь свободный от всех, если не считать малышки меня? Несомненно, нечего и говорить о желании какого-то симбиоза с его стороны — оно поселилось в углу и имеет самый мерзкий вид, полностью усвоив три капли жидких удобрений и несколько сомнительных поливок тепловатой водой из-под крана — ожидается свирепая война растений-паразитов. Вьющиеся растения против всех.

---

[22] Примечания: 22
«День Триффидов» — фантастический роман Джона Уиндема.

Конечно же, Ледяная Принцесса поливала его, ухаживала за этим довольно безобразным украшением дома. Еще одна нелепая попытка преуспеть в домоводстве. Спустя какое-то время я постараюсь забраться наверх и посмотрю на нее — но не сейчас. Сейчас мне достаточно стоять здесь, под вьющимся растением, в углу. Если я повернусь, то увижу средоточие проводов, идущих из задней части телевизора, которые когда-то соединяли его с усилителем, плеером для CD, магнитофоном, проигрывателем и колонками. Со всеми техническими музыкальными аксессуарами в этом самом немузыкальном из домов. В доме, где царит мрачная тишина. Забавно, они цеплялись за эти черные ящички проигрывателей, пока могли, но сейчас они умерли — и их музыка тоже. По крайней мере, Ледяная Принцесса и ее возлюбленный не могут включить телевизор.

Но я забыла — здесь нет электричества.

ГЛАВА 10

Я всегда относилась к дочерям с холодной объективностью, быть может, потому, что рано потеряла любимого сына. Но после смерти превзошла самое себя. К тому же перспективы, открывшиеся передо мной после перехода в порошкообразное состояние — вид из банки «Нескафе», — помогали скорректировать увиденное из Далстона. Каждый, кто прикасался к пластиковой банке с моими останками или хотя бы смотрел на нее, уносил с собой саркастическую пылинку моего праха.

Благоуханным майским утром 1988 года Наташа Йос решительно шагала по Хуп-лейн. Всего лишь час назад она покинула дом на Сентрал-сквер. Длинное здание в ложном стиле эпохи Регентства, обманчиво солидное, но, безусловно, добропорядочное, где она провела последние ночные часы, сидя полуголая на краю супружеской постели незнакомого мужчины. Наташа встретилась с ним у Рассела, в Кентиш-Тауне, где он покупал кокаин. Его жена с детишками куда-то уехали, и этот безымянный да так и оставшийся безымянным мужчина притащил Наташу

к себе домой, вообразив в кокаиновом бреду, что сможет ее трахнуть. Наташа в этом сомневалась — и была права. Утром ей надо было оказаться в северной части Лондона, так почему не извлечь двойной выгоды?

Мужчина возлежал на супружеском ложе, время от времени теребя вялые гениталии под мелодраматические вопли Фила Коллинза, несущиеся из спрятанных колонок:

…О, Господи!

Полуобнаженная Наташа сидела на краю постели, чтобы женатый мужчина мог получить необходимое визуальное подкрепление, и нюхала остатки кокаина. Она перемежала обычные дозы с ударными, держа в руках большой кусок фольги, который оторвала от толстого рулона, обнаруженного в непорочно белой семейной кухне. Ей оставалось только снять траурный свитер, траурную блузку и траурный черный бюстгальтер от «Маркс энд Спенсер», чтобы незнакомец увидел то, что хотел. Ах! Какая прелесть. Какая высокая грудь, какие длинные розовые соски, какая гладкая спина. Какая *жалость,* что он был уже под кайфом и не заметил свежих розовых точек на сгибах ее рук. Какой *стыд,* что он, разомлев от кокаина и «Реми мартен», не настоял, чтобы она

стащила черную юбку и черные колготки, тогда его глазам предстало бы поистине ужасающее зрелище — расцарапанная в кровь нижняя часть тела. Так Наташа изливала ненависть на половину себя. Но он не настоял.

Теперь же Наташа с урной от «Нескафе» в руках стучала латунным молотком в большую белую дверь и ждала, пока прибежит женатый мужчина. Что он и сделал, мгновенно очнувшись от тягостного наркотического сна и вспомнив *все* случившееся накануне. А вдруг это жена с детишками вернулись раньше времени? Он натянул брюки, рубашку, пинком ноги отправил остатки наркотиков под кровать и, спотыкаясь и пошатываясь, бросился к входной двери. Но нет, то была вчерашняя девка.

— А-а? Ч-что? — с трудом выдавил он из себя в прохладный весенний воздух. Мужчина был растерян. В последний раз он видел ее полуголой, сейчас она была при полном параде, со странным сосудом в руках. — Что это?

— Моя мамочка, — язвительно ответила она. — Ей нужно взять такси… и мне тоже. До Риджентс-парка. Дайте мне денег и вызовите такси. Не бойтесь… Я посижу на лавочке. — Она махнула в сторону черным рукавом.

Мужчина боялся того, что скажут его по-матерински заботливые соседи, рыскавшие по площади, вынюхивая порок.

— Н-но… Я думал… Что?

— Не надо думать, действуйте, — отрезала Наташа. — Давайте деньги.

Он сунул руку в карман и вытащил бумажку в десять фунтов. Наташа повернулась на синтетических каблуках, перешла дорогу и уселась на скамейку. Он вызвал такси и, набирая номер, думал — совершенно справедливо, — что легко отделался.

В роскошной квартире на Камберленд-террас Наташу ожидала странная троица: смертельно растолстевшие Элверсы и бессмертная, тощая, как угорь, Эстер. Предчувствуя важность момента, они говорили немного. Все трое сидели за большим круглым сосновым столом с большими круглыми фарфоровыми чашками в руках. И наслаждались домашней обстановкой, чему способствовала изрядная порция гормонов роста. Чтобы не испытывать разочарования.

Накануне между Наташей и Шарлоттой произошла привычная перебранка по поводу кремации. Эстер желала на ней присутствовать, и Шарли не видела к тому никаких препятствий. Да — нет,

да — нет, должна — не должна, пускай — ни за что на свете и так далее, заунывная шарманка сестринской ссоры.

— Если она поедет, я останусь! — простонала Наташа. — Муму ее не выносила, и я тоже. Муму была бы категорически против ее присутствия, и я тоже. Если она поедет, я останусь — и ты *знаешь*, как отнеслась бы к этому муму!

Шарли зарыдала на мягком плече мужа, стукнула пухлой рукой по полосатому дивану, но наконец сдалась. Она решила, что не может оставить Эстер. Что лучше покориться судьбе и отсидеться дома.

Услышав блеяние домофона, Шарлотта пошла посмотреть в телекамеру на сестру. В каком виде та явилась? Но, разумеется, Наташа выглядела прекрасно в черной шляпке без полей — в эдаком дьявольском токе. Пока Наташа поднималась по широким, устланным ковром ступеням лестницы, вся троица собиралась с духом.

— Нужно ее приободрить, — предложил Ричард Элверс жене и тетушке, — ей много пришлось пережить. Как и всем нам.

Но Наташа не нуждалась в подбадривании.

— Где ты болталась, черт бы тебя побрал? — рявкнула она на сестру, игнорируя зятя, в упор не

видя тетку, и опустила свою упрятанную в банку мать на пушистый ковер.

— Н-но ты… Ты… — только и сумела выдавить из себя Шарлотта.

— Что я? *Что?!*

— Ты… ты же сказала, что пойдешь одна. Что хочешь пойти одна. Я сделала так, как ты…

— Что? Что ты сделала? Сидела здесь! С этой… этой… *сукой!*

Возможно, вам показалось, что Наташа *и впрямь* зашла слишком далеко, но это было не так, иначе элегантные апартаменты — в соответствии с замыслом Наташи — превратились бы в еще один зал ожидания на неподвластном времени острове Эллис, битком набитом перевозбужденными евреями. Однако Эстер не стала ни падать в обморок, ни кричать, то есть действовать в англо-саксонском духе, она беззастенчиво взобралась на подмостки сцены, чтобы принять участие в спектакле, разыгранном ее артистичной племянницей.

— Ой, фейгеле! — запричитала она. — Моя маленькая Нэтти! Ой! Иди сюда, дорогая. Не кричи так. Ты потеряла мать, тебе так тяжело, так тяжело… — Она проворно поднялась, приблизилась к Наташе, и две тощие еврейки обнялись на глазах

у толстых гоев. Кровь свое возьмет, и все такое прочее.

В довершение всего они закурили, Нэтти с Эстер. Они курили долго, с наслаждением. Шарлотта с Ричардом давно бросили курить. Они принадлежали к той категории людей, которые отказываются от чего бы то ни было по меньшей мере дважды. Трудно сказать, когда они снова начали курить, чтобы бросить еще раз. Они бросили курить, пить, есть и — как ни грубо это звучит — думать. Но им пришлось терпеливо ждать, пока непутевая сестра и тетушка курили и пили чай, распалив друг друга до такой степени, что переполнявшим их чувствам было тесно в огромной квартире с высоченными, будто в самолетном ангаре, потолками, массивной лепниной и тяжеловесной мебелью восьмидесятых годов, впавшей в буйство всех мыслимых пастельных оттенков. Эстер с Наташей курили, всхлипывали, а в пепельнице, напоминая сгоревшую пагоду, росла груда длинных, со следами помады окурков. Пепел муму был водружен на место.

Быть добродетельным непросто, поэтому добродетельные персонажи в конце концов ретировались на кухню, где, опершись своими мягкими задами на плиту и стол, стали обсуждать, что

делать с Нэтти — явно потерявшей над собой *контроль.* (Сказать по правде, Нэтти потеряла его уже давно, просто сейчас, после смерти муму, Элверсы решили возложить ответственность на себя. И совершили большую ошибку.)

— Я взял два дня отпуска, — сказал Ричард, и его лицо сделалось розовее обычного, а русые волосы от волнения встали дыбом. — Но если нужно, я возьму больше, — торопливо добавил он.

Напрасно он боялся огорчить жену. Имплозивная смерть матери принесла Шарлотте достаточно хлопот, и она не хотела продолжения.

— Дорогой, я знаю, о чем ты думаешь, — ответила она, — но Эстер скоро уедет, ей хочется побыстрее вернуться в Нью-Йорк… а вот Наташей следует заняться. Пускай она пока поживет у нас, ей нужно отказаться от наркотиков. Я говорила с доктором Стилом, и он связался с одним из своих коллег. Если нам удастся продержать ее здесь денек-другой, ее положат в психиатрическое отделение.

— Ты думаешь, это разумно? Думаешь, она согласится?

— Нужно попытаться… мы должны попытаться. Я вызвала Майлса. Быть может, ему удастся ее уговорить.

Прошло два часа, в пепельнице скопилось больше сорока окурков, и только после этого Эстер и Наташа разошлись по соседним спальням. Героин давно был выведен из организма Нэтти, а кокаин — давно принят. Уже не важно было, на каком конце наркотических качелей она оказалась — ее еще покачивало от коротких приступов истерики. У нее не осталось ни гроша, иначе ей в голову бы не пришло заночевать в этом сельском, хотя и расположенном в центре города, особняке с его дородными коренастыми лакеями. Правда, Рассел мог бы дать в долг, но в последнее время он предъявлял к ней все более странные требования. До того странные, что Наташе никак не удавалось настолько очерстветь, чтобы не чувствовать себя *омерзительно.* Она понимала, что нужно побыстрее уйти от сестры, что скоро она окажется совершенно беспомощной — качели вот-вот остановятся.

Она улеглась на латунную полуторную кровать Эл версов. Свернулась под стеганым одеялом и мгновенно вырубилась. Героин — какое емкое слово, блестящий пример психического звукоподражания. Наташа Йос сидит на героине. Как верно и как *точно.*

Когда Наташа семь часов спустя проснулась,

Эстер и след простыл. Эстер, проворная старая птица, уже летела обратно в США. Эстер Блум, женщина без возраста, летела рейсом «Бритиш эруэйз» из Хитроу (На мой взгляд — это лучшее место в Англии, вы-понимаете-о-чем-я-говорю?). Стебелек ее тела покоился в роскошной вазе первого класса, она пила принесенную стюардессами воду, шуршала листами последнего номера «Форчун», вычеркивая из памяти последние несколько дней. Она взяла тайм-аут, чтобы присутствовать на похоронах младшей сестры, оставила ненадолго своих брокеров, бухгалтеров, арендаторов, друзей, комитет при музее «Метрополитен», любимых собачек, дрессированных педерастов и весь остальной манхэттенский зверинец, прогонявший тоску. Помогавший ей оставаться на плаву, жить в настоящем, не погружаясь в безысходное прошлое, подобно бедняжке Лил, постоянно возвращавшейся назад, словно что-то можно изменить. И к чему это привело? Только к ложному шагу, к падению в подвал, в хаос памяти. Их родители… их проклятые родители. Ах! Какая претенциозность! Какая глупость! Отказаться от своего народа, своей религии, своих грехов и ошибок? И ради чего? Ради какой-то ерунды. И Лили, бегущая по жизни с вечным

пламенем расовой вражды в руках. Она принесла его сюда, на этот промозглый остров, где стала вдовой какого-то унылого англичанина. И вот теперь она мертва, убита ядом собственного несоответствия.

Лили всегда вела себя по-идиотски — Эстер никогда. Эстер ходила в синагогу, жертвовала на Б'най Б'рит,[23] ездила в Израиль, плакала у Стены, рыдала в Яд Вашем.[24] Эстер не просто смирилась с тем, что она еврейка, она это приняла. Лили всегда старалась скрыть это от мира. «Знаешь, — призналась она однажды Эстер, когда они были еще так молоды, что могли серьезно говорить друг с другом, — ведь я не отреагирую, если какая-нибудь свинья сделает антисемитское замечание». Эстер громко расхохоталась. «Если кто-нибудь решится сделать антисемитское замечание при мне, то получит по жопе!» И вот Лили мертва из-за всей этой язвительной ненависти к себе, этих фобий, никчемных мужей и занудных детей — а Эстер? Эстер собиралась жить вечно. Она закурила еще одну сигарету и осталась такой, как была.

---

[23] Примечания: 23
Еврейская организация.

[24] Примечания: 24
Музей-мемориал жертвам Холокоста в Иерусалиме.

Майлс с Наташей сидели порознь и плакали во второй свободной спальне Элверсов. Несмотря на поздний час, филиппинка Молли пылесосила за стеной, пытаясь вывести оставшийся после Эстер запах женщины без возраста. Запах копоти и вяленого мяса. Казалось, кто-то душит робота.

Они плакали порознь, потому что больше не могли ничем заниматься вместе. Сейчас Нэтти для этого не годилась: тощая, неопрятная, вся в поту, прядь черных волос прилипла к щеке, на которой остался след от подушки, ногти обгрызены до мяса — только потому она не расковыряла болячки на ногах. Какая метаморфоза! — лицемерно думал Майлс. На самом деле, когда он занялся с ней любовью впервые, а после проделывал это еще много раз, Наташа выглядела точно так же. Крепкий, мускулистый, пахнущий мылом, он прижимался к ее порочному телу с надеждой, что в каждой точке их контакта его энергия перетечет в нее. Он слегка отстранялся, и его электрический рот, двигаясь между ссадинами, огибая болячки, направлялся к влагалищу.

Во время этих франкенштейновских сеансов Наташа лежала почти недвижно, только слегка удивлялась своему запоздалому оргазму. К тому же Майлс обожал ее, восхищался ею, вызволял

из тюрьмы, или из лап других мужчин, или из грязных канав. Это было его ремесло, его *metier.*[25] Он был приучен к этому с рождения. Наташа позволяла Майлсу любить себя, словно некий изящный механизм, движущей силой которого было потворство своим желаниям. А чтобы трахнуться по — настоящему, без занудства, она шла к Расселу, с его сутенерским членом и неотразимой внешностью — ястребиным лицом, оливковой кожей и каштановыми кудрями. К Расселу, с его бесконечной скороговоркой, врожденным анархизмом, сексуальной аморальностью, от которой бросало в дрожь, с его необузданностью и безрассудством, к Расселу, который был так не похож на добряка Майлса.

Итак, Майлс плакал сам по себе, а Наташа — сама по себе, и наконец Майлс заговорил о том, что его волновало:

— Нэтти… Шарли, Ричард и я…

— Что? — мгновенно отреагировала Наташа. Подобный союз казался крайне подозрительным.

— Мы говорили, что, может, тебе стоит пройти детоксикацию, теперь… когда муму умерла? — Не

---

[25] Примечания: 25
Специальность (фр.).

слишком удачное начало, Наташа слишком эгоистична, чтобы самой что-то делать для себя. Ее интересует только то, что могут сделать для нее другие. Но чтобы это понять, Майлсу не хватало тонкости, и он продолжал, не замечая свирепого взгляда Наташи: — Шарли говорила с администрацией больницы, тебе дадут там место… даже отдельную палату. Детоксикацию проведут хорошо, не слишком быстро. Тебе не будет тяжело…

Майлс осекся, потому что Наташа кошачьим движением соскочила с кровати и, увернувшись от его протянутой руки, принялась подбирать с полу черные пластиковые ботинки и черную сумочку, набитую скомканной фольгой и косметическими салфетками.

— Нэтти… что ты делаешь? Дурочка… разве ты не понимаешь…

— Сматываюсь отсюда… из этой клиники.

— Нэтти… Нэтти…

— Что «Нэтти»? Испугался, козел?

— Ты нездорова… — Ему не пришлось продолжать, потому что Нэтти согнулась пополам и ее стало рвать. Лоб упирался в ковер, словно неизвестная смертельная болезнь застала ее как раз в тот момент, когда она его расстилала, пальцы скребли и царапали ворс. — О, Нэтти, Нэтти…

Любовь моя.

Она позволила ему перенести себя обратно на мягкую, смятую постель. Позволила нежно отвести волосы с нахмуренного лба, стереть липкую слюну с острого подбородка.

— Я не могу, Майлс, — простонала она. — Не могу… Не могу, и все… А без муму тем более… Ох… Ах… Не могу. Мне нужно что-нибудь принять… что угодно… *Нужно, черт побери, очень нужно!* — вопила и стонала Наташа Йос.

Именно тогда, когда бедняге Майлсу удалось оказать ей некоторое сопротивление, он доказал, что целиком заслуживает своей участи.

— Нэтти, если ты останешься здесь, у Шарли с Ричардом, я дам тебе вот это… и вот это. — Да, это были наркотики. Одной рукой он извлек из кармана неизменной черной куртки маленький коричневый пузырек метадона. Обалденный наркотик — у обалдевшего парня. Заменитель героина, полученный немцами во время войны и названный в честь фюрера долофином.

Итак, Майлс лечил изможденную еврейку-наркоманку особым нацистским лекарством. Но не только им, ибо в другой руке появился крохотный флакон швейцарского валиума. Первый пузырек находчивый Майлс приобрел у своей матери

Изиды, второй — у жившего над ним наркомана. Ему было противно это делать. Нет, не противно.

Наташа выхватила оба пузырька, скорчилась, защищая свое богатство, свинтила крышки, запила таблетки микстурой, швырнула обе бутылочки на пол и откинулась на подушки.

Майлс наблюдал эту сцену с притворным ужасом.

— Двадцать кубиков, — пробормотал он, гладя ее по волосам. Он знал в этом толк — как ему и полагалось, верно? Хороший мальчик, на последнем курсе юридического колледжа, ему бы здорово влетело от властей, узнай они, что он сделал. — Тебе хватит этого на сутки. Атеперь поспи. Я дам тебе еще, Нэтти, но только если ты останешься здесь и в пятницу повидаешься с врачами. Пожалуйста. — Ему не стоило прибегать к дежурным просьбам, потому что Наташа спала; или делала вид, что спит; или не слушала; или и то, и другое, и третье вместе.

Наташе Йос, погружавшейся в сон, на время удалось забыть об ужасной смерти любимой мамочки. Удалось ускользнуть от фурий своего пристрастия к наркотикам — мстительных, несговорчивых, безжалостных. Она тихо лежала, а тем временем лекарство проникало в ее

изношенное молодое тело, превращая грязную кровь в дистиллированную воду, возвращая изнемогшей плоти восковую непорочность. Дождалась, пока слезливая чувствительность — ей вдруг захотелось поцеловать милое лицо Майлса — перейдет в слезливое воплощение любви. В эти моменты полудремы, когда наркотическая волна выносила ее из океана депрессии, Наташа становилась такой, какой ей всегда хотелось быть — тоненькой девушкой, чья красота еще не подверглась разрушению. Сексуальной? Да. Но не той продажной Харибдой, в которую она быстро превратилась — высасывающей мужчин, обвивающей длинные ноги вокруг их туловища столько раз, сколько на свете есть смертных грехов. Нет, просто сексуальной. И свободной — не как отпущенная на волю лошадь или сошедший с рельсов поезд, но способной на постоянные волевые усилия.

Способной к концентрации и творческому самовыражению, способной создавать огромные великолепные фрески, видевшиеся ей, пока она погружалась в сон. Фрески на потолке — именно на потолке воплощались Наташины мечты о живописи, потому что все ее амбиции возникали лишь тогда, когда она находилась в лежачем

положении. И все же, какие дивные фрески! Богатейшая новая мифология! Смелость композиции! Четкость линий! Яркость красок! Какая жалость, что в результате обмена веществ они неумолимо выцветали, и, открыв залепленные гноем глаза, Наташа снова сталкивалась с мучительно неуверенной, дрожащей линией собственной жизни. С древним как мир реализмом.

Сгустились сумерки. Наташа посапывала на подушке. Майлс придвинул кресло с высокой спинкой к окну. Когда над зоопарком опустилось солнце и гиббоны — за неимением людей — стали передразнивать друг друга, он достал из кейса книгу, которая едва там умещалась. И начал читать с того места, на котором остановился рано утром — о гражданском праве.

Пепел Лили Блум покоился в большой пластиковой банке бронзового цвета, в шкафу, стоявшем в нише гостиной Элверсов. Лили всегда хотелось жить где-то между этим местом и Оксфорд-стрит. Только эта часть Лондона хотя бы отдаленно напоминает регулярную планировку — словно крохотный сетчатый пластырь из американского антисептического набора, наложенный на инфицированную сердцевину «Исполинского

нароста».[26] Можете не сомневаться, что от Лили не ускользнула ирония ее последних странствий. Сначала ее труп перевезли на север, в Кентиш-Таун, где он два дня хранился в гигантском выдвижном ящике в похоронном бюро, потом его повезли еще дальше на север, потом сожгли, а потом этот пепел принесли сюда нетвердыми шагами и поместили в смехотворной близости от Королевского госпиталя ушных болезней. Да, Лили Блум оценила эту иронию — есть основания полагать, что в Англию она перебралась прежде всего, чтобы на себе испытать гнетущую иронию этой страны. Изжить свои внутренние конфликты, которые слишком драматизировала, разыграть их в театре, где можно рассчитывать на искренний смех зрителей. Хотя и запоздалый.

Квартира Элверсов на Камберленд-террас была приобретена в рассрочку на двадцать пять лет, поэтому она оказалась не такой уж дорогой, как можно было бы ожидать. Но все же это был 1988 год, когда цены на недвижимость в центре Лондона достигли заоблачных высот. Налог на любую лачугу в этом районе вырос на сто процентов. Итак, с учетом выплаты этого разорительного

---

[26] Примечания: 26
Одно из названий Лондона.

налога, отравившего Лили — наряду с Разбойницей — последние дни жизни; с учетом выплаты налога на наследство; с учетом закладной на квартиру на Бартоломью-роуд; а также с учетом того, что Лили никогда не удавалось откладывать деньги, ей пришлось довольствоваться арендой шкафа, в котором ее прах простоит ближайшие пять лет. Мертвым нужно гораздо меньше места и иронии, чем живым.

Тем временем в главной спальне Элверсов занимались сексом. Этот акт не был радостным утверждением того, что они живы, тогда как сероватое «Нескафе» за дверью мертво; или дерзким утверждением супружеской верности перед лицом неверных любовников в соседней спальне. Нет, они *имели* половое сношение, *обладали* друг другом, как обладали двумястами отделениями «Бумажных обрезков», тремя домами (в Лондоне, Норфолке и Альгарве) и четырьмя машинами (его «мерседес», ее «вольво», их «рейндж-ровер» и маленький «сеат» на юге), пятнадцатью ценными картинами (Джаспера Джонса, Лихтенстейна, даже Уорхола — чей модернизм по-американски консервативен), двадцатью пятью старинными гравюрами и множеством, множеством, множеством других вещей. У Элверсов было несколько

вешалок для кружек — и этим все сказано.

Итак, Элверсы, пухлые, как их гигантское стеганое одеяло из стопроцентного гагачьего пуха, резвились на кровати, которая пришлась бы впору папе-медведю и маме-медведице, хотя они уже отчаялись стать папой и мамой. Они имели половой акт в свойственной им манере, в какой им хотелось бы иметь ребенка-медвежонка — растить его в полной безопасности, холить и лелеять, давая все необходимое в виде жидких, как овсянка, ласк. Шарлотта — как я уже говорила — была осанистой женщиной: ширококостной, розовой с ног до головы, пышногрудой, с сосками с чайное блюдце, гривой светлых волос и квадратными плечами. И Ричард был достаточно крупным мужчиной, чтобы покрыть своим веснушчатым телом, всей бело-рыжей громадой, этот материнский потенциал.

Любопытно, что у Ричарда Элверса был такой же рот, как у Йоса и Шарлотты, та же красная турбина вместо губ. Невозможно было без страха за их потомство наблюдать, как они высасывают друг из друга слюну — под действием наследственных факторов этот признак мог бы закрепиться. Был вечер, и Элверсы занимались сексом. Шарлотта, глубоко изучив вопрос, при-

шла к выводу, что секса не может быть *много,* если речь идет об изготовлении новых Элверсов. Что *vas deferens* Ричарда, подобно сморщенному коричневому вымени, будет тем больше наполняться маленькими Элверсами, чем чаще его доить.

Мало того, утром Шарлотта посетила еженедельный сеанс рефлексотерапии. И старый хиппи из Новой Зеландии, практиковавший на Харли-стрит, размял ей ступни, чтобы ее эндокринная система обрела ту же гармонию, что и его портфель с акциями. Не говоря уже о травах, которые Шарлотта регулярно жевала, цветочных отварах, которые она регулярно хлебала, бальзамах, которые она регулярно нюхала, и иголках, которыми ее регулярно пронзали — все в целях регулярной овуляции. Неудивительно, что у этих регулярных секс-встреч был особый распорядок. Особый, ибо эти встречи приходились на самые благоприятные для овуляции три дня — Шарлотта точно вычислила дату, ибо регулярно вела дневник менструального цикла, постоянно измеряла температуру и с зоркостью ястреба следила за цервикальными выделениями. Особый, ибо их движения были безупречно синхронными, чтобы как можно больше крошечных угрей-элверсов из

его Саргассова моря приплыло в ее внутренние воды.

Не важно, находилась ли Шарлотта снизу или сверху — она обычно предпочитала последнее, — главное было не двигаться после того, как они кончали. А они обязательно кончали. Реализовывали оргазмы, подобно планам продажи в каждом из двухсот карточных домиков своей бумажной империи. Им было предписано достигать оргазма, по возможности одновременного, с первой попытки — генеративному бульону не полагалось вариться слишком долго, при этом в сам момент оргазма Шарлотте следовало распластаться на матрасе, задрав ноги выше головы. В этот природный процесс вовлекались все природные силы — включая гравитацию.

Ричард тоже старался, как мог. Правда, *мог* он не так уж много. Во всяком случае, к его телосложению не подходили облегающие плавки. Он, как и подобает прирожденному помещику, носил трусы и мешковатые вельветовые брюки. Он свел свои коммерческие обязательства до минимума, ослабив деловую хватку, чтобы регулярно заниматься сексом. Регулярный секс, увы, требовал регулярного питания. Признаться, никто из Элверсов не думал о внезапных приступах обжор-

ства, во время которых поедалась гора бисквитов, как о регулярных. Напротив, эти приступы были крайне нерегулярными, незапланированными и необдуманными. Но случались часто. Даже если в холодильниках, шкафах и морозильниках, стоявших в их трех домах, было пусто, то разной вкусной жратвы с лихвой хватило бы на откорм нескольких свиней. Толстые Элверсы научились есть незаметно для себя. Они и сами не осознавали, что делают. Их крупные руки непроизвольно тянулись ко рту. Часто они обнаруживали, что прикончили очередную коробку печенья, только ворочаясь на пухлой постели и чувствуя, как жесткие крошки впиваются в их мягкие тела. Их можно только пожалеть — или не жалеть совсем.

Несколько дней Наташу продержали в химической смирительной рубашке. Это оказалось губительным для мебели и нервов Элверсов, и без того расстроенных смертью Лили. Наташа не могла понять, почему ей так паршиво, несмотря на маленькие коричневые пузырьки, которые приносил ей Майлс. Тогда она еще не знала, что коварный законник с каждым разом все сильнее разбавлял дозу водой. Наташа перетащила к себе портативный «Тринитрон» и водрузила

на кровать. Приволокла телефон и принялась названивать единственной оставшейся у нее подруге, которая жила в Австралии — наговорив, естественно, на кругленькую сумму. Она прожгла сигаретами дыры в ковре, одеяле и простынях. Совершила набег на бар Ричарда и вылакала шерри-бренди, «адвокат» и шартрез — а после ее вырвало на дорогие персидские ковры. Она не мылась. Мешала Молли убираться, вовлекая в бесконечные дискуссии о домашней эксплуатации. Она позволяла Майлсу остаться на ночь, но только в кресле у окна. Если б она могла, то гоняла бы его на корде.

Наташу не стоило информировать о планах семейства на ее счет — это Элверсы понимали. Наташа с Лили были двумя тяжелыми шарами на цепочке, какими гаучо ловят скот; они со свистом мчались в пространстве, свирепо обвиваясь вокруг бегущих ног мира. Теперь, когда Лили не стало, Наташа растерялась.

Доктор Стил давно раскусил Наташу. Его стальной характер был психологическим скальпелем, которым он вырезал опухоли ложных чувств.

— Она может лечь в больницу и пройти детоксикацию, — заявил он Элверсам. — Но через две недели, когда ее выпишут, она снова примется за

старое — это я, к сожалению, могу гарантировать. Как вы относитесь к тому, чтобы поместить ее в реабилитационный центр?

— А это сработает? — спросила Шарлотта, словно речь шла о новой системе бухгалтерского учета.

— Может, да, а может, нет. Смерть вашей матери должна сделать ее более уступчивой, более восприимчивой.

— Сколько она там пробудет?

— Ну, насколько мне известно, первая часть программы занимает около двух месяцев, потом, если у нее есть подходящее окружение, ее могут выпустить, но ведь такого окружения у нее нет, верно?

Шарлотта представила себе окружение младшей сестры, назвать его подходящим было никак нельзя. В нем царила такая же неразбериха, как в лагере палестинских беженцев после израильской бомбежки. Пять корзин с грязным бельем у Майлса, три у Рассела, две в квартире Лили, одна на Камберленд-террас. У Наташи не было ни денег, ни жилья, ни планов на будущее. Работа в «Хакни доге» уплыла. Пристрастие к наркотикам коварно нашептывало ей, что нужно отказаться от всего, что у нее есть.

— Гм-м… По сути дела, вы правы.

— Тогда ей придется остаться там до конца. В общем и целом, вы можете рассчитывать на то, что не увидитесь с ней полгода.

Шарлотта поняла это, как «можете рассчитывать на то, что избавитесь от нее на полгода», и едва не вскрикнула от досады:

— Она ни за что не согласится, доктор Стил. Ни за что.

— Она может согласиться, если на нее поднажать, заставить взглянуть правде в глаза… объяснить, как огорчает вас ее поведение. Как зовут ее друга?

— Майлс.

— Он наркоман?

— Нет… но он довольно слабохарактерный.

— Мне нужно знать, будет ли он вас поддерживать.

— Да, будет… Но есть еще один человек… мужчина… с которым она связана. Он может помешать нашим планам… он преступник, торговец наркотиками.

— Она поддерживает с ним связь?

— Кажется, да.

— Не знаю, что с этим можно сделать, а вот встречу с людьми, которые ведают приемом в

центр, я вам организую.

— Она к ним не пойдет.

— Не важно… они сами к вам придут. Честно говоря, миссис Элверс, они заинтересованы в финансовых поступлениях.

Финансовые поступления — эти слова Шарлотта понимала.

— Сколько это может стоить? Приблизительно?

— Это вы сможете обсудить с сотрудниками, но, насколько мне известно… полный курс лечения… обойдется тысяч в шесть, не меньше.

— В шесть кусков?!

— Я понимаю, это много, но часть суммы может покрыть Министерство здравоохранения. Миссис Элверс… Возможно, это не совсем тактично, но ваша мать, Лили, ничего не оставила Наташе?

Шарлотта нажала на пластиковую клавишу внутреннего калькулятора, который у нее работал безотказно.

— Гм… да, этой суммы хватит… Конечно, я не скажу ей, откуда деньги. Если понадобится, я получу доверенность. К счастью, я единственная душеприказчица моей матери. В подобных вопросах она была совсем не глупа.

— Похоже, вы правы.

Люди из реабилитационного центра Паллет-Грин примчались на следующий день с пугающим корыстолюбием. И с обезоруживающей прямотой сразу же изложили Шарлотте свои намерения. Прямо в прихожей.

— У нас большая очередь на места с государственной дотацией, но мы не можем их содержать без субсидий от тех, кто платит полностью, — сказала Айрин Тикстон, коренастая дама с мелкими светлыми кудряшками, в отутюженном синем костюме и с множеством коричневых бородавок на лице и шее, свисающих, словно маленькие сережки.

Ее сопровождал решительный молодой человек лет тридцати, с крупным носом, в невообразимо старомодной зеленой нейлоновой куртке, невыразимо унылых коричневых брюках и новеньких парусиновых туфлях. Он представился:

— Питер Ланд он, я проведу вступительную беседу с… — он долго рылся в папке, которую вытащил из до отвращения практичного портфеля, — …Наташей?

— Да. — Шарлотта была в замешательстве. Наташа проглотит этого парня живьем, а косточки выплюнет на ковер. Она не знала, чего ждать от сотрудников Паллет-Грин, но эти двое выгляде-

ли так, словно недавно покинули ряды Армии Христовой. Ландон, как ни странно, заметил скептицизм Шарлотты.

— Я занимаюсь зачислением, потому что кажусь мягким, но действую жестко. Два следователя в одном лице. Ха-ха! — Он неожиданно рассмеялся. — Я сталкивался с правоохранительными органами только в качестве жертвы.

Шарлотта вопросительно подняла брови.

— Я десять лет был крупным наркокурьером, меня излечила тюрьма. Все члены нашего совета бывшие наркоманы и алкоголики. Мы знаем, с кем имеем дело.

— Ясно, — пробормотала окончательно сбитая с толку Шарлотта. — Может… выпьете чаю?

— Если можно, кофе, — сказала Айрин Тикстон. — Мы с вами пока обсудим скучные административные вопросы, а Питер займется делом.

Тем временем Ландон вытащил из портфеля маленький квадратный пакетик.

— Мне немного горячей воды, если можно… У меня с собой травяной чай. Я не употребляю кофеина, он, знаете ли, слишком возбуждает.

Прошлым вечером доктор Стил посоветовал Элверсам и Майлсу провести психическую атаку. Они встали вокруг развороченной кровати, на

которой лежала Наташа, и обрушили на нее сначала свой гнев — почему она так себя ведет: лжет, ворует, мошенничает, скандалит? — а потом свою любовь. Разве она не понимает, что они переживают за нее? Хотят помочь ей исправиться? Это возможно. Но только если… если… если…

Им удалось взять ее измором, но, как они понимали, ненадолго. Они вырвали у нее согласие хотя бы поговорить с людьми из Паллет-Грин. Участие Майлса в этой процедуре ограничилось тем, что он выдал Наташе вечернюю дозу наркотиков на несколько минут позже обычного. Для психической атаки он был слишком безвольным. Он в жизни не совершил ни одного агрессивного поступка. Если бы самозаклеивающийся конверт не заклеился, Майлс распустил бы нюни. Ричард тоже не слишком усердствовал. Он недолюбливал Наташу и желал ей зла, просто из принципа. Просто потому, что та огорчала свою сестру, которую он любил. К тому же Ричарду в тот вечер предстояло предпринять атаку иного рода, которая, как он надеялся, доставит ему больше удовольствия.

Ричард надел свою старую джинсовую куртку, сел в машину и с небрежным шиком повел ее на север. Он припарковал большой синий «мерсе-

дес» на аллее за Кентиш-Таун-роуд и вынул из багажника бейсбольную биту из нержавеющей стали. У Ричарда Элверса были скрытые черты характера, он, например, любил запугивать своих конкурентов, владельцев писчебумажных магазинов в провинции. Поднявшись по ступенькам заднего входа над букмекерской конторой, он спрятал биту между двумя мусорными баками. Потом очень вежливо постучал — так, на его взгляд, должен был стучаться наркоман: «тук-тук-тук».

Неожиданно быстро изнутри раздался хриплый голос, похоже, принадлежавший крепкому человеку:

— Кто там?

— Приятель Нэтти, — ответил Ричард хриплым голосом.

— Чего тебе?

— Чего-нибудь, — ответил Ричард, надеясь, что это прозвучит достаточно неопределенно.

"Так и оказалось. Дверь распахнулась.

— Чего чего-нибудь? — Должно быть, перед ним стоял Рассел. Он оказался красивее и крепче, чем ожидал Ричард. Ростом около шести футов, с густыми темными волосами, ровно лежавшими на крепкой голове и ниспадавшими на плечи.

У него был ястребиный нос, глаза с тяжелыми веками и оливковая кожа. На черном спортивном костюме красовались олимпийские кольца — слева на груди и справа на бедре. Интересно, подумал Ричард, каким видом спорта занимается Рассел? Двухметровым спринтом по кокаиновой дорожке? Метанием миниатюрного копья в вену? Или поднятием грамма героина?

В глубине, за плечом у Рассела, зашевелилась огромная тень, от которой исходила зловещая энергия.

— Кто там еще, Расе? — рявкнула тень из темноты.

Ричард убрал бейсбольную биту из кадра — здесь требовалась более гибкая система стимулов.

— Мне нужно передать вам пару слов от Нэтти, — сказал он, обращаясь одновременно к темной фигуре и воинственному индейцу в дверях, — и деньги, которые она вам задолжала.

— Вот так чудеса! Нэтти решила расплатиться с долгами. Что ж, входите.

Рассел отступил на полшага, позволив Ричарду протиснуться в дверь тем же манером, каким выносят стол — огибая угол. Ричард зацепился пряжкой от ремня за дверь. И остро ощутил свою

уязвимость, словно нырнул в ледяную воду. Дымная духота квартиры по контрасту показалась сауной. Коридор — ровно такой длины, чтобы пятилетний ребенок мог сделать сальто, — вел в узкую комнату, по всем ее четырем стенам тянулись стеллажи на вертикальных стойках — вроде тех, на которых стоят корзинки в супермаркетах. Стеллажи шли от пола до потолка. На каждой из корзин — а их было около семидесяти — крупными буквами было написано: «НОСКИ», «ТРУСЫ», «КАССЕТЫ», «МИНЗДРАВ» и так далее. Это смешение внешнего и внутреннего подействовало на Ричарда столь же угнетающе, как педантичный порядок, жара и теснота.

Другую дверь в комнате — ведущую, должно быть, в еще более тесные клетушки — блокировала могучая фигура толстяка средних лет. Он был абсолютно лысым, если не считать русого чубчика в форме подковы, в белой футболке и брюках от давно расчлененного костюма, на его мятом гладстонском лице застыла хмурая мина. Он выглядел бы комично, если бы не длинноствольный пистолет в пухлой руке. Рядом стоял дешевый кухонный стол с электронными весами и двумя квадратными кусками полиэтилена — на одном лежала маленькая бежевая кучка шлака,

на другом молочно-белый порошок.

— Настоящий? — спросил Ричард, кивая на пистолет, дуло которого качалось над сбившимся грязным ковром. Он сам не мог понять, как у него хватило наглости, вопрос был не слишком дипломатичным.

Однако человек с круглой рожей не обиделся.

— Херх-херх, — прыснул он. — Да нет… не настоящий… копия. Но можно убрать предохранитель спереди и поставить туда настоящую заточку… Тогда он будет не хуже настоящего.

— О, — ответил Ричард.

— Один мой знакомый парень на редкость ловко управляется с заточкой, — оживился его собеседник, — вот я и купил себе несколько таких… — ствол, подобно стальному указательному пальцу, описал восьмерку, — копий.

С появлением Рассела в игрушечном домике оказалось сразу трое медведей. Рассел сел на один из пластиковых стульев у кухонного стола. Его тело напоминало дергающуюся игрушку со странным набором движений. Он вздернул одну штанину, продемонстрировав великолепные кроссовки и толстый белый носок. Вынул из кармана плоскую пластмассовую коробочку, а из нее уже наполненный диабетический шприц на один

кубик. И вколол дозу, не уступая в мастерстве доктору Стилу — роль жгута выполняли закатанная штанина и другая, согнутая, нога. Промыл пустой шприц в стоявшей на столе кружке с водой и положил назад в коробку, а коробку в карман.

— Так вот, Крошка Тони, это?..

— Ричард, — сказал Ричард, которого почему-то подбодрило странное поведение Рассела.

— Очень приятно, — сказал Крошка Тони, протягивая левую руку. Они обменялись рукопожатием.

— Ричард пришел заплатить долги этой сонной коровы… Верно, Ричард?

— Гм… да… верно.

— Так, значит, ты с ней спишь? — Рассел поднял на него глаза, в которых неприязнь соединялась с симпатией. У Крошки Тони вырвался злобный смешок.

— Гм… нет-нет… совсем не то. Я муж ее сестры.

— Вот так-так… муж сестры… Трудно себе представить, что Нэтти, эта гнусная истеричка, окружена такой заботой родственников. Что ж, и сколько ты мне хочешь отстегнуть, муж сестры?

Накануне Майлсу удалось вытянуть у Нэтти приблизительную цифру. Ричард вытащил бумажник из внутреннего кармана джинсовой

куртки. Неприлично толстый бумажник с двойным рядом кармашков для кредиток, торчавших, словно зубы в кожаных челюстях. Потом стал аккуратно вытаскивать оттуда бледно-розовые двадцатки и класть на стол рядом с беспокойно двигающимися руками Рассела. Ричард справился с этим довольно хорошо, даже с некоторым гангстерским шиком. В Ричарде Элверсе таились неведомые глубины.

Крошка Тони шепотом вел счет.

— Двадцать, сорок, шестьдесят, восемьдесят, сто, сто двадцать, сто сорок, сто шестьдесят, сто восемьдесят, двести…

— Эй… стоп! — Рассел кончил перевязывать мешочки с кокаином и героином, и они лежали, словно маленькие пакетики с едой между его худыми руками. — Это вдвое больше того, что она задолжала.

Ричард вздохнул, внезапно осознав напряженность царившей в комнате атмосферы — густой смрад враждебности. Радиоприемник на полу под столом сначала зашипел, а потом проорал: «А 37, TDA на линии… Ройял — Колледж-стрит… Вызываем подкрепление» — «Диспетчерская… Сообщение получено… едем», — и умолк. Оба торговца наркотиками не обратили на него вни-

мания.

— Да, — сказал Ричард, — ты прав. Но я хотел бы попросить тебя сделать для меня кое-что… — и, продолжая прибавлять купюры к пачке, добавил: — Вернее, кое-чего не делать. Видишьли, мы кладем Наташу налечение, реабилитацию или как там еще, и мне известно, что наркотики ей поставляешь только ты… и только ты способен помешать ее отъезду. Я хочу, чтобы ты держался от нее подальше, пока она не уедет из города…

— Что?! — завопил Рассел. — Ты посылаешь меня куда подальше? Какого черта! У меня свой бизнес…

— Нет-нет, я никуда тебя не посылаю. Я только прошу: не говори с ней по телефону и не пускай ее сюда. Не давай ей наркотиков, она все равно не сможет заплатить. Не встречайся с ней… — Увидев, что глаза Рассела угрожающе сузились, Ричард торопливо продолжал: — Слушай, несколько дней назад умерла ее мать и… ну, я думаю, для нее это самое подходящее время… психологически… по-моему, она на самом деле может завязать… если будет лечиться… ты ведь не станешь ей мешать? Не станешь?

На Кентиш-Таун-роуд, рядом с комнатой, где сидели неискренние мужчины, завыла сирена, и

взгляд Ричарда непроизвольно метнулся к окну, окаймленному корзинами с пожитками Рассела. В вертикальной щели между жалюзи и рамой, словно для него одного, мелькнула крыша полицейского автомобиля с номером «А 37».

— Классная вещь, эти сканеры, — сказал Крошка Тони. Он встал, чтобы лучше видеть удалявшуюся машину. — Включаешь их, и они ищут на грязных частотах, пока не засекут машину…

— Я… я не… — В свистящую скороговорку Крошки Тони включился Рассел с его собственным вызовом подкрепления, с собственным воплем о помощи. — Я не стану ей мешать… Никто не стал бы… Ричард… Мы все хотим вырваться из… *этого.* — Его худая рука перевернулась и упала ладонью вверх на стол, словно иллюстрируя безнадежную ничтожность ситуации — наркотики, громилы, параноидальный приемник под столом.

Ричард не без опаски решился заглянуть в глаза Расселу и увидел там то, чего никак не ожидал. Разумеется, жалость к себе, но вместе с тем и стыд. Бесспорно, чудовищный эгоизм, но вместе с тем и подобие любви. У Рассела были большие карие радужки с темными коричневыми лучиками. В его зрачках застыло небытие. Глаза Рассела горе-

ли гневом и наполнялись слезами, словно где-то у него внутри действовала оросительная система. Ричард поспешно разорвал контакт, переместив свой взгляд на корзины с ярлыками: «РУБАШКИ», «КНИГИ», «ВЕЩИ НЭТТИ». Вещи Нэтти? Неужели эта парочка так близка? Если у Рассела столько ее вещей?

— Ладно… — проговорил в нос Рассел. — Я не буду с ней говорить… но ты… ты… — он наклонился вперед и схватил Ричарда за руку, сжал ее своими пальцами, как клещами, и в этот момент тусклый свет в комнате, казалось, вспыхнул ярче, клубы дыма взвились и растаяли, шипенье сканера стихло, — …должен обещать, что, когда она уедет, ты мне скажешь, где она. Ты сделаешь это, да? Я бы хотел… написать ей, позвонить… да мало ли чего.

Ричард увидел, что ногти, впившиеся в его руку, сгрызены до основания, а пальцы распухли как сосиски. Увидел следы от иглы, змеившиеся по тыльной стороне его ладоней. И Рассел это понял. Он отвернулся и стал развертывать один из пакетиков, который только что завернул в прозрачную пленку.

«Лучше тебе уйти» — прозвучал в голове у Ричарда голос самосохранения. Он резко повер-

нулся и направился к двери. Пока он снимал цепочку, открывал два врезных замка, отодвигал задвижку, ни один из находившихся в комнате мужчин не шевельнулся. Прикрывая дверь, Ричард видел, как Крошка Тони берет розовую пачку банкнот со стола. Толстый громила взглянул на Ричарда и сдержанно кивнул, словно хотел сказать: «Вали отсюда, чужак». Потом дверь захлопнулась. Ричард достал из-за мусорных баков бейсбольную биту, не совсем понимая, чей мяч был выбит в аут.

Рождество 2001

Взрослые, даже если они очень стараются, не могут подделать почерк или рисунки маленького ребенка. Не могут воспроизвести неуверенные строчки, кривые петельки, непомерно большие черточки или на редкость прозаичную орфографию. Было бы интересно, если бы взрослые, имитируя почерк ребенка, в конце концов создали нечто вроде детской имитации взрослого почерка — но они этого не сделают. Здесь нет зеркальных отражений, есть лишь глубокое отчуждение.

Когда я в последний раз была маленькой девочкой, сидевшей в горячем хлопковом платье под горячей хлопковой коробочкой солнца, я подра-

жала взрослому почерку, водя карандашом по узкой зеленой тетради. Я хорошо помню бумагу и письменные принадлежности. Но что я чувствовала тогда, не помню. Я выводила узкие петельки вдоль одной из линий, потом съезжала строчкой ниже и двигалась в обратном направлении. Я представляла себе взрослое состояние в виде непрерывного ряда петель. Странной каббалы закорючек. В предыдущем круге у меня были самые разные представления о маленьких детях. Мои собственные казались мне маленькими Витгенштейнами, которые выводят каракули в синих и коричневых записных книжках, пока не настанет срок опубликовать свои философские исследования; которые несут околесицу, пока им не захочется ее растолковать. Это, разумеется, объяснялось материнскими чувствами и широко распространенным убеждением, что мы произвели на свет неординарную, не подвластную времени личность. Взрослые, остающиеся детьми, рожают детей, которых считают взрослыми. Потом, по мере того как мои дети росли и в них проступали ненавистные черты их предков, мое терпение стало иссякать, и я пришла к выводу, что все время заблуждалась, что дети — это просто отсроченная глупость.

Глупость вдвойне.

Теперь я ребенок, которому нравится подражать почерку взрослых. Мне бы хотелось быть маленьким Робертом Скоттом, зимующим в этой антарктической квартире без лифта. Но у холодных мумий, лежащих на дне смертельного ледника, не было времени писать. Они были слишком заняты, проваливаясь на экзамене жизни. Я ковыляю по комнате, обходя ужасное вьющееся растение, мимо тумбы с электронной аппаратурой, мимо журнального столика, вниз по ступенькам, через узкий проход между стеллажом и кухонной дверью, но нигде не нахожу ни кусочка мела, ни обломка грифеля. Поверьте, я идеально приспособлена для поисков — мне легко прильнуть к полу, заглянуть под шкаф или протиснуться между ним и стеной. В свое время я потратила массу усилий на проектирование идеальных письменных принадлежностей, теперь же мне не удается обнаружить ничего, чем можно было бы писать.

В ходе первых ошеломляющих часов, проведенных мною в одиночестве, мне удалось обнаружить на полке в нише, из-за которой нижний этаж напоминает не слишком просторный склеп, небольшую кружку. Сувенир из Бангора.

Была ли ирония в покупке этого непрезентабельного презента, воспоминания ни о чем? Мне, собственно, все равно, но я увидела снизу (теперь я на все смотрю снизу вверх — вот что вы получаете за то, что всю жизнь смотрите на людей сверху вниз: другую короткую жизнь, когда вы смотрите на вещи снизу вверх), что из кружки торчат ручки с карандашами. Мне понадобилось много времени, чтобы влезть на диван, еще больше, чтобы со всеми предосторожностями взобраться на его спинку. Я несколько раз срывалась, теряла равновесие, скатывалась вниз с подушек. Когда мне наконец удалось опрокинуть кружку, посыпавшиеся вниз карандаши и ручки едва не поранили меня — хорошо еще, концы у них были тупые, — и мои усилия зашли в тупик.

Там была одна ручка, синяя, «Роллерболл» Берола, без колпачка. Паста внутри давно высохла, осталось лишь немного на самом шарике. Это я обнаружила, когда, притворившись взрослой, принялась проверять, работает ли ручка, на уголке «Телегида» за прошлую неделю. Для ребенка это слишком сложная задача. Дети не проверяют ручек — маленькие дети. Они просто хватают первую попавшуюся и рисуют кривой домик или человечка с телом, похожим на какашку. Но я

проверила ручку, и она наградила меня несколькими короткими синими черточками на глянцевой бумаге, а потом иссякла навсегда.

Впрочем, что могло бы выйти из-под моего пера? Из — под пера взрослой женщины, подражающей ребенку, подражающему взрослой женщине. Мне нечего сказать, кроме того, что мне холодно, голодно, одиноко и страшно. Но, черт возьми, что в этом нового?

ГЛАВА 11

Это Фар Лап нашел для меня Хе-Ла, единственное подходящее покрытие для стен в таком далстонском подвале, как мой. Хе-Ла не была ни краской, ни обоями, ни штукатуркой, ни даже чем-то синтетическим, нет-нет. Хе-Ла была продуктом патологической кариологии. Мощной линией клеток, начало которой положила опухоль шейки матки некоей Хенриэтты Лаке, умершей в Балтиморе в 1951-м. Это был год самых разнообразных новшеств, вроде тех, что Дисней воплотил в «Алисе в стране Чудес». Хе-Ла бессмертна и существует в виде суспензии. Живые использовали ее для изучения вируса, который, при введении его животным, почти всегда давал опухоли.

Нам, мертвецам, этот материал был не страшен, он оказался чудесным покрытием для стен: эластичный, прочный, он к тому же тихонько шептал слова, которые когда-то произносила умирающая: «Мне холодно, так холодно… ужасно холодно» — в жару и «Я вся горю… горю… О, как мне жарко!» — в холод. Наверное, живым это показалось бы в высшей степени странным, но

ведь до поры до времени такие ужасы их и не коснутся.

За Далстон-Джанкшн была фабрика, где вспенивали это вещество, а в магазинчике миссис Сет оно продавалось в четырехлитровых бидонах и пользовалось большим спросом.

В августе Дэн Куэйд стал очередным вице-президентом при Буше. Это напомнило мне о маленьких птичках, которых подавали у Банни Йос, и вообще обо всех фантастических обеденных приемах в мире живых — с запахами, отрыжками, урчанием и чавканьем. В ноябре было решено, что Туринская плащаница — подделка, и по меньшей мере пять моих знакомых далстонских буквоедов клялись, что это их рук дело. Им так хотелось. Хрен с ними — эти типы говорили еще, что они сторонники бомбардировщиков «Стеле», мобильных телефонов, спутникового телевидения и других технических новшеств — ни одно из которых нельзя считать благотворным.

В декабре случилось землетрясение в Армении. Несколько тысяч жителей страны погибли, еще больше пострадали от голода и ран. Но нас это практически не коснулось; в конце концов, они же не собирались селиться в Далстоне, разве что у кого-то из них была здесь семья. В том же

месяце произошли железнодорожная катастрофа в Клапаме и взрыв американского самолета над Локерби. Некоторые из погибших попали к нам — обгоревшие, раздавленные, ошеломленные, с печатью случайной и быстрой смерти, вызывающей зависть.

В марте 1989-го наших далстонских либералов потрясло известие о восстаниях в Тибете. *Буквально у всех* к пробковым доскам были приколоты планы улиц Лхасы, чтобы можно было обсуждать тончайшие моменты происходящего за ростбифом, который они, сорок раз пошевелив челюстями, выплевывали. Трагедия в Хиллсборо не привлекла особого внимания — в конце концов, этот матч был проигрышным во всех отношениях. Стыдно сказать, но многие мертвецы хохотали в голос, когда Кенни Далглиш, тренер футбольного клуба «Ливерпуль», обратился к зрителям со своим знаменитым очень сдержанным призывом: «По-моему, всем ясно, что у нас проблемы. Пожалуйста, постарайтесь сохранять спокойствие. Мы попытаемся вам помочь». Когда ты мертв, даже самые сокрушительные катастрофы могут вызвать неуместную иронию.

Ах, далстонская жизнь! Беспорядки на площади Тяньаньмынь в июне 89-го не произвели на нас

никакого впечатления, зато в том же месяце в Далстон прибыл Фредди Айер. Он расположился в элегантной квартире на первом этаже в двух кварталах от меня, на Атенз-сквер. Чертовы академики, у них всегда оказывается чудесное жилье. При жизни я виделась с Айером раза два — они с Йосом были коллегами, но общались мало. Я сходила на вечер — с квасом и козьим сыром, — вечер, устроенный в честь Айера его посмертным проводником, весьма впечатляющим шаманом в мехах. Я всегда пыталась добиться какой-то истины от этих пьяниц, воняющих оленьей мочой, и купцов с морщинистыми лицами, но все без толку. Любой посмертный проводник был так же бесполезно таинственен, как мой собственный. Они все бормотали о «кругах жизни», «Чистом свете», «крючках и петлях благодати», словно этот жаргон был всем понятен.

Разумеется, Фредди всегда считал любую метафизику полной бессмыслицей, и смерть не смягчила его знаменитую жесткую логику. Он даже намекнул мне, что, вероятно, в моем случае чувственное восприятие угасло, а Лити, Далстон, Фар Лап и Жиры — не более чем фрагменты моего разлагающегося сознания. Надо отдать Фредди должное, в эластичные границы этого ряда он

включил и то, что воспринимал сам, например, разрушение Берлинской стены.

Когда я заметила, что это дает *ему самому* несколько больше, чем призрак собственного существования, Фредди снисходительно рассмеялся. Ему нравилась смерть, поскольку он снова мог курить и совершенно безнаказанно запускать лапы под юбки молодых женщин. Думаю, только такой неукротимый рационалист может получать какую-то поддержку от нервных тиков загробной жизни. Кроме того, забавно было время от времени встречать его — одетого с иголочки, изысканного, совершенно раскрепощенного.

Другое дело Ронни Лейн, который умер в августе того же года. Он был *подлинной* неприкаянной душой. В теннисном костюме, размахивая ракеткой, он блуждал по улицам Далстона, готовый вступить в драку с любым прохожим, но мертвецы, как известно, народ невозмутимый. Поэтому он изливал свою ярость на живых, вгоняя в шизофрению просто проезжавших мимо людей, которые до встречи с ним отличались полнейшим душевным здоровьем. Во всяком случае, я полагаю, после смерти он получил удовлетворение от собственных подтвердившихся предубеждений. Или теорий.

Ларри Оливье нам удалось увидеть всего на нескольких утренних спектаклях, затем он отбыл в провинцию. Но можно биться об заклад, что каждый, кто был хотя бы сколько-то известен, приложил все усилия, чтобы хоть на миг оказаться рядом с его звездной ничтожностью. *Я* не толклась в театральном буфете. Меня волновали другие проблемы. Чертова ежедневная работа — эту ношу можно было вынести только благодаря моему тонкому телу. Теперь уже двое детей — безобразников, один — окаменевший исполнитель эстрадных песенок, другой — самоуверенный правонарушитель. Да, Грубиян. Он набрасывался на людей, он все время выпендривался. Он возвращался из Хитроу босой и совершенно голый, крутясь, спускался по лестнице и появлялся в подвале с визгами и криками, вихляя задницей, размахивая енотовой шапкой, весь вымазанный грязью для игры в негров. Конечно же, я пыталась умиротворить его стаканом молока, арахисовой пастой, сандвичами, комиксами «Капитан Америка», но он так же не терпел их, как одежку или хорошие манеры. Грубиян смеялся над любыми моими попытками вести какую-то социальную жизнь, какую я могла себе позволить в своей свежеотделанной Хе-JIа квартире. Он был совер-

шенно неуправляем.

Когда в сентябре 89-го утонула «Маркиза», Грубиян был здесь уже около года. Большей частью мне удавалось оставлять его дома с Жирами, которых он немного побаивался из-за их объемов. Но когда в Далстон в сопровождении посмертных проводников попадали бедные детишки, по уши напичканные лекарствами, там, чтобы сделать их смерть еще более жалкой, уже дожидался Грубиян, который выкрикивал: «Ну-ка, намажься грязью, ты, засранец с дискотеки! И не гони волну, слышишь?» И — естественно — тут же вступал Лити со своим: «Мне лишь во-о-оздух нужен, чтоб дышать и люби-и-и-ить тебя!» Сам по себе Лити не был неуравновешенным и не выражал протеста, как вы понимаете, просто они были братья, неудачно смешанный кровяной коктейль.

Я ужасно хотела уехать из Далстона, куда по большей части прибывали неудачники и *declasse.* В августе мне хотелось оказаться в Нью-Йорке, где умер Ирвинг Берлин, или в Париже, где умер Сименон, похромав на тот свет в своих превосходно сшитых брюках, закрывающих лодыжку. В свое время он утверждал, что занимался сексом с десятью тысячами женщин. Хотелось бы мне увидеть его лицом к лицу с этим стадионом

шлюх. Черт, я даже постаралась бы поладить с Голливудом, где после своей смерти осенью этого года верховодила Бетти Дэвис. Я всегда обожала ее — да нет, скорее ее экранную героиню. Но смерть учит, что экранная героиня ничуть не хуже любой другой. Держать сигарету должным образом, улыбаться самым дьявольским образом, загадочно смотреть… Мы жили благодаря своим манерам — и умерли из-за их отсутствия.

На собраниях Персонально мертвых я познакомилась с Клайвом, человеком моего безвозраста. Клайв был банкиром-инвестором, который лет за пять до смерти отошел от дел. Как большинство людей его типа, он до сих пор был набит наличными. Зимой 89-90-го мы с Клайвом начали встречаться. Мы отправлялись вместе на долгие прогулки по запутанным маршрутам, избегая границ цистрикта. Клайву был присущ мрачный юмор, ему удавалось выносить Жиры, Лити, Грубияна и весь остальной мой посмертный багаж, неразрывно со мной связанный. «А! — восклицал он, когда Грубиян устраивал очередной скандал. — Наш юный розенкрейцер».

Собственный багаж Клайва был именно багажом. По неизвестным мне причинам Клайв обитал в обычной квартире с одной спальней в

пятиэтажном доме на Фибз-истейт, в квартире, забитой багажом: чемоданы, портпледы, сумки для инструментов, дипломаты и пароходные кофры. Этот багаж непрерывно двигался, утром, днем и ночью, как пластиковые фишки в трехмерном паззле. Мы могли сидеть и болтать в одном из уголков неправильной формы между грудой кожаных саквояжей и кипой ранцев, но вдруг один из чемоданов освобождался из своего заточения, словно его кто-то подталкивал сзади. Клайв в таких случаях бормотал: «Мне кажется… м-м-м… Лили, нам лучше освободить это пространство». Так мы и поступали. Он никогда не объяснял, почему это происходит, — а я никогда не спрашивала. Поредевшие волосы Клайва и блестящие, в золотой оправе бифокальные очки соответствовали незыблемым моральным устоям. То, что в живом англичанине меня страшно раздражало бы, в милом покойнике Клайве казалось необыкновенно обаятельным.

Мне часто не спалось в предрассветные часы после визитов инкубов во сне, когда я ласкала призраки, исполненные невероятного эротического очарования, они крепко обнимали меня своим экстатическим ничто, прижимали меня к моему собственному тонкому лону, дыша в

мой зубастый рот своим клейким ничто. В углу спальни Жиры бормотали: «Пожилая-пухлая — пожилая-пухлая-пожилая-пухлая…», внизу Лити танцевал буги-вуги, распевая во все горло: «Я влюбле-он! Я влю-ю-бле-о-он!», а в коридоре чем-то громыхал Грубиян, сотрясая воздух напыщенными тирадами.

Но мне не обязательно было спать, и я бодрствовала в бесцветном безразличии смерти. С уютным Клайвом мы занимались относительным сексом. Странно, не правда ли, что у мертвецов весь секс межножковый — то есть пенис всегда засовывают в какие-то ложбинки на теле, но никогда во влагалище. Клайв мог пристроить свой плотненький член мне под мышку, в сомкнутые ляжки, между грудей или даже завернуть две складки на брюхе и поместиться между ними. Словно, проделывая такие штучки — не дававшие нам осознать свою печальную долю, — мы верили, что сумеем достичь хоть какого-то трения, *касания.* Но нет, ничего, — ничто, прижавшееся к ничему.

Вместе с Клайвом мы посещали обеды, где хозяин с хозяйкой готовили самые замысловатые блюда, жаждая одобрения и похвал. Какие кастрюли — коричневые, цвета бордо, кремовые! Какие куски мяса — розовые и сочные! А много-

цветные закуски из свежайших овощей, только что доставленных из лучших зеленных лавок столицы. И для чего? Для ни-чего. Никто не мог даже ощутить их запах. Мы, гости, развлекались со своими порциями — только этим мы и могли заняться. Один сооружал на своей тарелке из картофельного пюре нечто в стиле Родена, другая из глазированной моркови и соцветий брокколи устраивала какое-то подобие полотен Клода Моне, третий экспериментировал с кусками мяса, обкусывая их так, что они превращались в торсы с хрящеватыми руками-ногами и отгрызенными головами. Зловещее предвестие грядущих концептуальных эксцессов.

Таковы были званые обеды в Далстоне — разорительная, великолепная игра в ладушки. Если бы мы вдруг захотели обмануть себя, захваченные какими-то кружившими слухами, наподобие землетрясения в Сан-Франциско — в Лондоне ничего такого потрясающего не случается — или смерти Сэмюэла Беккета — счастливый день! — или окончательного ухода со сцены Греты Гарбо — наконец-то она одна, как ей и хотелось! — то, возможно, мы постарались бы разгрызть еду на кусочки, разжевать в кашу, затем извергнуть в чрезвычайно чистое ведро. В марте 1990-го мы с

Клайвом присутствовали на обеде в честь усопшей Джейн Григсон, где были поданы блюда по ее лучшим рецептам, с ними всего лишь поиграли, а затем быстренько отправили в ведро. Мы все пытались смеяться, но в этот вечер мрачный юмор не доходил до нас, никогда не насыщавшихся.

Клайв — бог знает, каким образом — был знаком с еще большими оригиналами, с мертвецами-яппи, жившими на задворках Спарта-роуд в модных минималистских лофтах с массажным покрытием пола и нижней подсветкой помещения. Эти типы предлагали своим гостям блюда новой мертвецкой кухни. Крошечные кусочки мяса — результат работы трудолюбивых резальщиков; тончайшую кожуру корнеплодов, небрежно брошенную на огромные белые тарелки; словно эльфы накосили травы. Сверху все полито *jus,*[27] словно эти полоски съедобной спермы могли компенсировать их собственное бесплодие, их собственную неспособность есть; но в то же время служили доказательством, что эта еда — и они сами — абсолютно, всецело, *действительно dernier cri.*[28]

---

[27] Примечания: 27
Соус (фр.).

[28] Примечания: 28
Последний крик (фр.).

Мы сидели на пуфах под венецианскими окнами в окружении геев, и покойники, с головы до ног в черном — ведь на самом деле это не идет нам, правда? — без всякого сострадания болтали о вторжении в Кувейт, или о кончине Леонарда Бернстайна, или о культурной востребованности «Черепашек-ниндзя». После обеда, протерев столики для кофе до зеркального блеска, на гладкую поверхность волнистой линией насыпали кокаин. К антиупотреблению готовились тщательно. Удивительно — даже мертвецы должны платить за наркотики. А это недешево. Удивительно, потому что сначала собравшиеся сидели, уставившись на едва заметные перемещения вызывающего оцепенение снега, пять, десять или двадцать минут, а потом поставщик, кто бы он ни был, притаскивал пылесос и большой пластиковой механической ноздрей втягивал порошок. И кокаин исчезал — таким вот образом! Исчезал в крохотном дорогостоящем вихре. Что же это Бог с нами делает! Ни-чего, как сказал бы Фар Лап.

Да, мы с Клайвом не бедствовали. Мы вместе ходили на собрания Персонально мертвых. Как-то вечером мы невнимательно слушали — подбородок на руку, локоть на колено; вы когда-нибудь обращали внимание на то, как много в Лондоне

подпорченных Роденов? — как молодая женщина, со слишком глубоко для ее лет запавшими глазами, рассказывала о прошедшем дне. «Ну, в дверь квартиры постучали, и я открыла. Какой смысл не открывать — все равно войдут. И я открыла, а этот тип сказал, что он один из исполнительных дьяволов Властелина Смерти. Они всегда так говорят, ужасно напыщенно. Потом, даже не извинившись, сносит мне голову, вытаскивает сердце, извлекает кишки, вылизывает мозг, разрубает тело на куски и гложет мои кости. Ну, разумеется, я не могу умереть, и хотя все мое тело изрублено в куски, оно оживает — тогда этот хренов ублюдок повторяет все сначала. Каждый раз все так же больно. Каждый раз. Ну, только я хотела что-то сказать…» А присутствующие на собрании чем-то шуршали, рассматривали свои ногти, ногти друг друга, смотрели в пол.

Я чуть было не поверила ей, но потом решила, что она все придумала. Покойники ничего не ощущают. У них тонкое тело. Такого рода муки нас не посещают — или так мне казалось. И я не приняла рассказ всерьез, а вместо этого стала рассматривать ее лицо, покрытое веснушками, но не очень густо. Ах! Пусть такие истории встречаются нам только в «Детях-кошкодавах». *И не*

станем прислушиваться к ним, не станем.

По большей части мы с Клайвом ходили на собрания в Общественный центр, но время от времени для разнообразия ходили в Сент-Джон, в верхней части Аргос-Гроув. Это была ничем не примечательная, Богом забытая мрачная церковь. Здесь, под неоготическим шпилем, мы сидели со связанными крыльями в асбестовой ризнице на стоящих рядами деревянных стульях. Здешний Секретарь истово исполнял свои обязанности, словно был священником. Сам он сидел за школьной партой, такой старой, что в нее была вделана чернильница. Я вспомнила, как в моем детстве в такие чернильницы макали ручки со стальными перьями; хорошие ученики всегда ходили с выпачканными руками, потому что подливали в чернильницу чернила из большой граненой бутылки. Но у покойных учеников этого младшего класса пальцы были измазаны не чернилами, а сигаретным пеплом, а истории, которые они рассказывали, в мои школьные годы сочли бы полной бессмыслицей и осудили. Осудили бы настолько, что ты просто сгорел бы со стыда. Осудила бы их и мама, — в конце дня ужасно хочется поделиться тем, что узнал.

И так все долгое лето. А культура живых про-

должала жить по своим законам. У всемирных соревнований была теперь собственная музыкальная заставка. Эта мелодия все время звучала у «Баскин», где я составляла пресс-релизы ведерок для льда — хотя сам наш босс никак не мог раскошелиться и заменить свое помятое ведро. Мелодия *«Nessun dorma»*[29] Не-черт возьми-спибольше. Абсо-хрен-лютно. Я зажгла очередную сигарету, Лити в моем кармане пел какую-то печальную песню. Баскин смотрел на меня сквозь падающие на лоб курчавые пряди. Я размышляла: у одних мужчин шапка волос, у других волосы как шапка, но как человек может выглядеть так, чтобы *казалось,* будто он носит парик?

Этим летом и Наташа, и Шарлотта забеременели. Удивительное совпадение для моих совсем не похожих друг на друга наследниц. Я узнала об этом от Берни с верхнего этажа, этой неприкаянной души. Вот уже два года я посвящена в подробности его жуткого существования. Скрип-и-стук, скрип-и-стук еще одного возвращения домой от миссис Сет с еще одной подпоркой, рулончиком оловянной фольги. Тяжелые шаги на скрипучей лестнице означали, что он от-

---

[29] Примечания: 29
Ария Калафа из оперы Дж. Пуччини «Турандот».

правился в свое еженедельное путешествие за героином, которым торговал за наличные; затем те же тяжелые шаги, звучавшие намного бодрее, знаменовали возвращение. Это повторялось с хронометрической регулярностью, по наркотическим приливам и отливам этого человека можно было проверять атомные часы. Поздней ночью, ранним утром и в течение всего дня до меня долетали мольбы его клиентов. Они стояли у входной двери, их ноги виднелись в верхней части окна моей спальни, они прижимались жаждущими ртами к кирпичной кладке и звали: «Бер-ни. Берн. Бер-ни. Это я». Сколько этих «я», столько разбитых жизней.

Мне, старой брюзге, случалось сомневаться в безостановочной торговле Берни. Трудно поверить, что люди могут загружать в себя такое количество героина, создавая себе массу трудностей на пустом месте. Миссис Сет любезно объяснила мне, в чем дело.

— Понимаете, миссис Блум, мистер Бернард не отравлен всем тем героином, который употребил при жизни. Так всегда с наркоманами, понимаете. Они принимают наркотик, чтобы просто быть нормальными.

— Да, да, я знаю… у меня дочь…

— Ну да. Простите, я говорю то, что вам известно.

— А его смерть? Неужели он не ощутил разницы?

— Что вы, совсем нет. Нисколько. Вы знакомы с вашим соседом, мистером Коксом? Он живет на третьем этаже. Однажды он услышал страшный грохот с чердака мистера Бернарда.

— Неудивительно, — вставила я, — ведь это случилось, когда…

— Да, да, когда он поднял ногу, чтобы надеть трусы…

— Забыв, что уже поднял другую ногу.

— Именно так. Во всяком случае, в тот раз все так и случилось. Больше того, бедняга упал на свой стержневой обогреватель и, мягко приземлившись прямо на стержни, пролежал на них довольно долго.

— Довольно долго?

— Достаточно, чтобы они прожгли его насквозь. Однако, — она подняла украшенный драгоценностями пальчик, — не так долго, чтобы весь хлам в комнате сгорел. В первый раз мистер Бернард узнал об этом, когда пришел купить фольги, а мальчик заметил, что у него выгорел весь живот.

— А вы сказали ему… сообщили, что он весь выгорел?

— Ну конечно. Сказали. Но это не произвело на него впечатления. По-моему, наркоман при жизни и после смерти остается наркоманом. Теперь он просто застегивает куртку доверху. Именно поэтому. И все время ходит застегнутым. А так он продолжает делать примерно то же, что при жизни, можете себе представить, как выглядит его комната? Да вы поднимитесь и посмотрите сами, она в жутком беспорядке, там все обгорело, а вещи раскиданы где попало.

Мне не хотелось смотреть на комнату Берни, не хотелось смотреть и на самого Берни. У меня были собственные дети, о которых нужно было думать — обызвествленный Лити, заляпанный грязью Грубиян. В смерти ценилось бесчувствие. А мои живые девочки? Что ж, я посещала их время от времени, отваживаясь проехать на метро до Риджентс-парка и вваливаясь на Камберленд-террас, где однажды застала Шарли и Ричарда за попыткой зачать ребенка. Я даже отыскала дорогу к психам и заявилась в Паллет-Грин, где Наташа проходила лечение. Паллет-Грин — особняк, построенный по проекту архитектора Лютьенса, вокруг клумбы чайных роз — грунт

такой рыхлый, что напоминает кошачий наполнитель, — а плешивые газоны по краям обсажены пыльными рододендронами. Здесь, среди лишенных живительной влаги, но еще способных выжать из себя слезу алкоголиков, и чистых, но с грязным воображением наркоманов, моя младшая сучка припадала к земле и рычала, когда ее выманивали из героиновой конуры, что обходилось довольно дорого.

Она цвела — не розы. За четыре коротких месяца она превратилась из доходяги в красавицу, при виде которой можно упасть замертво. Ах, Наташа! Это было короткое, сверкающее лето расцвета ее женственности, она была хороша как никогда. Гибкий стан, оливковая плоть. Грудь, когда она ее выставляла напоказ — а она проделывала это часто, с очаровательной притворной небрежностью, — была так высока и пышна, что человек среднего роста и обычных пристрастий не мог отвести от нее глаз. При одном взгляде на Наташу любой готов был подчиняться, повизгивая от восторга. Я знаю. Я стояла за ее плечом и смотрела в зеркало, пока она раздевалась. Моего тонкого тела не было видно за ее, не таким уж тонким.

Да, я присутствовала там, хотя и не участвовала

в работе группы, когда Питер Ландон, поскрипывая парусиновыми туфлями на каучуковой подошве на поцарапанном паркете «в елочку», вливал в себя очередную порцию ромашкового настоя и пытался вбить хоть частичку здравого смысла в переменчивую головку Нэтти. Ничего не выходило. Наташа никогда не считала себя равной своим собратьям-наркоманам, и, отдавая ей должное, они тоже. Она была так чертовски хороша, что они все хотели ее. Даже Ландону — поверьте мне, он старался из всех сил — оказалось трудно противостоять ее чарам и после консультаций с глазу на глаз ему приходилось идти в сортир онанировать.

Да, от наркотиков и выпивки Нэтти можно было отлучить, но ее неизменная подчиненность власти собственной вагины оставалась такой же глубокой, льстивой и влажной, как и сама вагина. Нет, все, что они сумели сделать в Паллет-Грин — это провести ей курс лечения, восстановить силы и снова выгнать ее. Хуже того, вся эта групповая терапия, индивидуальная терапия, это запугивание, равнозначное расщеплению личности, в каком-то смысле напоминали обрезку ветвей при формировании кроны. Чайные розы блекли в своих кошачьих лотках, а изголодавшийся

цветок внутри Наташи пускал корни все глубже, выбрасывал все больше побегов, набирался сил, ветвился еще гуще. Становился еще крепче.

У Элверсов в прихожей я старалась сделаться как можно незаметнее, пряталась за буфетами, протискивалась позади мягких кресел. В просторной квартире я разыскивала место, откуда могла бы наблюдать за случкой этих гигантских животных, случкой, от которой содрогалась земля. Вот почему динозавры вымерли — все это чудовищное спаривание дает ничтожный результат. Но, скажу вам прямо, здесь не было ни капли вуайеризма, меня влекло сюда не это. Толстяков мне хватало и дома, в Далстоне. Да и выходов и возвращений, клаустро — и агора — тоже хватало.

Нет, я наблюдала за совокуплением своей дочери и ее мужа, потому что это был самый верный способ оказаться в мире живых. Обнимаясь и барахтаясь на кровати, они сплетничали и злословили. Просто невероятно. Если бы я могла испытывать ревность — я бы ревновала. Все последние годы, когда я из-за дряблых мышц сидела взаперти, лишенная любви, лишенная внимания мужчин, меня мучила мысль, что все кругом трахаются в промышленном масштабе, создавая

кучу любви.

Звоня старой деве из Кентиштаунской библиотеки по поводу заказанной книги, я представляла себе ее — рукава кардигана набиты иссморканными бумажными носовыми платками, губы поджаты, лицо в морщинах, она ведет сухой деловой разговор. Но под ее письменным столом я воображала эротомана, который лижет ее, словно огромный рожок с мороженым. Его зад втиснут в проем между тумбами стола, голова между ее коленей. Прикрытый ее твидовой юбкой и нейлоновой комбинацией, он впивается в нее челюстями, словно терьер с жилистым членом.

Но вот такое уж было мое невезение — я старела, в то время как весь мир вокруг срывал с себя одежду и судорожно тряс конечностями. В начале восьмидесятых я бы не удивилась, если бы иранский аятолла совлек с себя черные одежды и помчался нагишом за пределы Кум. Или Маргарет Тэтчер в Палате общин вдруг кинулась бы на кого-нибудь из своих министров, а остальные, встав в круг и хлопая в ладоши, кричали: «Мэгги! Мэгги! Мэгги! Ну же! Давай! Давай!» Да, все кругом трахались, кроме меня, толстой старухи. И это было нечестно — *мне все еще было мало.*

А Ричарду, очевидно, было уже достаточно, и

наконец, в последнем содрогании, он спустил со своры одного злющего сперматозоида быстрее, чем остальных. Одного маленького угорька-элверса, достаточно крепкого, чтобы переплыть моря враждебной слизи. Один обрывочек ДНК, который, если только сумеет, начнет цепь репликаций и спустя много лун сможет унаследовать разветвленную сеть фирменных магазинов «Бумажных обрезков». Эти ветви теперь вплетены в экономическое древо так крепко, что посетить торговый район значит побывать в одном из магазинов Элверсов. Между «Вулвортсом» и «Маркс энд Спенсер» или между «Макдоналдсом» и «Барклай» или военным мемориалом. Ветви, густо покрытые листвой.

Наташа, на первый взгляд, следовала всем рекомендациям своих консультантов из Паллет-Грин. Но когда Наташин взгляд означал что-либо, кроме предательства? Ей велели начать второй курс лечения — она так и сделала. Она осталась жить в бунгало в глубине территории. Она посещала множество сеансов групповой терапии. Стала ходить на собрания Анонимных Алкоголиков и Анонимных Наркоманов по соседству, где производила большое впечатление на всех, кто видел ее и слышал, как она говорит.

Она пошла работать волонтером в местный дом престарелых, где ей приходилось прислушиваться к неразборчивому шепоту его временных обитателей. Хотя не слишком сосредоточенно. Будь Наташа действительно внимательна, наклоняйся она пониже к беззубым ртам, окажись ее хорошенькое ушко поближе к этим слюнявым болтунам, она сумела бы разобрать в их шепоте проклятия: «Уходи! Отстань! Отцепись!» Вот что они говорили на самом деле, раздраженные ее красотой, взволнованные ее юностью и утом-ленные ее бесполезными заботами.

В бунгало она починила подтекавший поддон душа с помощью похожего на огромный шприц устройства, из которого выдавливалась розовая замазка. Из-за этого шприца ей захотелось уколоться. И трахнуться с Расселом. В ее плохо соображающей голове одно было неотделимо от другого. Консультанты советовали не предпринимать никаких важных решений в течение первого года после излечения — и Наташа делала вид, что все в порядке. Она осталась с Майлсом, который, хотя и «попустительствовал» и «тоже был зависим», по мнению консультантов, все же оказывал на нее стабилизирующее воздействие. Да, Наташа осталась с бедным Майлсом, потому

что он служил ей пропуском на выход из этого заведения. Шарлотта отказалась от своей части квартиры муму — да и зачем ей был этот кусочек пространства? Считалось, что Нэтти с Майлсом переедут туда и будут жить вместе, и их мир будет прочным и надежным.

Майлс приезжал в Паллет-Грин и снимал комнату с завтраком неподалеку, в Рейгейте. Он участвовал в семейных консультациях с Питером Ландоном, который никак не мог понять, за что этому красавчику такое везение-невезение, за какие заслуги ему досталась эта неуемная фурия, Наташа Йос. Как-то Наташа пошла на послеобеденную прогулку и встретилась в городе с Майлсом. Они разглядывали витрины магазинов. С каким сарказмом они купили почтовые открытки в одном из отделений «Бумажных обрезков». От подростков их отличало только отсутствие прыщей на щеках. В конце концов они оказались в пансионе, и Наташа выжала Майлса досуха. Они лежали под холодным колючим одеялом, и Майлс спросил, любит ли она его.

Наташа дрожала, несмотря на то, что отказалась снять черный свитер — у нее была гусиная кожа абстинента. «Конечно, глупый», — сказала она. Но на самом деле это значило, что он, конеч-

но, был глупым.

В фирменном спортивном костюме «Адидас», черном, отливающем шелковым блеском, со своим от природы черным, шелково-вспыльчивым порочным сердцем, Рассел ехал в Рейгейт с вокзала Виктория. Заняв покачивающийся туалет, он выкурил крэк, энергично выдыхая ядовитый дым сквозь вентиляционную решетку. Покончив с этим, он освободил туалет и, потрясенный и расщепленный, заковылял в тамбур.

В Рейгейте Рассел, сев в такси, приказал водителю — сикху отвезти его на место проволочных заграждений, там Рассел свернул и пошел вдоль пшеничного поля к небольшому вытянутому леску. Погружаясь по грудь в золотые волны, Рассел взглянул на свои водолазные часы и отметил — вот ведь какой военизированный, расторопный подонок! — что все идет по графику.

Наташа ждала его, свернувшись в небольшой ямке на куче прошлогодних листьев. Когда ее командир приблизился, ей даже не было приказано встать, только приветствовать его толстый член своими восхитительными губами. Она совершенно голая — он в полной амуниции. Но ей давно уже не было так жарко. Кончив, он велел ей повернуться задом и выпустил в нее еще один

заряд — боеприпасов у него было в избытке. Они не сказали друг другу ни слова. Слов не было вообще. Какое облегчение для Наташи, изнемогавшей от обилия слов. Какой бальзам — двадцать минут без общения; двадцать минут, выкроенные между сеансом групповой терапии и консультацией с Питером Ландоном. Накануне она использовала Майлса, теперь ее использовал Рассел. Вечером Наташа мягче обычного беседовала с Ландоном. В волосах ее запутались травинки. Больная Церера. Погубленная Афродита.

Ну, и кто же заделал Наташе ребенка? Возможно, никто — поскольку ни Майлса, ни Рассела никак нельзя было признать отцом. Тогда что же это? Губительная сила партеногенеза моей дочери Кали, которая одной рукой онанировала, другой мастурбировала партнера, третьей готовилась принять очередного, еще одну руку оставив свободной для слабых молящих жестов? Какая разница — она была брюхата. Майлс заботился о ней, когда ее рвало или когда она, по обыкновению, стонала и ныла. И пока он сидел в юридической конторе на Хай-Холборн, где теперь работал, Наташа, сука, отправлялась в Далстон, который для нее был просто еще одним малоизвестным районом Лондона, и тратила

его денежки на товар Берни. С Берни ее познакомила другая психопатка, не воспринявшая свое исцеление всерьез; эта молодая женщина, как и моя Наташа, посещала собрания излечившихся наркоманов как бы в рамках социологического исследования, делая пометки на корешках украденных чековых книжек.

Какое превосходное прикрытие для употребления героина беременность — так думала Наташа, попавшая в ловушку собственной гнусности. Себя можно дурить бесконечно.

Я видела ее из своего окна. Или, вернее, видела ее лодыжки, аккуратные — для такой высокой, цветущей женщины, — в фирменных ботинках по щиколотку. Я слышала звук ее шагов над своей головой, ее голос, взывающий к Берни. Видела, как отпирается замок. Жиры тоже видели ее и бормотали друг другу: «Ну и красотка, ну и красотка. Юная и цветущая, юная и цветущая», а Лити в это время шарил по своей коллекции популярных песен, чтобы извлечь из нее серенаду: «Все это та-а-ак прекра-а-асно!» Не скажу, что Наташа ходила к Берни каждый день, но раз в две недели я видела, как она дожидалась своей порции наркотиков на ступеньках у входа. И раз в две недели я ездила на Камберленд-террас,

чтобы поглядеть, как миссис Элверс справляется со своими увеличивающимися объемами.

Саддам вторгся в Кувейт, а мои девочки потворствовали своим желаниям. В начале второй половины их беременностей люди с повязанными полотенцем головами занялись проблемами Храмовой горы. А когда беременности близились к концу, мужеподобная Мэгги — Мэгги-Мэгги наконец удалилась, а в далстонском «Одеоне» пошел фильм, в котором умерший любовник очень мило навещает свою возлюбленную. Его крутили несколько месяцев при полном зале. Как нас веселила эта легкая комедия смерти. Затем, в конце года, когда большие стальные арабские фаллосы грохнулись на Тель-Авив и все эти кретины кинулись в убежища, они обе потеряли детей. Обе, Наташа и Шарлотта, потеряли своих детей — в течение одной недели.

Странно, если учитывать, как мало у них было общего, если не считать случайного антисоциального порыва, когда Шарли решила, что может обойтись без одного из своих беременных платьев прет-а-порте, и подарила его своенравной сестрице. Странно, что их колоколообразные тела срезонировали, особенно принимая во внимание, как по-разному обслуживались беременности

той и другой: Шарлотта регулярно сиживала в Лондонской клинике, листая глянцевые журналы, между баронессой и любовницей торговца оружием; а Нэтти время от времени притаскивалась в больницу Элизабет Гаррет Андерсон, своим неистребимым высокомерием вызывая неприязнь у повитух.

Удивительно, оба плода погибли по одной и той же причине — от отравления собственной мочой, их слабенькие мочевые пузыри были заблокированы врожденными опухолями. Не то чтобы Наташа не винила себя, не сокрушалась, что пошла ко дну из-за того, что плыла под притягивающим несчастья флагом из фольги. Потому что если что-то и верно в царстве эмоций, так это то, что случайные события воспринимаются как закономерные. Я употребляю героин, потом мой ребенок умирает, значит, моя наркомания убила моего ребенка. Справедливо, детка, даже слишком. Чертовски справедливо.

И выяснилось это тоже одинаково — когда каждая из них лежала на пухлой кушетке, а лаборантка пластиковой шайбой поглаживала большой живот с маленькими эхо. Сначала бодрый обычный комментарий, затем… молчание… неловкое смущение на лице каждой из лаборан-

ток. У обеих беременных женщин недавно был тяжелый период со рвотой, затем, как по волшебству, пару дней назад они почувствовали себя хорошо. Обе матери уже чувствовали шевеление младенцев — оно тоже прекратилось. «Хм… э-э-э… трудный случай…» Обе лаборантки с трудом подбирали слова, чтобы описать вышедшую из-под контроля ситуацию. Смерть *in utero*[30] заставит онеметь самого виртуозного краснобая — она слишком *забегает вперед.*

На пухлых кушетках обе экс-матери, придавленные тяжестью ужасных мертвых созданий внутри них, в скорби вытягивали руки, чтобы схватиться за своих мужчин. Обе пары охватила истерика. Ричард обрушил свои чувства на доктора, который в конце концов появился, чтобы сообщить Элверсам, что их ребенок мертв. Майлс не вмешивался. Обеим женщинам назначили *массу* валиума. Шарлотта осталась в Лондонской клинике, и в ту же самую ночь ей поставили капельницу с лекарством для сокращения матки, матка исторгла трупик, и его унесли в картонном лотке в форме почки. Наташа вернулась домой в Кентиш-Таун в раскаянии и смирении, пошаты-

---

[30] Примечания: 30
Во чреве (лат.).

ваясь от синих десятимиллиграммовых пилюль транквилизатора. Два дня спустя она вернулась в Гарретт, обколотая до бесчувствия, и из нее тоже выудили мертвую рыбку.

Оба недоноска появились в моей квартире в Далстоне. Как же иначе. Они ехали на задней полке машины Костаса, бок о бок с кивающим головой Цербером, похожие на окровавленные, никому не нужные подвески на зеркале заднего вида. Он положил их в пакет из супермаркета «Сансбери» — «Чистота, свежесть…» — и выгрузил у моей двери. Всю зиму, пока юные иракские новобранцы ложились в могилы с помощью британских и американских воздушных гробокопателей, и весной, когда голод иссушил суданцев, превратив их в карикатурные человеческие фигурки из палочек, дети Шарлотты и Наташи, которым не повезло с самого начала, обитали в подвальной квартире дома № 27.

Я не могла удержать их внутри. Получив как-то раз разрешение, они принялись ползать взад и вперед через кошачий лаз в задней двери. Два маленьких красненьких кузена с несформировавшимися лицами ползали по небольшой бетонной площадке, под маленькой стойкой с веревками для сушки белья. Или сидели ря-

дышком, обнявшись, на трех сырых ступеньках, что вели к участку сада, где не бывало солнца. Мертвые младенцы в бетонных джунглях. Мы из кожи вон лезли — и Лити, и Жиры, и Грубиян, и я, — чтобы уговорить их войти, но все без толку. Только к середине ночи, когда Жиры кружились в спальне, Грубиян бродил по коридору и сыпал проклятьями, а Лити пел «До полу-у-уночи готов я ждать…», бедные крошки взбирались на наружный подоконник и ползали у окна, открывая и закрывая крошечные ротики. Если я поднимала раму и нагибалась, то могла понять, чего именно им хочется. «Мы хотим пи-пи, — говорили они. — Нам надо пойти пи-пи». И уходили. Всегда.

Мы расстались с Клайвом. Мертвецы не разрывают отношений, просто отдаляются друг от друга, каждый в легком плаще сигаретного дыма. Одиноким в такой толпе не окажешься. Ни озлобления, ни слез, ни ощущения утраты. Клайв не вынес этого шоу ужасов в подвале — и кто его осудит? Он забрался, как в норку, в свою квартиру, набитую багажом, а утраченные принципы его прежней офисной жизни продолжали двигать по ней саквояжи, рюкзаки и пароходные кофры.

Как бы то ни было, взбунтовались Балканы, а в Милуоки в то же самое время обнаружили

квартирку, вроде жилища Клайва, только в ней штабелями лежали расчлененные тела. Насколько фантазия живых была омерзительнее, чем наша, простых теней. Умер Майлс Дэвис. Майлс, с его безупречной элегантностью, с его благозвучным шофаром, бесконечной классичностью. Майлс, чья брызжущая спермой труба служила украшением конца шестидесятых. Майлс, который соревновался с Диззи однажды жарким вечером на приеме, когда поэт сказал: «…Сентябрь, когда мы любили, словно в горящем доме…» Он был так сексуален, что впору говорить стихами. Он всегда заводил меня. Не то чтобы меня трудно завести — я всегда была готова. Умер Майлс. Мне казалось, что-то затевается.

Я умерла три года назад. В шестидесятые мы все были шокированы «Живым театром»,[31] но теперь я постепенно привыкала к театру мертвых. Мне больше не досаждало шутовство далстонских призраков, а моя ностальгия по прекрасным деткам, которые у меня когда-то были, обернулась бродячим зверинцем безобразных ублюдков. Собрания Персонально мертвых, ле-

[31] Примечания: 31

«Живой театр» (1951–1970) — театр с постоянной труппой и с определенным репертуаром, известный своими новаторскими постановками экспериментальной драмы.

нивые сентенции Фар Лапа Джонса — откуда мне было знать, что это мирная сторона жизни после смерти? Потому что в то время как мертвецы засасывали пылесосом бесполезный кокаин и пытались тереться друг о друга, живые уходили все дальше и дальше. Жизнь подпрыгивала, словно пробка, попавшая во все более ускоряющийся поток все более банальных новшеств. Столетие утекало по направлению к штепсельному гнезду. И если за первые три года я начала привыкать к тому, что умерла, то в последующие мне стало совершенно ясно, что я стала… еще мертвее.

Рождество 2001

Вскоре я надеюсь забраться довольно высоко. Нельзя же все время держаться за землю, как какая-нибудь всеми брошенная крыска. Я утешаю себя, пытаясь вообразить, что это испытание и что если я пройду его, то в конце концов прибудут всякие посольства и провозгласят меня истинно живой богиней. Эта двухэтажная квартирка, размером с коробку из-под ботинок, угловая. Между входной дверью и поганенькой лестницей, которая служит аварийным выходом из всех квартир, есть еще одна. пустая коробка. Даже сейчас, в этот мертвый промежуток между

годами, я слышу, как вверх-вниз по лестнице и по лестничным площадкам бегают дети, как подошвы их кроссовок шлепают по бетону. Но даже если они окажутся у соседней квартиры, то лишь для того, чтобы палкой грохнуть по почтовому ящику или по стальным ставням, которые муниципалитет поставил на окна. Так или иначе — дети никогда ничего не слышат. Ну да, мы никогда ничего не слышим.

Что это за тренировки? На ногах у каждого сложные сооружения из резины, искусственной кожи, замши, гортекса и даже, я бы сказала, симпатекса. Интересно, замечает ли кто-нибудь, кроме меня, зловещее сходство кроссовок и автомобилей? И те и другие сконструированы для стремительного броска вперед или назад. У них задрана задница, их прямоугольные торцы предвосхищают трагическое совокупление при столкновении задами. Автомобили становятся все меньше размером, все более ярко расписаны, а их пластиковые бамперы, боковые зеркала и спойлеры похожи на никому не нужные канты и складки кроссовок. Кроссовок, которые, натурально, становятся все больше. Скоро люди по рассеянности будут парковать кроссовки и обуваться в автомобили. Хорошо бы. Даже поли-

цейские автомобили стали фасонистыми. Если перечислить все странности — получится по всем статьям модный журнал. Красочный закон и кричаще-яркий порядок.

Симпатекс — дорогой материал, правда? Но он существует, я знаю. Я видела его рекламу в метро, когда Ледяной Принцессе еще не было совсем плохо и она еще могла ездить в «Маркс энд Спенсер» и пользоваться их щедростью при возврате вещей. Кажется, симпатекс — это искусственный материал, который повторяет форму тела владельца. Если бы он повторял форму намерений владельца, его стоило бы называть несимпатексом, во всяком случае, по отношению к людям, живущим со мной в Коборн-Хаусе.

Что это за тренировки, если от них никакого толку? Глупо, конечно, жить в одной стране с людьми, которые носят бейсболки — естественно, задом наперед, — при том что никогда в жизни не играли в бейсбол. Но во время нескольких кратких месяцев этого последнего круга жизни меня поразило, что я жила рядом с миллионами поклонников богини ветра. НАЙК — Ника — надпись украшавшая спортивные брюки и футболки, куртки и шляпы, ботинки и даже носки. Часто это была лишь вездесущая галочка,

эмблема торговца шмотками. Забавно, но мне, помнившей время, когда людям было не обязательно влезать в спортивную одежду, прежде чем закурить сигарету, эта галочка напоминала — всего-навсего — эмблему на старом пакете в Ньюпорте — только вверх ногами. Логотип — логос. Мир перевернулся. Дочери стали матерями — те, кто прежде кормил их, оказались их заброшенными детьми. Мамочка, почему у тебя кожа такая шершавая и жесткая? Потому что я чертов труп.

Да, они гуляют по загаженным улицам этой беспросветной дыры, Майл-Энд, Ист-Лондон. Они гуляют по этим загаженным улицам, посасывая свои сигареты, выделяясь своей вездесущей галочкой и демонстрируя все кричащие симптомы шизофрении. Обычно я наблюдала, как они болтались в районе Коборн-Хауса, до самых последних нескольких дней, когда Ледяная Принцесса уже не могла выйти на улицу или даже просто встать. Она думала, я хнычу, потому что она уводит меня от ржавых скрипучих качелей или хилой карусели, — а на самом деле я протестовала, что меня вообще тащат туда. Рядом с нами поклонники богини ветра пялились в небо, а в их внутреннем ухе раздавались голоса. Мобильники,

словно модульные электронные талисманы, магическим образом убеждали их, что они связаны с другими бесплотными особями.

Почему я иронизирую? Я сама могла бы как раз сейчас воспользоваться телефоном, но линия связи отключена, и куски пластмассы, которыми пользовались Ледяная Принцесса и Риэлтер, сейчас просто куски пластмассы. Если бы посольства прибыли, то не за тем, чтобы искать живую богиню, они бы потребовали уплаты кредита от Ледяной Принцессы или поколотили ее супруга. Наверное, если бы не этот мертвый промежуток между годами, здесь мог бы появиться лечащий врач или социальный работник. А сейчас они, засучив рукава, шумно и жадно поглощают жирную пищу, высказываются в пользу еще одного глоточка «адвоката», делают все возможное, чтобы забыть о конченых людях, с которыми им приходится сталкиваться во время работы. «Хорошо провели Рождество и Новый год?» — спросят их коллеги, когда они вернутся к своей хирургии в начале января. «О да, — ответят они, — я вновь ощутил, что принадлежу к среднему классу. А вы?»

Даже в квартире 32 в Коборн-Хаусе наступило время радости, — если не праздник в чистом виде,

то хотя бы намек на него. На отвратительном вьющемся растении здесь внизу красовалась нитка мишуры. А на мерзкую юкку там наверху она повесила несколько блестящих шаров. На телевизоре лежат, по крайней мере, три рождественские открытки, одна от самого непреуспевающего юриста. От кого две остальные? Черт знает. Я бы не удивилась, если обе они от членов «команды», с которой связаны Ледяная Принцесса и ее супруг. «Команда», дивный эвфемизм, — словно эта потрепанная шайка на самом деле столпившиеся в кубрике загорелые парни из «Айви-лиг», занимающиеся серфингом на мысе Кейп-Код.

Но единственный кубок Америки, который когда-либо держала в руках эта «команда», — помятая банка из-под кока-колы, проткнутая кривой иглой и закопченная дымом крэка.

Мишура, открытки и кусок рождественского кекса на пластиковом блюдце в одном из кухонных шкафчиков. Он даже не завернут в фольгу, потому что они извели всю несколько дней назад во время одного из своих экспериментов по освоению быта. Но все же я знаю, он здесь, я видела этот кекс, когда в последний раз ела подогретое пюре из баночки, сидя на нерабочей поверхности

рабочего стола, пюре, которое Ледяная Принцесса небрежно совала твердой пластиковой ложкой в мой мягкий ротик. А больше здесь ничего нет, кроме пары скомканных целлофановых пакетов пасты и трех заплесневелых баночек консервов. Было еще сморщенное яблочко на краю сервировочного окошка — но вчера я его съела.

Да, я собираюсь залезть довольно высоко. Здесь чертовски холодно — это я говорю с полным основанием, — и если я хочу пережить еще ночь, мне надо что-нибудь съесть. Я должна буду пробраться через лианы проводов, обойти кофейный столик, влезть на гору дивана, взобраться на подлокотник и пролезть по высокой спинке дивана к сервировочному окошку. Затем, изогнувшись на скользком меланине поверхности, балансируя над пустотой, каким-то образом открыть дверцу буфета. Почему в этой гнусной лачуге, где любое приспособление давно вышло из строя, дверцы буфета все еще закрываются?

Даже если я выдержу свою изнурительную экспедицию, нет никакой гарантии, что я сумею достать кекс. И даже если я его достану, неизвестно, сумею ли я спуститься и не упасть. Во всяком случае, тут есть кто-то, кто прервет мое падение; я не разобью головку о жесткий пол.

Нет, потому что он лежит здесь, красавец супруг Ледяной Принцессы. Я видела, как он опускался на пол, и знаю, что он справился с этим неплохо. Так и должно было быть, поскольку только здесь достаточно места, чтобы он мог вытянуться во весь рост, в своих кроссовках, в тренировочных штанах и футболке, на каждой вещи вездесущая галочка. Он ошибался, считая, что имеет дело с собственностью, но все это — его собственное недвижимое имущество.

Наверное, я должна бы испытывать благодарность за то, что они купили мне пару маленьких «Найков», чтобы я могла тренироваться в ходьбе. Но нет, не испытываю. Единственно, за что я благодарна, так это за оставленную на кофейном столике пачку из десяти сигарет «ВН» с фильтром. Без них я действительно пропала бы. Вот было бы забавно, если бы посольства обнаружили меня здесь одну, до поры созревшую, не просто играющую со спичками, а использующую их для того, чтобы зажечь сигарету? Черт побери. Да, хорошо снова закурить как следует, почувствовать, как никотин всасывается в мои живые ткани, обостряет мысль, увидеть маленькие клубы дыма. Снова ощутить запах.

Говорят, это замедляет рост, и я всегда ду-

мала, что речь идет о курении. Но нет, конечно, имелась в виду смерть.

ЕЩЕ МЕРТВЕЕ

«Я по-прежнему здесь — где вы?»

Последняя телеграмма фельдмаршала Паулюса Гитлеру накануне сдачи Сталинграда

ГЛАВА 12

Я обустроила свою смерть и рада была сообщить об этом Фар Лапу, столкнувшись с ним на улице у магазина миссис Сет. Он выглядел как обычно: в джинсах, увешанный бумерангами, с самокруткой в зубах, словно его занес в Далстон песчаный вихрь.

— Йе-хей, Лили-детка, чем занимаешься? — спросил он.

— О, то одним, то другим, — ответила я.

Подбежавший к нам Грубиян попытался лягнуть Фар Лапа в зад, вопя: «Негри-тос! В землю врос!»

Фар Лап, притворившись, что хочет ухватить за хвост енотовую шапку Грубияна, возмущенно воскликнул:

— Он никогда не перестанет безобразничать, этот Грубиян. Ни-когда.

— Когда-нибудь он наконец угомонится? — спросила я, прекрасно понимая, что Фар Лап уйдет от ответа.

— Кто его знает, но иногда приходит время собирать пожитки, Лили-детка.

— К чему ты клонишь?

— Может, тебе пора перебираться на новое место, хей? А то здесь вечно черный понедельник, верно?

Я передала ему зажигалку, которой пользовалась на этой неделе — прозрачную, голубую, пластиковую и в высшей степени одноразовую. Зажигалки наполнялись и пустели, появлялись и исчезали. Я оставалась все той же. Они были живыми, а я нет. Фар Лап закурил свою самокрутку, а я свою «BH». Мы стояли и курили, дым походил на пар, который должен был бы идти у нас изо рта этим холодным декабрьским утром. Перебраться на новое место? Что имел в виду Фар Лап? Надеюсь, не утомительное переселение в Далберб, такой же цистрикт, как Далстон, только на юге Лондона. Я несколько раз бывала в Далбербе. Там любили селиться состоятельные мертвецы — в солидных домах, за аккуратно подстриженными живыми изгородями, тянущимися вдоль широких пешеходных дорожек и тихих синевато-коричневых бетонных дорог, напоминающих почти недвижные мутные реки.

Нет, только не Далберб, одновременно безграничный и ограниченный, как и другие населенные мертвецами части Лондона. Только не Далберб, где каждую милю дома отступают

от дороги, и вас встречает череда все тех же вымирающих магазинчиков, что и милей раньше — лавки мясника, булочника, зеленщика, торговца скобяными товарами. Только не Далберб, где за станцией метро «Северный Далберб» следует просто «Далберб» и наконец «Южный Далберб». Я навидалась Далбербов еще при жизни — проклятье, я вырастила двух детей в Хендоне!

Но есть места и похуже Далберба. Возможно, смертократия — которая столь же всесильна, сколь и непостижима — намерена перевести меня в провинцию. И что меня там ожидает? Там не будет ни работы для пожилой толстой женщины, ни автобусного сообщения, чтобы выбраться куда-нибудь еще. Моя жизнь превратится в череду пикников «Женского института», в плеванье чаем у соседей и прогулки по пшеничным полям, совершающим самоубийственный пестицид. При одной мысли об этом охватывает скука.

— Что-то тебя почти не видно на собраниях, Лили. — Фар Лап, покурив немного, сменил тему. — В чем дело? По-твоему, тебе там нечему учиться?

— Раз уж ты спросил, я отвечу: нет. По-моему, для собирающихся там бедолаг это просто повод оплакать свою смерть. Если вы хотите облегчить

им условия существования, то это пустая трата времени. Если вы хотите им помочь, то это так же эффективно, как согнать туберкулезников в одну комнату и предложить им кашлять друг на друга. У меня, слава Богу, не туберкулез, а смерть. Я работаю, на смерть мне вполне хватает. Я плачу за эту грязную квартирку, за сигареты и еще за электричество — зачем мне тратить время на какую-то чушь?

— Помнишь, что я говорил тебе раньше, детка?

— Что ты имеешь в виду? Ты говорил так много, и это значило так мало.

— Что все это болтовня, вздор, ложь.

— Что именно? Я нисколько не сомневаюсь в твоих словах.

— Йака! Не придуривайся, детка, ты не маленькая. Веди себя в соответствии с возрастом. Пораскинь мозгами! — Я никогда не видела его в таком волнении: он дернул головой, зеркальные очки блеснули, угловатые руки рассекли холодный воздух. Он даже помахал у меня перед носом своим дурацким бумерангом, надеясь испугать. — Собрания, детка, это место, Жиры, Лити, Грубиян — все вместе. Усекла?

Уставившись на него, я увидала двух маленьких Лили, глядящих на меня из стекол его очков.

Интересно, у меня по-прежнему крупный нос, удлиненное лицо и землистая кожа? Не разгладились ли морщины хоть чуть-чуть? Не уменьшились ли мешки под глазами? Не смягчила ли смерть мои черты?

Что за чертов психолог наблюдает за мной из-под этих непроницаемых очков? Я постаралась понять его слова, но не нашла в них никакого смысла. Вдобавок, все, с чем я столкнулась в загробной жизни за последние несколько лет, казалось мне вполне осмысленным. Особенно моя работа в «Баскинз рилейшнз»: Лити сидел на моем письменном столе, а остальные общались со мной лишь формально — совсем как в жизни.

При жизни меня всегда поражало, как получается, что ты, немолодая, замужняя женщина с акцентом, в английской конторе превращаешься в лицо без пола, без возраста, без семьи и гражданства. Тебе могут задать вопрос об отпуске или о новых туфлях и даже — в особых случаях, вроде начала войны, — о твоих «взглядах», но никогда не спрашивают о том, что выделяет тебя из числа играющих на пластмассовой клавиатуре. Мужья, дети, дом, убеждения — все это не входит в круг интересов твоих коллег. Я приходила, писала пресс-релизы и уходила. Помню, как я думала,

тащась из Кентиш-тауна в «Чандлер паблик рилейшнз», с больными ногами, артритом, а позже и раком, что моя жизнь подобна смерти. А теперь моя смерть подобна жизни. Эта жутковатая симметрия соблазнительна и весьма правдоподобна.

— Я думаю, Фар Лап, честно думаю. Но не могу «усечь», как ты это называешь.

— Йе-хей, Лили-детка, тогда тебе не прикрепиться к крючкам и петелькам благодати.

— Наверное, нет.

— И все же, если передумаешь, то знаешь, где меня искать.

— Где? — Я никогда не знала, где он сейчас. Как-то он сказал мне, что вечно странствует, и я поймала его на слове.

— Ни-где, — ответил Фар Лап и зафыркал, защелкал языком и щеками, как бы напоминая мне, насколько мы с ним разные.

— Не смеши меня, или я подумаю, что ты уже давно сообщил мне номер своего телефона.

— Йе-хей, я серьезно, детка. Ты разве не заметила, что происходит в городе?

— Что ты имеешь в виду?

— А то, что вот-вот наступит 1992 год, детка. Экономический спад кончился, йе-хей!

— Ну, кончился… а ты-то здесь при чем?

— Когда в карманах у лондонских парней заведутся деньжата, они захотят их спустить — и все в этой чертовой жизни вернется на свою тропу.

— Ну и что? — Господи, я не выносила споров с Фар Лапом. Меня ужасно раздражала эта смесь первобытных формулировок и чисто австралийских бессмысленных вопросительных словечек.

— Как что? Они захотят свое «кайу» — свое мясо. А я его им дам, ей-хей? Покурим? — Он протянул мне маленькую круглую банку «Лог Кабин», и я ее взяла, для разнообразия. Я много раз видела, как Фар Лап высыпал крепкий табак на еще более крепкую ладонь, а затем ловко, не глядя, заворачивал в крохотный клочок бумаги, слетавший с нижней губы, и повторила эту процедуру не глядя. В смерти я стала неожиданно ловкой. Он поднес спичку. Мы закурили. Если бы я чувствовала вкус, дым наверняка отдавал бы древесиной.

— И где, — спросила я, сплевывая крошки табака, прилипшие к губе, — ты собираешься давать лондонцам их «кайу»?

— Нигде. Открою ресторан. — Он снова фыркнул. — Что-то вроде трактира, йе-хей?

— *Ты* откроешь ресторан? — Я вспомнила, как

в шестидесятых обедала с Йосом в «Овертонс». Счет, помнится, не превышал шести фунтов на двоих. Естественно, туда входило и вино, но на чаевые Йос поскупился. В 1958 году, когда я переехала в Лондон, там было два вида ресторанов — плохие и ужасные. А теперь мертвый австралийский абориген собирается открыть еще один.

— Да, «Нигде», так он будет называться, ей-хей? С центральноавстралийской кухней. У меня тут есть несколько аборигенов, они готовят мне то, что едят в буше — лепешки, кенгуру, варанов. Посетители будут приходить, садиться на песчаный пол вокруг костра, йе-хей? Костер горит жарко-жарко. На потолке большой экран, на экране небо моей страны, йе-хей?

— Думаешь, это будет иметь успех?

— Само собой. Этот городской народ ест все подряд, а повара у меня хорошие, йе-хей?

— Но где это «Нигде»? — Почему, почему, почему я опять позволяю втягивать себя в дурацкий разговор? Беседа с Фар Лапом напоминала мне разговор на идише — из одного вопроса тут же вытекал другой.

— О, видишь ли… — Он опустил на плечо бумеранг, поправил темные очки, пригнул поля шляпы и показал мне каблуки своих сапог. — Это

здесь, поблизости. Спроси любого, и тебе покажут. Поверь мне, Лили — детка, меня легко найти, йехей? Заходи. — Он поднес тонкую руку к толстым губам, как бы опрокидывая стакан. — Я угощаю.

И с этими словами он удалился по Аргос-роуд, надвинув шляпу на глаза, перекатывая самокрутку из одного угла рта в другой. Его запыленная фигура исчезла за магазином миссис Сет. Он ушел в «Никуда». Невозможный человек. Подумать только, а я-то воображала, что он может научить меня чему-то, вывести куда-то. А получилось в «Никуда».

Но туда я идти не собиралась — чего ради? Возиться с метафизикой, неуклюже встраивать крошечные космологии в мои унылые будни? Муму в муму. Бедолага в бедолаге. К тому времени все это должно было бы начать соединяться в моем мозгу, верно? Или хотя бы тогда, когда я узнала, что Наташа, потеряв ребенка, тут же порвала с Майлсом. А особенно, когда она, разыскав старую подругу, решила на год отправиться в Австралию.

Старая подруга преподавала в Сиднее — вот почему она и осталась подругой. Наташа обращалась с друзьями удивительным образом: не церемонилась, а после проливала соленые сле-

зы на нанесенные ею же раны, лишая друзей возможности испытывать к ней симпатию в ближайшие тридцать лет. Но эта подруга уехала сразу же после того, как они обе закончили школу искусств.

Ее звали Полли Пассмор. Мне она помнится пухленькой хорошенькой девчушкой со здоровой чувственной тягой к волосатым ногам, в отличие от ее гладеньких. Она громко смеялась, пила слишком много белого вина, а когда наконец пошла в учительницы, баловала вверенных ей детишек. Жизнь Полли Пассмор походила на яркие коллажи, которые она любила мастерить — из самых разных материалов, объединенных ее добрым нравом. В школе она тяготилась своей миловидностью, благодаря которой снискала угнетавшую ее популярность. В колледже Святого Мартина она познакомилась с Наташей. Для нее это стало облегчением, ибо рядом с гибельной красотой Наташи Полли превратилась в обычную пухленькую девчушку. Она сумела играть вторую скрипку, о чем всегда мечтала.

Полли терпеливо возилась с Наташей. Отпаивала чаем и снабжала носовыми платками на первых этапах пути к распаду. Утешала бессильно рыдавших молодых людей, чьи не ко времени

вспыхнувшие сердца Наташа разбила о кухонный пол квартирки, где они с Полли жили. С этого же пола она пару раз подбирала Наташу после первых мучительных и еще вызывавших раскаяние передозировок героина. Она ходила с Нэтти в суд, когда ту обвинили в магазинной краже. Но это еще не все, она дописывала картины, которые торопливо набрасывала Нэтти, чтобы та могла представить их экзаменационной комиссии.

Полли успела уехать до того, как стало по-настоящему паршиво. Возможно, она получила от Наташи все, что хотела. Во всяком случае, Полли поняла, что ей никогда не стать ни такой красивой, ни такой проклятой. Полли покинула Лондон, считая, что у ее подруги подбито одно крыло, хотя крыло уже было ампутировано. Сначала она отправилась в Глазго, потом на остров Малл, потом в Калифорнию, потом в Банф. Она неискусно учила искусству, имела множество неудачных связей с мужчинами, которые вели себя с ней непростительно. С легкой руки своей подруги она превратилась в толстую некрасивую женщину, пить сладкое вино становилось все горше. Иначе как могла Полли Пассмор все это время поддерживать с Наташей связь? Как могла предложить ей пожить у себя, когда жизнь из той

была высосана без остатка?

Последнюю порцию героина Наташа занюхала с металлической мыльницы в туалетной кабинке транзитного терминала в Абу-Даби. Когда самолет коснулся земли в Сиднее, все пассажиры зааплодировали, выкрикивая австралийские приветствия и издавая возгласы радости. Наша маленькая привередница зажала хорошенькую головку между худыми руками, и ее вырвало в предусмотренный для этого мешок. Она уже стала классическим антииодом — превращая мечты в кошмар.

Шарлотте пришлось слишком много вынести. Доставшееся ей в наследство лицо папаши, мою смерть, сестру-наркоманку, совокупление по расписанию. Но эту., эту… *вселенскую* несправедливость она не вынесла. Через месяц ей позвонила какая-то женщина и спросила, не хочет ли она посещать групповые занятия, где женщины, пережившие выкидыш, собираются вместе и демонстрирую!' друг другу фотографии своих безжизненных малюток, предусмотрительно отснятые персоналом. Закусывать жалкими остатками, крохами материнства с роскошного пустого подноса жизни было не в характере Шарли. Она не позарилась на объедки и откло-

нила предложение. Лучше пережить травму. Она видела своего мертвого ребеночка в кошмарах, обретавших пугающую реальность. Каждую ночь он приползал к ней, бедный крошка, по фасаду Камберленд-террас. Он стучался, пропащая душа, в большое оконное стекло. Шарлотта поднималась с супружеского ложа и брела по мягкому ковру, чтобы столкнуться с жестокой действительностью. «Что случилось, моя любовь? Чего тебе, бедняжка?» Его крошечный ротик открывался и закрывался в оранжевом свете уличных фонарей. Распахнув окно, она наклонялась ниже. «Хочу пи-пи, — говорил он. — Я хочу пи-пи». Стыд и срам, этот маленький шельмец не ленился тащиться из Далстона только для того, чтобы расстроить свою мать. Черт побери, я даже чувствовала сострадание к Шарлотте — разнообразия ради.

Днем Шарлотте в каждой собачонке на улице чудился покрытый мехом эмбрион. Элверсы отказались от тотальных анализов и прекратили систематические соития. Теперь у них было около тысячи отделений «Бумажных обрезков», и ничто не предвещало снижения темпов роста. Конечно, в конце восьмидесятых у них возникли незначительные трудности, однако теперь,

подобно ракете, облетевшей Луну рецессии и использующей силу инерции, предприятие Элверсов с огромной скоростью рванулось вперед. В девяностых колеса экономики начали свободно вращаться в любую сторону. Теперь уже не стоял вопрос о том, чтобы выявить потребности людей, чтобы их удовлетворить, теперь надо было пробудить желание приобрести любой старый хлам, а затем его предложить. Именно этим и занимались Элверсы — снабжали людей старым хламом.

Никогда еще в истории человечества не обрамляли столько картин, не заворачивали столько подарков, не упаковывали столько безделушек, не переплетали столько книг, не делали столько оттисков, не ставили столько штампов, не вешали столько полочек. По мере того как информация все больше компьютеризировалась, письменные принадлежности становились все более роскошными. Население больше не посылало друг другу писем — бог ты мой, они перешли на огромные яркие открытки. Страшила ли их, как и меня, тирания чистых листов бумаги? Или, быть может, как я подозревала, огромное количество «Бумажных обрезков» было само по себе космическим дополнением к их непридуманным, неслучив-

шимся и нерассказанным историям?

Разумеется, Элверсы не складывали все яйца в одну корзинку. Подобно Эстер Блум, они покупали картинные галереи, недвижимость и издательства. Из легкомысленно зажиточных они сделались всерьез богатыми. Ни Ричард Элверс, бросивший школу в шестнадцать, чтобы торговать с лотка в Камден-Лок белыми рубашками без воротника, ни Шарлотта, купившая одну из этих рубашек, не догадывались о том, что конституция страны еще не написана, и потому не стеснялись принимать у себя законодателей, лордов и поп-звезд.

Да, я испытывала некоторую симпатию к Шарлотте, что должно было меня насторожить. Куда подевалась моя глупая бесцветность равнодушия теперь, когда я особенно в ней нуждалась? «Отверженные» уже почти десять лет не сходили со сцены — неужто мне так и не удалось понять свою истинную природу? Я пряталась за немыми по роду службы официантами, обслуживающими членов правительства, писателей, заработавших миллионы на триллерах, и телевизионных воротил — всех тех, кто составлял кружок Элверсов, и приходила в ярость. От тесноты этой недавно устроенной столовой, превратившей некогда

просторную квартиру в подобие оркестровой ямы. От слов, вылетавших из привилегированных ртов. Вы слышали о том, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами предупредило женщин с имплантированной грудью об опасности авиаперелетов, дабы импланты не взорвались? Будь у меня хоть малейшая возможность, я бы сделала всем этим ублюдкам такую имплантацию груди, о которой они бы еще долго помнили. Жаль, что я не стала неприкаянной душой. И вроде Берни не понимала бы, что мертва.

Не правда ли, нет смысла посылать продовольствие бывшему Советскому Союзу? (Тогда еще ни один из них не мог и помыслить о слове «Россия»), Вы были в «Нигде»? Это новый австралийский ресторан с туземной кухней. Tres tres amusant.[32] Каждый вечер в квартире моей дочери я скрежетала зубами. Холодная война закончилась, и эти подонки победили. Теперь все стали либералами. «В сущности, я либерал», — говорили они друг другу, словно это давало им право напялить на себя рубашку фашиста или брюки анархиста. По-видимому, единственными людьми, которые этого так и не поняли, были сатанинские пол-

[32] Примечания: 32
Очень, очень забавно (фр.).

чища толстых, черных бедняг тред-юнионистов, озабоченных СПИДом в Гамбии.

Да, мной овладевал старомодный праведный гнев. Еле сдерживаемая ярость. Законсервированная желчь. Процеженный яд. И это Англия! Низкорослые, смуглые, преуспевающие друзья-евреи уговаривали Ричарда с Шарлоттой предпринять шоп-тур в Феникс, штат Аризона, где в племенном сиротском доме можно приобрести высокого светловолосого арийского ребенка, в родословной которого будет указано, что он произошел от мормонки и шведа. Бездетные друзья с «либеральными взглядами» советовали Ричарду с Шарлоттой слетать в Манилу, или в Манагуа, или на Маврикий, где можно задешево купить себе мулатика. Так сказать, выбрать на детском базаре. Известные своей благотворительностью и безупречной моралью супружеские пары — на взгляд которых, благотворительность начинается как можно дальше от дома — призывали Ричарда с Шарлоттой отправиться с автофургоном медикаментов в Румынию, Сомали или Рангун, где — после значительных усилий и подкупа «голубых касок» — им, быть может, посчастливится раздобыть малютку с проказой, гемофилией или энцефалитом. «Вздувшийся

лобик, это так мило!»

О, это меня бесило! Я возвращалась к себе в Далстон, где Грубиян в своей роскошной енотовой шапке смотрел документальный фильм о беспорядках в Лос — Анджелесе, закинув перепачканную грязью ногу на подлокотник кресла. «Так их, ниггеров! — одобрительно вопил он. — Бей черномазых!» Под окном сидели, съежившись, выкидыши Шарли и Нэтти: «Мы хотим пи-пи», — а на кухне отплясывал на линолеуме Лити: «Под нога-ами осыпаются гли-ина и бето-он». В ванной голые Жиры мотали кишки, бормоча: «О, она в ярости, о да. О, она в ярости. Толстая старуха, старая толстуха — и в ярости. Толстая старуха, старая толстуха». И еще там была Хе-Ла, шептавшая со стен: «Ну почему эти дети не *слушаются,* когда я прошу их не таскать в дом грязь?» И еще там была я, изнемогавшая от всех этих неприятностей: мертвого потомства, выходок любимой дочери-наркоманки, пустившейся в очередную авантюру, и идиотского намерения Шарлотты *купить* себе ребенка.

Грубиян никогда не разговаривал со мной по-человечески, он всегда кричал. Но как-то вечером он взял мою старую руку в свою молодую, как бы желая сказать, что мы можем положиться друг

на друга, и повел меня. Повел прочь из квартиры. Вверх по лестнице к входной двери. С улицы Грубиян крикнул в окошко Берни: «Сбрось ключ, ты, наркоман паршивый!» И ключ от замка начал спускаться вниз.

Пока мы поднимались по ступенькам, заворачивали за угол, проходили мимо грязных окон и ободранных дверей на первом и втором этажах, я заметила в нем перемену. Если вы не обращали внимания на настроение своих детей при жизни, вообразите, что с вами происходит после смерти. Для меня Грубиян оставался только грубияном, которого лучше было не замечать, особенно памятуя о том, как он бросил в лицо одной сухопарой далстонской леди, после смерти озабоченной лишь тем, как бы поизящнее подать чай викарию: «Да подавитесь вы своим чаем вместе с викарием!»

Но пока я поднималась по лестнице, следуя за его измазанной в грязи попкой, беззащитной попкой девятилетнего ребенка, он перестал быть для меня Грубияном, и вновь стал Дейвом-младшим.

Наверху нас ждал Берни, в застегнутой на молнию куртке, скалясь в бороду. Он не делал вида, что ерошит светлые волосы Дейва. Он их взъерошил на самом деле. Я вспомнила, что он отчасти

жив. То есть думает, что жив. Я последовала за Дейвом. Мансарда Берни была точь-в-точь такой, какой ее описывала миссис Сет. Здесь наверху, под скатом крыши старого дома, Берни жил десятилетиями — грязный городской бедуин, потерявший охоту к странствиям. Повсюду, словно для игры в «чижа», которая так и не началась, валялись сотни картонных упаковок из-под фольги, купленной у миссис Сет. А вперемешку с ними — молочные бутылки, наполовину заполненные мутной коричневой мочой; глыбы смерзшейся одежды; кипы заплесневевших журналов и газет. В мертвой точке посередине, в лучах проникавшего сквозь грязное потолочное окно света, высился голый матрас с позорным пятном посредине. Рядом с ним стоял электрический обогреватель, раздобытый Берни, два его стержня светились в полутьме.

Словно остатки жертвоприношения, принесенного на домашний алтарь, по каминной решетке, стенам и голому полу были разбрызганы расплавленные и обуглившиеся остатки Берни и его погибшей куртки. Из кучи хлама у стены звучал приглушенный печальный голос: «Там в конце пустынной улицы Отель, где разбиваются сердца». На какой-то миг мне показалось, что сюда

пробрался Лити, но музыка принадлежала другому десятилетию. Тогда я поняла, что это Элвис и что звук идет из паршивенького транзистора пятидесятых годов, заваленного нижним бельем.

Вскоре из мрака выплыли и другие предметы. Рядом с матрацем лежала открытая книга обложкой вверх, на которой пригожая парочка сжимала друг друга в объятиях, ниже шла надпись: «Пейтон Плейс». Упершись в груду картонных коробок, силясь поднять их своими рельефными руками, стоял робот Робби, скуливший от фрустрации батареек. Дейвид пробирался через весь этот хлам, словно прекрасно знал комнату, словно это *он* здесь жил. Одна узкая ступня уверенно опустилась на блестящий новенький экземпляр «Кота в шляпе», вторая — на перевернутую тарелку фрисби. Берни остался стоять у двери, его глазки, напоминавшие дырочки от пуль, перебегали с Дейвида на меня и обратно на Дейвида, ухмылка по-прежнему змеилась в его всклокоченной бороде. Сюда не раз забегала моя дочь-наркоманка, теперь пожаловали и мамаша со старшим братом. Дейвид приблизился к маленькой двери в дальнем конце мансарды и распахнул ее. Такая дверь, подумала я, должна вести в какую — нибудь вонючую кухню или

замызганную ванную. Кивком головы мальчик пригласил меня следовать за ним — и я пошла.

И оказалась в 1957 году, в Вермонте, когда я застала его на заднем дворе играющим с двумя приятелями. Трудно сказать, что потрясло меня больше, ибо все чувства ворвались в меня с ревом, все впечатления — со свистом, и тут же нахлынули воспоминания, воспоминания. Во-первых, я поняла, что, перед тем как заняться любовью с Бобом Белтейном, я три или четыре раза курила марихуану в его фургоне у озера Мозес. Во-вторых, что я слегка под кайфом: каждый шорох гулко отзывается в ушах; небо такое глубокое и синее, что больно глазам; густо пахнет кленовым соком позади двора; сверчки и осы стрекочут и жужжат так громко, что, кажется, оркестранты настраивают струнные перед «Фантазией». В-третьих, все это происходит Теперь. Стоя на крыльце, я *чувствую,* как пружинят доски у меня под ногами, как летний жар пышет в мое *молодое* лицо, как каждое дуновение прохладного ветерка играет под легким хлопковым платьем.

О, Господи, какая *отрада! Какие ощущения!* Какой непостижимо широкий горизонт! Мой взгляд притягивают кремовые купы облаков, зеленая трава, бурая земля и белые обшитые

вагонкой дома. Вихрь непостижимо ярких образов для того, кто явился из разлагающегося Далстона, из мертвого будущего. Но вот, через несколько мгновений — а жизнь и состоит из таких мгновений, из крохотных «теперь», вам не кажется? — возникают и другие, более глубокие и приятные ощущения. Теплая тяжесть в животе от недавно полученных и страстно желаемых ласк, отголоски ударов пениса глубоко внутри, соленые струи оргазма — мои и его, кисло-сладкие и кислотно-щелочные. Моя кожа еще хранит запах Боба, я знаю — еще бы мне не знать, — что я совсем недавно лежала в объятиях своего любовника. Я помахала ему рукой с передней веранды и дождалась, пока плавники похожей на акулу машины этого потрясающего мужчины исчезнут за углом.

Я иду по дому ощущая приятную слабость в длинных ногах, еще совсем недавно обвивавших его смуглую талию; мои потные ладони еще хранят отпечаток его ягодиц, на губах еще остался привкус его поэтических губ. Мое влагалище и волосы на лобке еще хранят его влагу — у него всегда были с собой «Троянцы»,[33] но я просила

---

[33] Примечания: 33
«Троянцы» — марка презервативов.

не вводить их внутрь Елены. Он умел вовремя выходить, каждый раз, такое потрясающее чувство ритма, а не только рифмы было у моего Боба. Да, я бреду по дому, у меня перед глазами еще стоит темный образ гостиной, где валяются игрушки Дейвида — новенькая тарелка фрисби, старый робот Робби, маленький транзистор, — а на двух неудобных стульях лежат открытые книги, которые читаем я и его отец: «Пейтон Плейс» и «Правонарушения: малолетние преступники в современной Америке». Господи-боже! Как я могла глотать такую дрянь? Как мог он переваривать такую гадость?

Я оставила трех девятилетних мальчишек — Дейвида и соседских Гэса с Гари — одних на целый час, они и пустились во все тяжкие. Вот они стоят в одних трусах, измазанные с ног до головы черной грязью, которую развели с помощью шланга. *Меня затапливает волна осознания, способная ослабить, откатившись, новую волну, которая вот-вот разобьется о берег. Прекрати, останови это Теперь, останови неправедный гейзер ярости, готовый сорваться с губ.* «Во что вы играете?» — кричу я Дейвиду с заднего крыльца. «В ниггеров!» — отвечает он. Я выскакиваю во двор, в два прыжка оказываюсь рядом с ним, сбиваю его

енотовую шапку, хватаю за светлые волосы и бью по лицу — раз, два, три. Так английские актеры изображают офицеров гестапо на допросе.

Он сказал это просто гак — я понимаю. Красное облако гнева примчалось с запретной планеты, где обитает моя утоленная похоть. Но уже слишком поздно: лица двух других мальчиков напоминают расистскую карикатуру на негров в шоке, а мой Дейвид уже мчится по заднему двору, по полисаднику, к дороге. Я выбегаю из-за угла как раз в тот момент, когда в него врезается крыло автомобиля. Скорость была небольшой, миль тридцать в час — в нашем сонном спальном районе мы все спим с соседями, — но у этих громоздких пожирателей бензина огромная масса, и мой мальчик, словно кукла, взлетает в воздух. «Чтобы ваши дети стали акробатами». Теперь я понимаю смысл еврейского проклятья. Прежде чем упасть на асфальт, его астральное тело делает полтора оборота в воздухе, и я понимаю, что он уже не мой, что вместо лица у него кровавое месиво. И вспоминаю фразу, которую часто кричала ему, когда он меня особенно донимал: «Иди, поиграй на дороге» — каждое слово врезается в меня, как удар кнута. Оказывается, причитать и рвать на себе одежду — рефлекторное действие.

«Господи! Господи! Господи!» Я бегу к останкам мертвого мальчика на дороге, водитель выскакивает из машины и тоже падает на колени. «Господи! Господи! Господи!» Еврейка и гой стоят над маленьким искалеченным тельцем. Когда еще столько неверующих так громко взывали к Мессии?

«…Ты почувствуешь такое одиночество, что можно умереть». Металлические звуки окутали меня, и в одно мгновение из стройной, молодой, рыдающей от горя женщины я превращаюсь в толстую, кипящую от ярости старуху. Синее небо куда-то уплывает, поднимаются грязные стены, в дверях стоит Берни, возвещающий о возвращении в смерть, в вечное Тогда.

Он что-то бурчит, когда я протискиваюсь в дверь и выскакиваю на площадку. Внизу под ногами Грубияна грохочут ступени, в подвале хлопает дверь квартиры № 27.

— Ты когда-нибудь вычистишь эту вонючую дыру? — спрашиваю я хозяина мансарды.

— Да… Конечно… — отвечает он не моргнув глазом. — Конечно… просто сейчас я занят.

О да, он чертовски занят — тем, что раздает бумажные пакетики с отпущением грехов, тем, что слушает, как причитают стены. Занят ничегоне-

деланием, этот Наркоман, поганый восьмой гном. Если б я только могла нагнать на него страху, но он уже посмотрел все фильмы ужасов. Что-что, а это было ясно.

Рождество 2001

Кроссовки на высоких каблуках — вот что это, воистину так. Они точно такие же, как баскетбольные кеды пятидесятых — на резиновой подошве, с белым или черным матерчатым верхом и толстыми белыми шнурками крест-накрест, — но на высоком каблуке. Смех, да и только. Эту дурацкую обувь пробудили к жизни черные уличные музыканты. Они никогда не сидели на реках вавилонских, не отплясывали рок-н-ролл на лоне Авраамовом, и колесница никогда не спускалась к ним, чтобы подбросить до дома, зато они придумали кроссовки на каблуках. Если Бог есть, то он наверняка помешанный на моде педик, так много внимания он уделяет мишуре этого мира и так мало — сути.

Я не ношу кроссовок на высоком каблуке. Ледяная Принцесса и ее супруг, возможно, и смешны, но никогда не тратят твердую валюту на мягкое дерьмо. Тем более для меня. Нет, у меня есть пара фальшивых «Найков», купленных с лотка

на Майл-Энд-роуд. Беспородная обувка для беспризорников. «Нет, это не подделка, приятель!» — заверил оборванец, томящийся за прилавком. «А почему они стоят каких-то два паршивых фунта?» — спросил Риэлтер, держа на распухшей ладони крошечные кроссовки. «Не хочешь, не бери, приятель», — ответил оборванец, и Риэлтер их взял, потому что ничего другого ему не оставалось. К тому времени он подурнел, огонь в чреслах угас и от его орудия было мало проку — он мог очаровать одну Ледяную Принцессу, которая давно была к нему неравнодушна. «Пока-пока», — сказал оборванец. «Пока — пока», — ответил Риэлтер.

Какому из двух английских классов я отдаю предпочтение теперь, после того как потерпела фиаско в обоих? (Аристократов я исключаю из принципа — еще и потому, что все они поганые фрицы.) Среднему классу, с его смехотворным чувством уязвленной ответственности за фантомную боль в ампутированной империи? Вы замечали, что, если толкнуть их на улице или в транспорте, они всегда извиняются?«Простите!» — непроизвольно блеют они. «Простите!» Простите за то, что мы захватили вашу землю и плоды вашего труда; простите, что мы забирали

ваших мужчин и убивали их на наших войнах; особые извинения за то, что мы научили вас играть в наш идиотский крикет. Мы глубоко об этом сожалеем, наш черный / смуглый / желтый (ненужное зачеркнуть) друг. Хорошо еще, что они перестали говорить о себе в третьем лице. Что можно подумать о людях, которые упорно говорят о себе «ваш покорный слуга»? Лишь то, что они обречены раствориться в потоке простолюдинов.

В этой простонародной среде мне пришлось провести последние год-два своей жизни. «Порядок!» — говорят они друг другу. Или время от времени спрашивают: «Порядок?» «Пока-пока» говорят они на прощанье и «здорово» при встрече. Их любовь отличается от любви в общепринятом смысле, как дизельное топливо от бензина — это более тяжелое, более грязное и менее пылкое чувство. Не то чтобы они питают отвращение к бензину, эти допотопные кокни. Они прекрасно умеют обращаться с пропитанными бензином тряпками. Они обожают засовывать их в щель для писем своим черным / смуглым / желтым (ненужное зачеркнуть) соседям, поселившимся в их владениях. Это так по-английски: средний класс говорит «Простите!» и вышвыривает их на

улицу, в объятия бриллиантовых наркоторговцев и перламутровых королев.[34]

Я свалилась прямо на него. Потянувшись за рождественским кексом. Ирония судьбы в том, что Риэлтер умел хорошо говорить — когда хотел. Но где-то на страшном пути, по которому он шел, ветер переменился и задул гласные глубоко ему в глотку, где они и умолкли навсегда. Я свалилась на него, а он был холодным, твердым и неподатливым. Насколько это лучше, чем когда он был живым, — тогда он был горячим, мягким и бесконечно уступчивым. На его голубых губах выступила странная розовая пена. Я могу рассказать о его ротовом отверстии, об окоченении, о мертвой плоти под моими проворными ручонками и пухлым тельцем, но я не в силах описать вам фантастический вкус этого мороженого. Как упоительно было уплетать сытный кекс, не обращая внимания на смородинки и изюминки в волосах у него на груди.

Это было несколько часов назад. Кажется, во второй половине дня. Потом я немного побродила по квартире, теперь хожу уже везде. Вчера и позавчера я спала внизу на диване, подоткнув под

---

[34] Примечания: 34

Победительница проводимого в Ист-Энде конкурса традиционной одежды уличной торговки.

себя подушки для тепла, но все равно не смогла согреться. Сегодня ночью будет мороз, а маленькие детишки вроде меня боятся холода. И больше некому вложить пакетик с горячей картошкой в мои пухлые ручки или согреть дыханием коротенькую шейку. Между ступеньками здешней лестницы широкие просветы, карабкаясь по ней, ты видишь сквозь эти просветы комнату внизу. Добравшись до второго пролета, я вижу прямо перед собой большой стенной шкаф.

Я решила во что бы то ни стало туда влезть — приволочь что-нибудь из мебели, взобраться наверх и дотянуться до ручек. Но для моей затеи годится только стол, на нем стоит телевизор, а этот телевизор, хотя он и переносной, мне перенести не под силу. Даже если удастся соорудить нечто вроде мостков, а дверцы шкафа все равно откроются наружу и меня отшвырнет обратно на лестницу. Если удастся забраться внутрь шкафа, что я там найду? Что смогу набросить на себя? Шкаф почти пуст. Как могла женщина, так часто посещавшая «Маркс энд Спенсер», уйти из жизни почти раздетой? О, я знаю, прекрасно знаю.

Моя кроватка — это клетка на ножках. Она стоит в углу за телевизором, между двумя ок-

нами и двумя холодными батареями под ними. Даже когда батареи были горячими, из окон страшно дуло, и я в конце концов оказывалась на другом конце комнаты, у них в постели, между Ледяной Принцессой и Риэлтером, прикидывая в уме, что лучше — получить от каждого по киловатту или же подвергнуться опасности того, что кто-нибудь из них в героиновом ступоре повернется и задавит меня насмерть.

Она там, на кровати, лежит, подогнув ноги, но расправив плечи. Она там, в футболке с портретом Че Гевары, одна рука откинута в сторону, скрюченные пальцы другой застыли на бедре, словно смерть застигла ее в тот момент, когда она барабанила ими от раздражения или скуки. Она там, одеяло — моя единственная надежда — накинуто на середину туловища. Она там, ее темные волосы веером рассыпались по смятой подушке, а тусклые глаза широко открыты от удивления. Она, конечно, была удивлена случившимся. А я ничуть.

ГЛАВА 13

Следующие полтора года я просуществовала на этом заднем крыльце, окутанная красным облаком гнева. Разумеется, я совершала свой жизненный круг, чертовы пятьдесят две недели — в каждой семь дней, в каждых сутках двадцать четыре часа, — но была при этом бледной тенью от прежней слабой тени самой себя. «Мы пронеслись в стремительном фанданго!» — пел Лити и в самом деле стремительно проносился в фанданго. Малыши просились пйсать, стены стенали, Жиры трясли телесами, а Грубиян бросал на меня многозначительные взгляды. Я ходила в «Баскинз», возвращалась обратно. Ходила в магазин миссис Сет, возвращалась домой. Смотрела телевизор, слушала свое маленькое радио и все время сердилась. *Очень* сердилась. Потому что как только мой гнев утихал, как только гейзер ярости, готовый сорваться с губ, угасал, Грубиян манил меня пальцем, выводил наружу, звонил Берни, чтобы тот спустил ключ, и отводил меня в эту мансарду, полную горя, вины и одиночества. Ну, просто отель, где разбиваются сердца.

Я жила во гневе — и просыпалась в ярости. У

меня всегда был вспыльчивый характер, и я, как правило, тянула время, все было как в жизни. Гнев разливался по всему моему не такому уж тонкому телу наподобие смазки «Три-в-одном» для ржавых механизмов. Мое толстое старое брюхо урчало от раздражения, обвисшие руки-ноги тряслись с досады, уставшая старая вагина становилась резиновой от обиды, внутренние органы играли арпеджио от возмущения. Даже те части тела, которые, пока живешь, не считаешь одушевленными — волосы, зубы, ногти на пальцах ног, — болели от неудовольствия. Вы видели когда-нибудь недовольный ноготь? Наверное, никогда.

Меня обозлила смерть Пабло Эскобара, я бы охотно выпотрошила его своей рукой. Бесили сербские лагеря смерти — если бы я могла добраться до этого жирного ублюдка Милошевича, я бы подвесила его за яйца. В старой нацистской Германии головорезы сжигали бараки, в которых жили люди со смешным прозвищем *«Gastarbeiter»;* вот бы заставить этих бритоголовых чудовищ выпить коктейли Молотова. Ватиканский тупица-поляк явил миру безрассудную смелость, признав, что Галилей был прав — как будто солнце сияет из его собственной

долбаной гелиоцентрической задницы. Гнусный арканзасский губернатор, которого распирала собственная сперма, пристроил к делу свой непостоянный член в Овальном кабинете, — я думала, что изойду желчью. Миролюбивые индусы сровняли с землей мечеть в Айодья — прекрасная старинная вавилонская забава, — и восемьсот человек переселились в местный город-побратим Далстона — хотела бы я сама быть Кали, чтобы удавить хоть кого-нибудь из них своими руками. Исхудавшие, похожие на скелеты сомалийцы расстреливали друг друга со смертоносно благотворительной помощью Запада — нашлись же у них средства, чтобы расколотить друг другу деревянные башки? В Британии поганые ирландцы снова начали устраивать взрывы — я была бы счастлива набить пластиковой взрывчаткой их лживые и льстивые рты. Взрывы на Манхэттене, взрывы в Бомбее, безумные сектанты в Техасе — каждый внес свое в мегатонное солнце моего гнева. А вот еще один талантливый, знаменитый еврейский умник затеял новый процесс на миллион долларов против шиксы, которую бросил ради ее приемной дочери. Ой-ой-ой, стыд и срам!

В июне девяносто третьего, когда сербские фашисты обстреляли футбольное поле в Сараеве,

были убиты двенадцать боснийских парней. Ну, это уж слишком — хватило бы и *одного;* у боснийцев, по крайней мере, осталась бы целая футбольная команда. Мне казалось, что все насильственные смерти похожи на эту — этакое удаление запасных игроков. Массовые боевые действия — лучшее доказательство того, что массы вообще существуют. Двадцатый век — щелкунчик, несущий смерть. Тысячи людей ежедневно идут по Уайтхоллу, но никому не приходит в голову запустить банкой краски в надутую статую фельдмаршала Хейга, человека, который погубил на болотистых полях Фландрии треть миллиона людей за каких-то полгода. Собственная европейская Хиросима.

Когда в конце пятидесятых я приехала в Британию, люди все еще переживали последствия Первой мировой, с трудом осознавая, что она коснулась каждого. Что не осталось города, деревни, селения, школы, предприятия или клуба, где не было бы потерь в личном составе. В Поминальное воскресенье особым почетом пользовались бедняги-ветераны, в показном великолепии проходившие, ковыляя, по Уайтхоллу, чтобы снова оказаться в тени каменного коня Хейга. Парламентарии в этот день встают на задние

ножки, мычат и блеют о том, как эти муравьи в хаки отдали жизни за сохранение свободы слова, за саму свободу *Какую* именно свободу? Свободу быть участником шайки? Свободу умереть от рака? Нам предоставлен огромный и прекрасный выбор самых разнообразных анкет. Вопросничков мистера Кана относительно качества жизни, предлагаемых неизлечимо больным.

Рак и война. В каждом городе, деревне и селении памятники павшим в битве с саркомой; разумеется, тех, кто выживает, определяет случай. «Это мог быть я!» — стонут те, кто остался, но только слабоумные моралисты осмеливаются думать, что это *должны были* быть они.

Гнев утихал, оставляя меня еще более мертвой, чем обычно. Даже если бы я могла сейчас воскреснуть, что за место досталось бы мне в мире? За пять недолгих лет, прошедших с моей кончины, на рынке появились новые марки машин, другие модели мобильников, изменились прически. По сравнению с этими людьми девяностых — которые сами по себе сплошной упадок — я была бы постоянной ходячей ошибкой. Лили Ван-черт-подери-Винкль.[35]

---

[35] Примечания: 35

Отсылка к новелле В. Ирвинга «Рип Ван Винкль» (1819), герой которой проспал двадцать лет.

Я никак не могла собраться с духом. Лежала в постели и курила. Курила «ВН». Массу сигарет. На курение у меня было двадцать четыре часа в сутки — и никаких легких, которым можно повредить. Я была просто набором тонких мехов, местом временного заключения джинна, который кружился вокруг меня в холодной комнате подвала. В комнате, где на стенах что-то бормотала тканевая культура, сидели на корточках безглазые големы моего потакания самой себе, отплясывал шимми обызвествленный трупик моей собственной похоти и буйствовал сердитый ребенок, которого я убила.

И, вечная память, за задним окном мои покойные внуки сучили рудиментарными ножками. Считается, что быть бабушкой гораздо приятнее, но с чем сравнивать?

Я выкуривала сигарету за четыре минуты — пятнадцать за час, триста шестьдесят каждый день. За два летних месяца я потратила все деньги, что заработала у «Баскинз». Комната, заваленная пустыми золотистыми картонными коробочками, стала ничего не стоящим Форт-Ноксом.[36] «Как она сдала, как сдала, — бормотали

[36] Примечания: 36

Находится в штате Кентукки. В 1935 г. Министерство финансов основало здесь хранилище золотого запаса.

Жиры, — такая жалкая… совсем не следит за собой, не следит». Я не обращала на них внимания. Я слушала свое маленькое радио. «Когда умира-а-а-ет любо-о-вь, ды-ы-ым разъедает глаза-а-а-а…» — проникновенно выводил Лити, а я лезла в кошелек. Если не хотелось идти самой, я посылала Лити или Жиры — они все делали вместе — вниз, к миссис Сет, за очередным блоком. В «Баскинз» я сказала, что у меня хронический бронхит, — вполне разумное объяснение моего отсутствия, если принять во внимание, сколько мне лет, и то, что я курила как нанятая.

В постели, причем взбивать подушки не нужно — что может быть лучше? В постели, выдувая синие струйки дыма в зловонную атмосферу (никаких легких, значит, никакой влажности, никакого изменения цвета). Интересно, сумела бы я построить хитрый механизм в стиле Руби Голдберга, такой, чтобы скармливать мне сигареты? Этакое сложное и неправдоподобное устройство из колесиков, винтиков, блоков и конвейерных лент, с мотором от расчлененного пылесоса, и все с целью получать уже зажженные, выровненные по линеечке сигаретки. Тогда я стала бы похожа на «Пароход «Лили»» из ранних мультипликационных фильмов, а время моего

курения увеличилось бы, по крайней мере, на двадцать минут. Я размышляла о том, что у меня снова мои собственные зубы, что они совершают чудеса при вдохе и выдохе. Курить со вставными было не по-настоящему. Утрата сигарет и утрата собственных зубов. Всегда вместе.

В конце июля освободили Демьянкжа — грузчика, который утверждал, что не принимал никакого участия в работе конвейера смерти в Треблинке. Я чувствовала, как поднимается мой прежний гнев, но не давала ему захватить себя. Таков был мой стеганый, как покрывало, мир, я лежала этакой глыбой под сбитым пуховым одеялом, глядя на маленький — с почтовый ящик — доступный мне кусочек внешнего мира. В верхней части окон спальни виднелись три фрагмента подъездной дорожки. Этот серенький вид был весь в полоску из-за изгороди, так что идущие ноги мелькали, как в калейдоскопе. Автомобили парковались перед домом редко. Мертвецы — по причинам, которых я не могла понять, — не слишком утруждали себя вождением. Далстон был в этом отношении городом прошлого; если вдруг сядешь за руль, то всегда найдешь, где припарковаться. Как в Кривом проулке в шестидесятых.

Однажды утром я лежала и курила, а программа «Тудей» как раз занималась оправданием злодейств Ивана Грозного, как вдруг у края тротуара взвизгнули, скрипнули и встали два вылизанных колеса. Я увидела фут или около того безупречно запыленного наполовину деревянного корпуса машины; затем одну аккуратную, в туфлях-лодочках и чулках цвета загара ногу; затем ее пару. Каблучки простучали за оградой, и ноги исчезли из виду. Затем я услышала стук каблуков вниз по лестнице. Затем пауза, затем — легкий удар дверного кольца. Очень странно — мертвецы никогда не стучат, дверь всегда открыта. Нет смысла запираться; я давно уже знаю, что если тени захотят войти, они просто появятся в сыром коридоре.

— Ну что, откроете дверь? — крикнула я Жирам, и они все три на ощупь двинулись из комнаты, толкаясь в дверях.

— Я пришла к миссис Йос. — Отрывистые слоги отскакивали от больших зубов. — Она дома?

— Она так опустилась, — заквохтали Жиры, — она толстая старуха. Старая толстуха.

— Вы можете сказать ей, что пришла доктор Бридж? — Эту первосортную тупицу ничуть не смутило воплощение моего излишнего веса. —

Хотя не беспокойтесь, я скажу ей сама. Мне сюда, верно?

И вот она вошла, *Вирджиния* Бридж собственной персоной, непритязательная, в двойке, с платком на голове, все также похожая на лошадь. Ее бледно-голубые глаза заморгали и заслезились в бледно-голубых клубах дыма от бесчисленных «ВН», выкуренных мною утром.

— *В самом деле, Лили,* — сказала Вирджиния, идя через комнату к кровати, ставя рядом свой саквояж, снимая коричневые замшевые перчатки, — *в самом деле.*

И я вместе с ней вернулась назад — в самом деле. Назад в Кривой проулок. Назад в этот анахроничный период начала шестидесятых, когда все смотрели ежевечерние телевизионные новости и по домам еще развозили уголь. Уголь в грязной сине-черной дерюге; уголь, плотный, как и смог, который он порождал. Шестидесятые, десятилетие густого желтого смога и клокочущей мокроты. На паршивой тумбочке (поддельный Хеппл — уайт) несколько плоских пачек «Дюморье» с фильтром. Рядом роман Дафны дю Морье в измятой к черту бумажной обложке. Тут же хрустальная пепельница, полная окурков — один еще дымится, — а я зажигаю очередную сигарету

своим «Ронсоном», похожим на обрывок смога.

В тумбочке три ящика. Один для лекарств: капсулы содиумамитала; баночка хорошеньких желто-зеленых таблеток «либриум»; патентованные средства: бесполезный сироп от кашля винос, дурацкий дисприн, идиотский анадин; и прокладки — потому что, разумеется, у меня менструация. С одного конца кровь — с другого мокрота. Отвратительно. В ящике номер два на «Клинексе» лежит бутылка «Хейга». Вирджиния не раз предостерегала меня, говорила, чтобы я не пила после снотворных, ну и что?

Ящик номер три набит всякой едой, которую я утащила за последние несколько дней из кухни. Здесь полпачки дурацких «игрушечных» бисквитов Хантли и Палмера. Квадратные, тоненькие, на каждом глазурью выведен паровозик или мишка. Когда я разгрызала их своими гнилыми зубами, они хрустели и часто ранили десны. Я также расправлялась с имбирными вафлями Кроуфорда, сосала фруктовые драже «Нестле» и время от времени не отказывалась разделаться с плиткой ирисок «Каллард энд Баузер». Да, я прокрадывалась к буфету и таскала детские печенья и конфеты. Затем снова поднималась наверх и съедала их.

Вирджиния приподняла меня, пуговицы ночной рубашки расстегнулись, я ощутила запах ее гладких, намазанных «Атриксом» рук, а она сказала с сухим английским акцентом: «Лили, в самом деле, ты же не можешь ожидать, что я буду и дальше лечить тебя от хронического бронхита, если ты не готова бросить курить. Я хочу сказать, ведь тебе же известны факты…»

А факты были таковы, что примерно раз в месяц Йос уезжал играть в гольф с группой своих школьных приятелей, вечных подростков. В провинциальных городках она селилась вместе с ним в чопорных пансионах. Йос с Вирджинией были настолько респектабельны, что мысль об их связи никому не приходила в голову. Ночью они терлись друг о друга на хлопковых простынях. Он извергал пыль в ее песчаную вагину. Я терпела это с каким-то странным чувством, похожим на то, когда вы не знаете, хотите ли выкурить трубку, которую то и дело выколачиваете о каминную полку, ощущая в горле горечь табака. Нет, неправда. Я разрывалась от ревности, я выдалбливала ее долотом челн тоски. Это я хотела держать в каждой руке по эскимо, не зная, какое лизнуть.

Не Йос. Не Вирджиния, которая, прервав свою спокойную, бездушную речь, разглядывала

столпившихся в комнате жирных големов, литопедиона, Грубияна, мои саркомные обои… зачем она пришла в эту подвальную квартиру — осмотреться или осмотреть меня?

Так в чем мы не сошлись с Йосом? Или с Капланом? Или с Бобом Белтейном? Или с Королем Шерсти? Кажется ли ей мое теперешнее существование возможным вариантом собственной жизни-после — смерти? Вполне могу поверить, что да. У нее был муж — инвалид. Парализованный ниже пояса. К счастью для Вирджинии, не выше. Как бы там ни было, вот я лежу здесь, и черно-белая хроника тех времен — павианов в натянутых на морды противогазах заставляют курить — прокручиваются у меня перед глазами. Черт с ним. Не могу — даже если еще раз умру. Сигареты — лучшие друзья, какие у меня когда-либо были. Они надежнее алкоголя, они приносят утешение, и от них не толстеешь. Пусть я тысячу раз умру. Они окружают меня роскошью. Окружают меня и дают мне вздохнуть снова.

Корова долбаная — которую долбал мой бык. Все их долбаное стадо, которое обслуживал мой муженек своим истекающим спермой членом длиною в ярд. Ревность разливается по моему телу — зелень, пульсирующая в разветвленной

сети сосудов. Все жены, которых я когда — либо обманывала, все жены, которые обманывали меня. Я вижу, как они сходятся в поле, образуя веселый круг совокупления, в котором мне нет места. Я стою в коровьей лепешке, бедная-несчастная, а они мычат, вертят задницами и стонут. «Коробки-коробочки… и не различишь. Из заплаток-лоскутков… и не различишь».

Не различишь. Я крепче закрываю глаза — «…это наркотическая зависимость, Лили, как и любая другая. Потерпи несколько дней…» — и желаю смерти Вирджинии Бридж. О Великий Белый Дух, я брошу курить, только избавь меня от этой женщины. Я *на самом деле* сделаю это — я и вправду это сделала. Сложила в огромную могилу сухие белые палочки, бросила поверх них доктора Бридж — и она совершила сати вместо меня. Бедная Вирджиния. Бедная, сухая Вирджиния. Умереть от рака в сорок с небольшим, когда, в отличие от меня, не выкуриваешь по сорок с лишним сигарет в день в течение двадцати пяти лет. Бедная Вирджиния — можете сами посчитать, — она не заслужила такой злокачественной кончины.

Я потянулась к тумбочке. Мне хотелось как следует глотнуть «Хейга», прежде чем бутылка

исчезнет, — но поздно. Ее уже не было. Не было ни бутылки, ни Вирджинии, только я все еще была здесь.

Я смотрела в окна с пятнами никотина на подъездную дорожку наверху и видела, как от тротуара отъехали аккуратные колеса ее аккуратного автомобиля. «Как сдала, как сдала, — бормотали Жиры, — какая она жалкая…» Я закурила очередную «ВН» и вспомнила все мирные часы, которые вырвала с корнем, всю радость, которой старалась избегать, когда уводила свою горькую жизнь из реки негодования, с силой ударяя веслами под раскидистыми зеленеющими деревьями зависти, вокруг которых обвивались лианы-паразиты сексуальной ревности. Из-под грязной постели несся тонкий голосок Лити: «А! А! А! А! Остава-а-аться живым!»

Кто знает, почему Вирджиния Бридж решила влезть в свой призрачный «моррис» и совершить долгое путешествие на север из Далберба в Далстон? (У меня не было никаких сомнений, что она оборвала свой путь именно там — на ней это просто было написано. Из Далберба — вся, до кончиков ногтей.) Но она сделала это, и делала снова и снова, месяц за месяцем, целый год. Я горько сожалела, что при жизни когда-то вызы-

вала врача на дом. Сожалела теперь, когда этот призрачный доктор снова и снова спускалась в мой подвал. И я вылезла из постели. Сунула Лити в карман и вернулась на работу.

В то лето Баскин нашел себе предпоследнюю сучку, объегорил последнего клиента и перестал оповещать мир о том, чего миру незачем было знать. Они с миссис Баскин уехали в Рейнхем разводить бедлингтонов. Он продал то, что оставалось от бизнеса, какой-то пронырливой корпорации, отдел пиара которой располагался около Олд-стрит. Что же оставалось от бизнеса? Только список клиентов, где можно было найти такие перлы, как «Центр досуга Королевы-матери в Стратфорде» — «Вы промокли — сейчас мы вас высушим!» и лейтонстоунская сеть прачечных: «Не важно, как крутится мир! Важно, как при стирке крутится ваше белье!» И я.

Да, я ушла со службы. Это было одно из условий сделки, уход прежних служащих. Вы можете подумать, что я безнадежно заглядывала в зеркальные окна коммуникационных корпораций — да нет. Во всяком случае, я не могла увидеть в них себя; как не могли увидеть меня все эти надушенные суки, стоптавшие с себя трусы, чтобы играть на пластиковой клавиатуре.

Эти хреновы зеркальные дома — откуда они взялись? Как современный город со своим кричащим уродством осмелился созерцать себя в двадцати-, тридцати-, сорокаэтажных зеркалах? Нежно смотреть на собственную бездушность, хлопая вертикальными матерчатыми жалюзи? Я помню, когда впервые увидала подобную штуку — это был Центр Джона Хэнкока в Бостоне. Скорее всего, в середине семидесятых. А отраженные глянцевые облака были предупредительным ударом, возвещающим пришествие этого богатого выпуклостями десятилетия. А теперь Лондон набит такими зданиями, будто старая проститутка подправляет свой кирпичный макияж. Любой проспект — в эти редкие солнечные дни — становился постмодернистским Магритом, с пухлыми белыми облаками, медленно плывущими по огромным наружным карнизам. Но внутри зеркальные здания были самым подходящим для меня местом. Для меня, с моей неукротимой ненавистью к хорошеньким молодым женщинам, с моей вновь обретенной завистью.

Боже, как я завидовала! Я завидовала этой филиппинской любительнице красивых туфель, когда она шла в тюрьму по обвинению в кор-

рупции[37] — во всяком случае, она осталась замужней. Я завидовала Хиллари-черт по — бери-Клинтон, даже когда стало ясно, что она тоже останется замужней. Я завидовала израильтянам и палестинцам, сцепившимся в любовной схватке с помощью сводника-ловкача Уилли. Завидовала Арафату с его ртом-вагиной, Рабину с похожим на пенис носом, завидовала тому, чем они занимались вместе. Завидовала девчонке из Питтсбурга, которой в течение пятнадцатичасовой операции хирурги удалили семь важных органов — она приняла больше мужчин, чем я за всю жизнь. Завидовала жене Боббита, отрезавшей мужу член, — он был у нее в собственности и владении. Исходила завистью, когда умер Феллини, понимая, что теперь для меня не найдется места в придуманном им доме женских архетипов. Завидовала всем девушкам, которых застигло землетрясение в Лос-Анджелесе — им, по крайней мере, удалось почувствовать, как содрогается в оргазме земной шар. Я завидовала палестинским женщинам, когда этот сумасшедший жид перестрелял их мужей в мечети — они могли рыдать, причитать и сетовать, могли ощу-

[37] Примечания: 37

Речь идет об Имельде Маркос, вдове покойного диктатора Филиппин Фердинанда Маркоса.

щать свою утрату. Я завидовала, когда Фреду Уэсту, доморощенному серийному убийце, были предъявлены обвинения. Только представьте — завидовать несчастным молодым женщинам, погибшим мерзкой смертью. Можно ли пасть еще ниже? Да. Я завидовала, когда в Кигали началась резня, завидовала просто потому, что терпеть не могу быть исключением. Однако я *не завидовала,* когда умер Марсель Бич, придумавший авторучку «Бик», — лишь ощутила старую, привычную ревность. Но когда открыли тоннель под Ла-Маншем, я снова *завидовала.* Завидовала тому, как в него проникает поезд за поездом, наполненный сперматозоидами-мужчинами, которые едят *«croqu- es, m'sieurs?»,*[38] потягивают пиво, читают «Le Monde». Я завидовала Винни Мандела. Завидовала жене О. Дж. Симпсона. Так завидовала — так хотела *не быть собой.* Хотела, чтобы меня любили. Держали в объятиях. Я хотела забыть Mama-loshen[39]с кем-то, для кого я всегда буду дитя.

«О, милое дитя-я-я!» — распевал Лити в кармане моего свободного платья, пока я пробиралась

---

[38] Примечания: 38
Фрикадельки, мсье? (фр.).

[39] Примечания: 39
Идиш как родной язык.

между толпами девиц, выходивших из метро в районе Олд-стрит. Они смотрели на меня странно — когда им вообще приходило в голову смотреть на меня. На работе я решила предложить молодым людям, с яркими подтяжками и тусклым воображением, свою поблекшую вагину. Инфразвуковой гул кондиционеров, ультразвуковое подвывание компьютеров и монотонное жужжание ежедневной болтовни — все это, как ни странно, возбуждало их. Большинство из них, я уверена, трахнули бы все, что попадется. Они бы засунули свои пенисы в копировальное устройство или в факс, если бы думали, что получат удовольствие. Но разве это важно? Просто я ощущала худшую зависть из всех возможных — зависть к своему прежнему, грудастому, похотливому «я».

Однажды, в конце лета девяносто четвертого, стоя в чертовом подвале дома № 27 по Аргос-роуд у открытого окна спальни, я услышала знакомый призыв спустить ключ, произнесенный слишком знакомым голосом. Я вытянула шею и увидела незнакомые, по виду дорогие, коричневые кожаные ботинки по щиколотку, незнакомые чисто выстиранные хлопчатые брюки и — большой палец засунут в карман, четыре остальных

барабанят по плоскому бедру — кисть, по саду которой я путешествовала взад и вперед, как какой-нибудь плюшевый мишка. А за ней руку, по которой я делала пальцами шажок, затем другой, затем щекотала ее владелицу, пока та не закатывалась смехом.

Ключ был спущен, она его взяла. Ее волосы были коротко, по-мужски, подстрижены. Это ей не шло. Но руки у нее были загорелые, с крепкими мышцами, с чистыми белыми высоко закатанными рукавами — и это ей очень шло. «Здоровая и красивая, здоровая и красивая…» — забормотали Жиры, которые толклись рядом со мной. «Но ненадолго», — рявкнула я. Наверху Наташа повернулась и небрежно обвела взглядом улицу, затем ее новые одежки исчезли в прежней жизни.

Рождество 2001

Я маленькое пухленькое существо. Просто поросеночек. Ледяная Принцесса — надо отдать ей должное — кормила меня из стерильных баночек разнообразными пюре — с повышенным содержанием витаминов, со сбалансированными протеинами, без клейковины. Думаю, эта забота о моем рационе каким-то образом должна была компенсировать ее собственное все более

беспорядочное питание. Риэлтера это смешило, и как только мы все трое выходили гулять, а она исчезала за одной из тяжелых, похожих на каменные плиты дверей, на которых были высечены иероглифы, изображающие социально неблагополучных людей: старик, инвалид в кресле на колесиках, мать с маленькими детьми, — он покупал мне пакетик чипсов. Чипсы остренькие, как зубочистки, истончившиеся в сдобренном специями масле Бюргерленда, Макдоналдса или «Кентакки-фрайд-чикен». Очень неприятные для моих крошечных мягких десен, почти как зубоврачебные инструменты — ведь я снова оказалась слаба по части зубов. Или наоборот, жирные, разбухшие, почти распадающиеся чипсы, белые, как Уробурос,[40] прячущийся в промасленной серой бумаге и ищущий мой розовый ротик.

Чипсы, чипсы, еще раз чипсы. Чипсы, которые покупали и которыми хрупали в торговой зоне, на углах улиц или в засранных скверах за покосившейся оградой. Чипсы, сдобренные аскорбиновой кислотой или кровавым соусом «Хайнц». Чипсы, которые нравились мне только тем, что были теплыми. Мои драгоценные чипсы, которые по-

---

[40] Примечания: 40
Мировой змей (в египетской мифологии); алхимический знак.

стоянно выпрашивали ребятишки в курточках с капюшоном — «Чипсов дашь?» — серебристые носы-пуговки приклепаны к бронзовым мордашкам. В мрачных сумерках города они казались воплощением бедности, впавшей в детство. Чипсы всегда действовали на меня как слабительное. Тогда Риэлтер или Ледяная Принцесса клали меня на скамейку, или на сложенную клеенку, или прямо на холодную землю, чтобы, справившись с завязками и штанами, вытащить комочек памперсов из-под моих покрасневших ягодиц. Затем влажные салфетки проникали в мои складочки, затем жирно намазывался крем. Всю жизнь я мучилась с нижним бельем — скоро этому придет конец.

Но когда? Прошло два дня, и все, что я съела, это рождественский кекс, а все, что я сумела добыть для питья, это несколько пригоршней воды из бачка унитаза в ванной. Несколько раз я проползала вдоль перил, стараясь не смотреть на Ледяную Принцессу, и добиралась до двери в ванную. Там я с трудом сумела взобраться, зачерпнуть и попить, затем села и пописала, затем спустила воду. Такая смерть — детские игрушки.

Можно подумать, я завидую Ледяной Принцессе и ее супругу — этой несчастной паре, она

тут, наверху, он там, внизу. Но и у них были свои счастливые мгновения — они болтали и смеялись в микротакси, когда мы крутились по городу, чтобы что-нибудь выиграть, украсть или выпросить, а шоферы-африканцы вели машину по старому городу, сверяясь со своими внутренними картами Лагоса, Дар-эс-Салама или Аддис-Абебы. Болтали и смеялись, когда шоферы с силой ударяли по тормозам, а из динамиков на полке заднего сиденья слышались гитарные аккорды; болтали и смеялись, когда воображали высокого, тонкого, неизменно элегантного масаи, покуривающего сигареты с фильтром и глядящего на изборожденные каньонами плоскогорья Страны Мальборо.

Все же у меня есть все основания ревновать к нему — он не имеет ничего общего со мной. А она — что ж, я знаю ее так близко, как один человек только может знать другого. Знаю ее изнутри и снаружи, клаустро — и агора-. Как породившая и порожденная. Я медленно иду мимо могилы Ледяной Принцессы, извергнутой из быстро движущегося ледника жизни в терминальную морену пухового одеяла и подушки. Я проходила мимо — теперь надо идти вперед. В последнюю ночь было холодно — сегодня будет еще холоднее.

В этот мертвый промежуток между годами сюда никто не придет. Несмотря на приглушенный шум и крики соседей сверху, которые уже второй раз принимаются завывать под свое рождественское приобретение — караоке. Ведь они так же недосягаемы для меня, как если бы эта квартирка была потерявшей связь орбитальной станцией с вышедшими из строя компьютерами и системой жизнеобеспечения, от которой осталось одно название.

«Дейзи, Дейзи, хоть словечко проронi, я совсем рехнулся от своей любви...» Она пела мне эту песенку — и я пела ей ее же. И теперь, когда я ползу по ковру, изо всех сил стараюсь забраться на кровать, ухватываю кусок ее одеяла, заворачиваюсь в него, я лепечу слова песенки на собственный лад: «Де-зи, Де-зи, ловеко лони ялих нуся во — ей йюбви...» Стыдно так плакать и изводить добытую в туалете воду. Но я могла бы затопить слезами эту комнату, слезы хлынули бы вниз по лестнице, сорвали с петель и разнесли входную дверь. Могла бы затопить слезами весь Коборн-Хаус, так что его обитателям пришлось бы собраться на игровой площадке и устроить состязание в беге, чтобы высохнуть. Победили все, и каждый получит награды. Караоке для помаргивающих

малышей, караоке для глядящих с вожделением взрослых. Тогда они все смогут спеть что-нибудь очень-очень простое. Никогда бы не поверила, что поп-музыка так популярна.

С того места, где я лежу, мне видно очень мало, а Ледяная Принцесса кажется просто еще одним предметом дешевой обстановки, окружающей меня. Здесь полно таких жалких вещей. Жалюзи разрезают оранжевый свет уличных фонарей на полосы, пересекающие комнату. На окнах образуется узкая рамочка льда. Мне хочется помечтать о тихих сумеречных комнатах с косыми лучами и трогательно скучной атмосферой. Но вместо этого я вспоминаю прогулку, на которую эти двое взяли меня в холодном начале этого года.

Естественно, они были под кайфом — естественно. Обдолбанные вдрызг. Шли по Собачьему острову, за Селествилл к Виктори-гарденс. Затем по пешеходному тоннелю к Гринвичу, а дальше по задымленным улицам к Куполу Тысячелетия. Всю дорогу они по очереди толкали перед собой мою коляску. То один, то другой толкал ее со всей силы, затем бежал, чтобы поймать коляску за ручку. Они хохотали как ненормальные, воображая, что это быстрое, неровное, почти

не контролируемое ими движение должно забавлять меня. «Ла-ла-ла, Да-ли-ла!» — распевал он. Ей показалось забавным включить имя своей боявшейся жизни матери в имя своей робкой дочери. Почему мы идем сюда? Да потому что они под кайфом. Потому что они думают, что Купол окажется сенсацией, приключением для таких шалопаев, таких же свихнувшихся хиппарей, как они сами. Ну да, а Риэлтер успешно провернул какое-то дельце или надул кого-то и вопреки обыкновению был при деньгах.

Они веселились вовсю — быстро перемещаясь из торговой зоны в зону развлечений и игр, все это время под кайфом. А что думала я об этом масштабном, заполненном людьми казусе — с пышностью корпоративных забав, с толчеей пролов среднего класса? Что ж, если бы они спросили моего мнения об этом путешествии в то утро в нашей квартирке в Коборн-хаусе, на улице Коборн-стрит, Майл — Энд, я бы сказала им: «Давайте не пойдем, а просто будем считать, что мы там были». Но это невозможно. Мой словарный запас в последнее время расширился — теперь я умела попросить об основных жизненных благах, — но все, что я могла, это пробормотать «муму», обращаясь к ней, и «Ра», обращаясь к нему. Да,

трехэтажный Коборн-хаус со своими наружными галереями и лестницами был жалким вариантом жилища на 11-й Западной улице.

А знаете, дорогая муму, голубчик Ра, что, — пока вы толкаете меня взад и вперед, — напоминает мне Купол с его дешевым воплощением технологически продвинутого будущего, которое, как известно, никогда не наступит? Напоминает другое время и другое место, где, после того, как было удалено 6 700 ООО кубических ярдов всякого мусора, стало возможно построение завтрашнего мира. Напоминает о конусообразной колонне высотой в семьсот футов, символизирующей предел, и двухсотфутовом стальном шаре, символизирующем беспредельность. Напоминает мне о Хеликлайн, о пандусе, связывавшем их, и об огромном кассовом аппарате, который просчитывал число посетителей. Напоминает о гигантской пудренице, в виде которой был построен павильон женской косметики, и об огромной электронной лампе — павильоне «Рэдио корпорейшн оф Америка». Напоминает, как Льюис Мамфорд сказал в 1939, что Всемирная ярмарка демонстрирует «скучную и неубедительную веру в триумф современной индустрии».

Ох это будущее — оно всегда, как назло, соот-

несено с определенным временем. Для вас, для меня, для всех нас. Если бы только найти способ от него ускользнуть.

ГЛАВА 14

Я отправилась искать Фар Лапа, обсудить с ним это не слишком приятное возвращение. В городе я появляюсь не часто, но тут решилась приехать. Хотя после смерти регулярно посещаю Галерею Куртолда. В галерее — в то время занимавшей несколько флигелей на задах Гауэр — стрит — было темновато, и это придавало мне уверенности. Освещение в залах, если принять во внимание ценность выставленных там полотен, никуда не годилось, и посетители ориентировались по скрипу половиц. Я предпочитала концерты в Уигмор-Холле, и с сожалением вспоминала времена, когда там пахло деттолом. Избегая больших галерей и шумных сборищ, обходя стороной широкие эспланады, я бродила по змеившимся проулкам и дворам диккенсовского Лондона, куда не заглядывает солнце, где облупленные кирпичи сочатся голубиным пометом, а уродливые выступы покрыты копотью. Смысл похода в «Селфриджес»[41] был в том, что *там* не продавали «ВН».

Но даже я, идя своим призрачным путем,

---

[41] Примечания: 41
Крупнейший универмаг на Оксфорд-стрит.

начала замечать перемены: современность билась в скрипучих сочленениях города, словно пластиковые бедра в скрученной артритом старухе. Кричащие бутики и безвкусные закусочные открывались десятками. По пахнущим мочой проходам, с сияющими сквозь темноту алюминиевыми фасадами, между кучами дерьма пробирались редкие проститутки, чтобы склонить голову на мягкий, как подушка, хлеб «чиабатта» и хлебнуть пенистого капуччино. Конечно, тем из нас, кто раньше имел привычку здесь бывать, все это давно знакомо. Кофейни и специализированные рестораны, наркотики и полуодетые девицы, туристы и тяжелый труд, гомосексуалисты и профессиональные игроки на скачках.

Оказалось, существует не менее тринадцати филиалов «Нигде», австралийского специализированного ресторана. Три в Квадратной миле лондонского Сити, три в Уэст-Энде, еще пять — в пригородах, но ни один из них не был указан в телефонной книге. Легко себе представить успех затеи Фар Лапа. Идея «Нигде» отвечала тайным порокам горожан: склонности к дешевому шовинизму в сочетании с желанием безоговорочно принять туземные обычаи. К тому же добраться

до нужного места было сложно. Филиалы «Нигде» не упоминались в телефонной книге, а Фар Лап и его партнеры не позволяли вносить их в ресторанный гид или в туристический путеводитель. Чтобы обнаружить «Нигде», необходимо было знать кого-то, кто там бывал, иначе пришлось бы обходить пешком малонаселенные районы Лондона. Это — в глазах людей пресыщенных — делало «Нигде» подлинным воплощением традиционных народных обычаев в городской среде. Вы могли поесть в «Нигде», только если обладали тайным знанием или были готовы во что бы то ни стало разыскать ресторан.

«Нигде» к тому же бывали разных категорий. Декор большинства основных заведений напоминал пересохшее дно реки Тодд в Алис-Спрингс в жаркий летний полдень. Черная тень контрастировала с невыносимо слепящим светом. Груды пустых консервных банок и разбитых бутылок. Масса выпивки. Очень мало еды. Продвигаясь по иерархии «Нигде», вы уходили все дальше — фигурально выражаясь — в глубь пустыни центральных районов Австралии. Официанты сбрасывали с себя все больше одежек из «К-Март» и оказывались разрисованными охрой, они записывали заказы на плоской овальной пластине,

подобной чуринге, и демонстрировали свои гениталии в кожаных мешочках. Белые парни из колледжей Перта, Мельбурна и Брисбена, которых нанял Фар Лап, более надежные, чем аборигены, да и произношение у них, во всяком случае, было подлинным.

В самом престижном филиале «Нигде», занимавшем несколько этажей зеркального офисного здания в Сити, не было ничего, кроме безликих просторов потрескавшейся соленой земли, на которой кругами рос спинифекс. На стенах — жуткая роспись с оптическим эффектом: нагретый воздух, поднимающийся над пустынным горизонтом; всего лишь несколько темных пятен в дальней дали, обозначающих — что? Возможно, крутой откос, а возможно, просто бар. Время от времени из дальних тайников заведения выпускали варана или сумчатую мышь, и они бежали, пугая посетителей, которые от восторга корчились в пыли.

Корчиться в пыли было одним из главных развлечений в «Нигде». Скажем, посетители являлись из зимнего Лондона, одетые в кашемир, укутанные в шерсть, в костюмах и ботинках. Но, проведя всего несколько минут в сухой сорокаградусной жаре «Нигде», они срывали с себя

шелковые галстуки, которые падали на землю, подобно обмякшим змеям, ослабляли воротнички, расстегивали молнии платья, сдирали колготки, стаскивали носки и ощущали голыми подошвами песок.

Еда была почти несъедобной: подгоревшие ломти мяса кенгуру, жирные белые личинки, пресные лепешки, испеченные в золе, а если повезет, несколько пригоршней горьких трав. Но соль была не в этом. На огромных экранах над головами посетителей сменялись кадры: бескрайнее небо, уменьшавшее этот и без того ограниченный мир. Проплывали нагромождения облаков, похожие на континенты. Вставала почти полная луна, ее кратеры и горы были гораздо правдоподобнее, чем Европа. Лондон, который был тут, за стеной, оказывался не только скрыт, но и уничтожен опытом «Нигде». Еще тут была выпивка. Множество алкогольных напитков. Фар Лап саркастически заметил: «Мы кладем эту штуку в грог, йе-хей? И все эти парни становятся как черные, хей-йе? Разрушает фермент — любой. Никто не может с этим справиться».

Я ни на секунду не поверила. Что действительно было в «Нигде», так это дикая сухая жара и назойливый персональный официант рядом с ва-

ми, он каждую секунду делал вид, что поднимает бокал, и спрашивал вас: «Вы хотите этого? Или этого?» Затем приносил холодные бутылки хорошего австралийского белого вина или еще более холодного пива и просто всовывал запотевшие бокалы в вашу горячую ладонь. Неудивительно, что люди беспрерывно пили, и стаскивали с себя одежду, и истошно вопили, и дрались друг с другом, когда — это случалось в «Нигде» довольно часто — разыгрывалась имитация выхолощенного обряда инициации, поставленного бывшими студентами антропологии из Австралийского национального университета. Посетители пили, а в неудачный момент — когда команда Фар Лапа выпускала в помещение тучу свежих мух, — цены на выпивку снижались вполовину, и поэтому все напивались вдвое. Да, в Лондоне не было ничего равного посещению «Нигде». Ни-чего.

Но, как вы понимаете, я никогда не была в подобном заведении в разгар работы. Я приехала в ведущий ресторан «Нигде», расположенный на южном конце моста Блэкфрайарз, в очаровательном образчике омерзительного рококо восьмидесятых, именовавшемся Фирмой морских контейнеров, в один из перерывов на ланч, которых у меня не было. «Нигде» никогда не

работал во время ланча, но в конце девяностых Фар Лап создал весьма успешную сеть специализированных австралийских закусочных с сандвичами. Закусочные именовались «Где-нибудь».

Было начало августа 1994-го. Неделю назад или около того в Лондоне у Израильского посольства взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, а неделей раньше взрыв в Буэнос-Айресе унес жизни сотни моих единоверцев. Как обычно, это касалось нас, евреев, — Холокост и эмигранты, одно сплетено с другим. В то же время северная часть штата Нью-Йорк делала разминку, готовясь отметить двадцать пятую годовщину этого долбаного Вудстока. Ах! Если семидесятые были выпуклыми, а восьмидесятые — остроугольными, то девяностые можно назвать лишь фальшивыми.

Из поддельной позолоты и фальшивого мрамора вестибюля лифт Шиндлера вознес меня на пятый этаж и изверг в мрачное помещение. Видеоэкраны над головой демонстрировали только сами себя. Вдали, за сотней миль белой потрескавшейся грязи, полоска пустынного горизонта завернулась, обнажая клочок северного берега Темзы и часть здания «Юнилевера». Мускулистый

блондинистый парень в комбинезоне выметал дохлых мух, среди которых валялась случайно раздавленная ящерица. Пухленькая девица, насвистывая, пылесосила спинифекс, но прервала свои занятия, чтобы жестом указать мне на кучу старых одежек, поверх которой, когда я подошла поближе, вдруг оказалась шляпа, а затем и вся она превратилась в Фар Лапа Джонса.

— А я тебя ждал, Лили, детка, йе-хей. — Он поигрывал своими большими бумерангами и курил замусоленную сигарету. У его ног, на полу этой фальшивой пустыни, валялось множество таких же окурков, что впрочем, ничего не значило.

— Правда?

— Ювай — дай мне огня, детка. — Он жестом показал, что ему нужен огонь, и я щелкнула зажигалкой. Он глубоко затягивался тоненькой сигареткой, дым струйками выходил из его пухлых губ, дрожал на сквозняке, затем исчезал. — Наташа вернулась, йе-хей?

— Ты знаешь?

— Знаю. Я знаю о твоих *чувствах* — ты ведь что-то испытывала, йе-хей?

— Я чертовски разозлилась, если ты об этом…

— И позавидовала. Смертельно позавидовала, хей-йе?

— И позавидовала, — призналась я.

— Но главное еще впереди, детка, йе-хей? Все твои чувства разыгрались? Как будто это твой последний шанс, хей-йе? Ну же, решайся, детка, сойди со своего круга или давай вали назад, в жизнь, — тебе решать.

Фар Лап снова возложил всю ответственность на меня, бедную толстую старушку, которая продержалась уже столько далстонских круглых суток. Моя смерть, так уж случилось, была словно слепок с моей жизни — периоды апатии сменялись взрывами бездействия. Он спросил меня, хочу ли я сойти с этого круга, как он выразился. Но насчет того, что это за круг или как его можно прекратить, Фар Лап высказывался, как всегда, невнятно.

Так или иначе, я не могла долго выносить всю эту чепуху, особенно здесь, в закрытом специализированном ресторане, болтая с мертвым аборигеном. Меня саму удивляло, что я тревожусь о Наташе.

— Наташа вернулась, Фар Лап, и хорошо выглядит.

— Она чертовски хорошо выглядит. Чертовски хорошая буджу. Но это ненадолго, йе-хей? Ненадолго. Я вижу, ты понимаешь, Лили-детка,

йе-хей? Раздумываешь, что все это может значить, йе-хей? Как это все сложится вместе, хм-м? Раздумываешь, какое отношение к твоей девочке может иметь абориген вроде меня, хей-йе?

— Да. Я думаю, ты имеешь какое-то отношение к Наташе, к тому, что с ней случилось…

— На другом конце света?

— Да, на другом конце света.

— Ювай! Черт возьми, на совершенно другом конце, детка. Что случилось… Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе, что случилось, йе-хей?

— Значит, ты знаешь?

— Ох, знаю, Лили-детка. Знаю. Я, черт возьми, был *там.*

И он рассказал. Это заняло остаток часа. Я опоздала вернуться на Олд-стрит. Фар Лап рассказывал в своем неповторимом своеобразном стиле, но для удобства я опущу прищелкивания языком и стану переводить характерные для аборигенов выражения и австралийский сленг. В конце концов — все будет для вашего удобства в это самое неудобное время. Время ожидания в зале ожидания.

Но Фар Лап не был в Поттс-Пойнт, куда Наташа отправилась к Полли Пассмор.

Он не рассказывал, как ее рвало целый день

напролет, как в эту жару — так странно — ее бил озноб абстиненции; не рассказывал, как по ночам обе молодые женщины вытаскивали на крышу матрас и сидели на корточках около плавательного бассейна, глядя на вход в отель «Себолд таунхаус», наблюдая, как туда тяжелой поступью входят большие белые бизнесмены с повисшими на их локтях, словно странные браслеты, крошечными проститутками-азиатками.

Наташа прожила у Полли полгода, — что ж, для нее рекорд дружбы. Она также более или менее воздерживалась от героина. Пару раз ей удалось, как бы между прочим, раздобыть наркотики на сиднейском Кингз — Кросс. Кингз-Кросс в Сиднее. Полная ерунда — как техасский Париж. Каждая грань Наташиной лондонской жизни возвращалась к ней отражением в твердом бриллианте южного неба. Она узнала, что наркотики можно добыть у ресторана «Элис» на Кингз-Кросс. У наркоманов-серфингистов. Видели когда-нибудь наркомана с загорелым телом спортсмена, наркомана, которому не надо завертывать рукав, чтобы найти вену, потому что он носит чертову *майку*? Удивительно. Наташа видела их и добывала у них наркотики, как я сказала, раза два, а может, три. Хуже того, однажды она отколола номер,

чтобы добыть денег. В Лондоне Рассел приучил Наташу к разным сексуальным извращениям. Трахаться с ним, когда за этим наблюдали люди — так он развлекал нужных ему дилеров или вуайеристов, с которыми хотел водить компанию. К тому же он связывал ее и наносил удары. И все это, чтобы усилить кайф после приема кокаина. Как ни крути, должно быть, у Наташиного парня совсем снесло крышу.

Но сейчас было другое. Наташа прогуливалась среди толпы туристов, под вульгарными неоновыми рекламами стриптиза, ей страшно хотелось вкатить себе дозу. Уйти от себя. Забыть про *все*. Дело не в деньгах *как таковых* — какие-то деньги у нее были. Майлс присылал ей ежемесячно часть суммы, вырученной от продажи квартиры. Но этого хватало только на здоровую жизнь. Благодаря этой сумме она была обречена на здоровье. Если хочешь уколоться, думала она, надо сделать что-то грязное, проучить себя. Какая ошибка. Проучи себя — вот и будешь самоучка. Ей казалось, это несложно. Она не раз видела, как уличные девицы подцепляли мужчин прямо на тротуаре, раза два сворачивали за угол и ложились с ними на заросший бугенвиллеями газон маленького парка, чтобы потрахаться всего-то минуты две.

Белые задницы мужчин поднимались над жесткими многолетниками как раздвоенные луны. И куда бы она ни пошла в этом квартале красных фонарей, к ней постоянно приставали. Привет, привет, привет, — говорили ей мужчины. Что на самом деле означало — если посмотреть на ее длинные загорелые руки и ноги, иссиня-черные волосы, все еще высоко вздымающуюся грудь — пойдем, пойдем, пойдем… Австралийские мужчины, крикливо одетые, шумные, похожие на какаду.

Наташа ввязалась в эту игру. Она выбрала самого маленького, самого робкого, какого только смогла найти. Плюгавого, похожего на клерка, человечка, доставававшего ей до плеча, который явился сюда после работы в банковском квартале. Он был слегка пьян, а товарищи бросили его. Похоже, он никогда не трахался вдоволь — а может, не трахался вообще. Он увидел красотку, которая бросила на него призывный взгляд и прошептала «Привет». Наташа тоже выпила и хотела дать волю безответственному ребенку в себе. Она привела его в парк и легла с ним в зарослях, где земля была усыпана сухой корой. Тут ей пригодился весь ее опыт — все эти мальчики и мужчины, с которыми она умела обходиться.

Она отлично умела отказывать им в том, чего им хотелось. Но не отказывать оказалось гораздо легче. Засунуть мягкий шарик его члена в презерватив — никаких проблем. Засунуть его в себя — еще легче. Раз плюнуть. Мама умела поплевать на царапину, и любая царапина сразу заживала. Наташа отвернула свое хорошенькое личико, чтобы смотреть на корни кустарников. Она шептала: «О, это прекрасно». Но нет, это было отвратительно. Пусть вам никогда не придет в голову проучить себя — не покидайте ребенка в себе. Когда похоть превращает нас в марионеток, лучше не дергать за ниточки.

Они поднялись с земли, и Наташа получила от него сотню долларов. Сотню чертовых долларов! Невероятно. За несколько минут она так накачалась, что могла бы обслужить целую футбольную команду каких-нибудь красавчиков. Наташа страшно проучила себя. Она не понимала, что перешла черту, что с этих пор ничего уже не будет таким, как раньше. Но сейчас она наслаждалась в своем теплом опиумном водоеме. Смотрите, вот она, Наташа, умненький дельфин со зрачками маленькими, как укол булавки, плывет в Мировом океане.

Люди думают, что когда наркоманы колются,

а алкоголики напиваются в стельку или когда кокаинисты улетают ввысь, они попадают в фантастический мир изобилия, где у них есть все: неисчислимое богатство, необычайная привлекательность, огромный талант. Да нет. Они могут отправиться в искусственный рай, но каждый из них в конце концов оказывается в одной и той же реальности. Там с ними *все в порядке.* И все. С ними *все в порядке.* Они не алкоголики, не наркоманы — просто все хорошо. Как у всех других. Ну да, возможно, они понаделали множество глупостей: несколько раз вылетели с работы, разрушили парочку браков, отдали детей на воспитание в чужие руки, — но в основном с ними *все в порядке.* И значит, эта мощная торговля, превышающая всю легальную торговлю мира, служит прежде всего для удовлетворения такого тщетного желания, восполняет отклонения иллюзией нормальности.

В конце концов Наташа с Полли поругались. Чего это Нэтти тут *выделывается?* — выкрикивала Полли. Ошивается с какими-то бездельниками на Редферн и Паддингтон. Напивается. Ходит по барам. Расписывает очередную дурацкую стену, делая вид, что участвует в муниципальном проекте. Очередная бессмысленная мазня, которая

облезет через пару лет, такая же хаотичная, рассыпающаяся, как общество, которому она должна служить. В конце концов, *зачем* Нэтти притащилась в Австралию? Вроде бы она хотела пережить потерю ребенка. Вроде бы она хотела прийти в форму. А сама — Полли точно знает — в прошлую среду была под кайфом. И домой явилась без трусиков. И *что* это значит? Свалилась на диван в полной отключке, поставила в неловкое положение друзей Полли. Приличных людей. Учителей. Валялась на диване и бормотала о каких-то какаду с мягкими членами. Почему она не поедет посмотреть страну? Почему бы ей не *убраться* сейчас? Пребывание в Австралии научило Полли Пассмор говорить уверенно. И Наташа убралась.

Неделями, месяцами и, наконец, годами Наташа путешествовала по Австралии. По громадному острову — континенту, где целые иссушенные зноем территории не получали радиосигналов — не говоря уже о том, что туда не ступала нога человека. Эта страна напоминала другую планету — так отличались ее флора, фауна и даже ландшафт от флоры и фауны других, более скучных континентов. На эти гигантские просторы, словно тонкая желтая кожа барабана на полую тыкву, была натянута мнимая культура. Куль-

тура псевдоколонистов в гольфах, повелители которых — скваттократы[42] — жили во встроенных в местный ландшафт особняках. Австралия, огромный кусок подгоревшего тоста, плавающий в южном океане, небрежно намазанный кое-где по хрустящим краям «Веджемайтом».[43] Австралия, сюрреалистический кошмар, где люди в поте лица возводят изгороди от кроликов. Благородная демократия, которой правит светло — вишневая богиня, живущая вчерашним днем. Огромное пространство, где белые мужчины и женщины сбиваются в кучу, чтобы слушать музыку диско, играть в азартные игры, предаваться блуду и смотреть «мыльные оперы» в отчаянных попытках разогреть застывшую кровь. Духовка, где при падении температуры на полградуса жители спешно натягивают шерстяные брюки. Пародия на цивилизацию, где около семи миллионов выходцев из Северной Европы и около семи миллионов из Южной разбили свои бетонные шатры вдоль побережья в несколько тысяч

---

[42] Примечания: 42

Скваттократы — богатые австралийские землевладельцы, считавшиеся аристократией колоний.

[43] Примечания: 43

«Веджемайт» — популярная в Австралии пищевая паста, экстракт овощей и дрожжей.

миль и бродят от одного барбеио к другому. А в это время в глубине страны горстка древних чародеев-мистиков замазывает вскрытые вены мошонки пчелиным воском, открывая их только для того, чтобы смешать свою кровь со священной землей.

В этой карикатуре на цивилизацию Наташа чувствовала себя как дома. Она поработала в баре в Брисбене и официанткой в Уогга-Уогга. Водила подержанный «холден» в Таунсвилле. Добралась аж до Северной Территории, где было жарко и влажно, как в сауне, и пересекла сухую равнину Налларбор на старом «Гэне».[44] Когда ей не хотелось работать, она не работала. Сидела и думала. Было бы мило и трогательно сказать, что она часто думала о покойной матери, вспоминая беззлобный сарказм Лили и ее язвительный ум, — но это неправда. Время от времени Наташа видела пожилую женщину с густыми непослушными светлыми волосами, бредущую по плоскому бульвару под жарким небом, женщину, чей мрачный вид и холщовая сумка для книг напоминали ей муму. Тогда Наташа чувствовала, что из ее сухого горла готовы вырваться детские слова, которые

[44] Примечания: 44

«Гэн» — название поезда, курсирующего между Алис-Спрингс и Аделаидой.

они употребляли в разговоре друг с другом, и ей хотелось снова стать ребенком, которым она уже никогда не будет. Никогда, разве только в нелюбящих объятиях Морфея.

«Хаммер» — так австралийские наркоманы называли героин — Наташа не употребляла. Австралии было так много и сама Австралия настолько способствовала воздержанию, что это казалось нетрудно. Во всяком случае, здесь дюжие юнцы, уже покоричневевшие от первых признаков меланомы, напивались до спасительной рвоты в барах, напоминавших тюрьму, или в барах, облицованных белой плиткой, или в барах с широкими верандами — чтобы удобнее было блевать. Если пить в заведениях, похожих на туалеты, то тошнотворность этого занятия становится вполне приемлемой. Наташа пила, и в австралийском сухом воздухе ее, похоже, не слишком разбирало. А если и разбирало, то… кто? что? с кем? прошлой ночью?.. — она ехала дальше. Здесь всегда можно было сбежать в никуда.

В молодой стране любые отношения поначалу кажутся юношеским флиртом, гениталии слегка соприкасаются, словно потные пальцы. Чем меньше героина, тем меньше секса. После того, что случилось на Кингз-Кросс — усохшая этика

среди сухой коры, — какая-то часть ее существа, хотя бы отчасти, стала чувствовать опасность.

На Магнетик-Айленд, на внутренней кромке Барьерного Рифа, у нее была мимолетная связь с молодой женщиной из Мельбурна, Синтией, бежавшей от разврата и наркотиков, подобно самой Наташе. Но Синтия была вызывающе уродлива. Ноги, руки, грудь — все в ней напоминало сплющенные цилиндры. Жалкое существо, брошенное под дождем на этом продуваемом муссонами острове. Они пять дней пролежали рядом в неудобном гамаке, неуверенно дотрагиваясь друг до друга и не вполне понимая, отчего у них — прежде ни та, ни другая этим не грешили — возникла потребность в этой потребности. Синтия собирала раздавленных жаб. Расплющенных на лентах асфальта тварей, которые тысячами прыгали между квакающими полями тростника. Она держала их в старой сумке «Энсетт эрлайнз». Две молодые женщины раскладывали плоские трупики и играли ими в снап,[45] сидя по-турецки на веранде дома, где висел гамак. Старого дома с мансардной крышей из гофрированного железа, по которой гулко стучал дождь. Дом принадле-

[45] Примечания: 45
Снап — детская карточная игра.

жал одному наркоману из Мельбурна, знакомому Синтии, как и она, сбежавшему из города, чтобы завязать с героином. На эти пять дней он отправился ловить креветок за Рифом.

Итак, следуя асимметричной паутине маршрутов «Энсетт эрлайнз», Наташа двигалась по кромке могучей красно-желтой земли. В своих скитаниях она встречала новых Синтий, новых внутренних эмигрантов, бежавших из культуры, которая, в свою очередь, была закрыта от остального мира, пока наконец подобно многим другим, не поняла, что ей больше некуда бежать — разве что в глубь страны. В Красный Центр. В этой перевернутой вверх дном стране Наташа всегда ощущала присутствие заднего плана. Холодок у себя за спиной, чувство пустоты, от которой шевелились волосы на затылке. Место без места. Открытая дверь, ведущая из городской субкультуры белой Австралии в неизвестность.

Наташа, разумеется, прекрасно знала о коренных жителях континента. Как не знать, если фрагменты их метафизических карт красуются на всех футболках, чайных полотенцах и ресторанных меню? Если уродливые пригороды носят их благозвучные имена. Если их погребальная песнь гремит из невидимых громкоговорителей

в супермаркетах с климат-контролем? Еще один геноцид, завершившийся в отделе тканей.

Когда Наташа колесила по Австралии, всех инфантильных правителей страны прошибло чувство вины, они внезапно почувствовали кровь в своих бифштексах. Вся иерархия плачущих министров и хнычущих профессоров вознамерилась вернуть древним колдунам то, что, в сущности, им никогда не принадлежало. Колдуны, для которых существует лишь одно время — Сейчас — и которые считают, что их мысли — это грезы самой земли, совершенно не могли взять в толк, что происходит. Как им вести себя на этих безбрежных просторах с инфантильными правителями, называющими их старейшин «дедульками», их раненых — «бедняжками», а их костры — «огоньками»? Как жить в одной и той же реальности рядом с этими крепкими парнями?

Наташа остановилась с каким-то юнцом в Канберре — фальшивой столице псевдонации. Юнец был приятелем чьего-то приятеля, который вовсе не был приятелем Наташи. На берегу искусственного озера, никак не украшавшего окрестности, стояло здание парламента с гигантским набалдашником вверху. В этом театре барристеры в

париках ломали голову над тем, что делать с чародеями. Время от времени в «Холидей Инн» на Манука-серкл появлялся один из чародеев, за которым следовала по пятам почтительная стайка розовощеких советников.

Юнец, сын университетского антрополога, был преисполнен благих намерений и считал себя влюбленным в Наташу — как множество юнцов до и после него, тех, кто, увидев ее всего на миг, рисовал в своем воображении картины тесной близости только из-за взгляда, брошенного ею из окна проходящего автобуса. Они ходили пить в на редкость уродливые бары. И, возвратившись в родительский дом пульсирующей ночью, обнаруживали на сетчатой двери странный бархатный покров из ночных мотыльков богонг, этих крошечных австралийцев, пустившихся в далекий путь, ориентируясь по Луне, лишь для того, чтобы бесславно закончить его в предместьях.

Наташа лежала на скрипучей старой раскладушке в затхлой комнате принадлежавшего антропологу бунгало. По стенам на сухожилиях кенгуру были развешаны рисунки на древесной коре. На полках вперемешку с современными журналами стояли книги Питт-Риверса, Малиновского, Стрелоу и Леви-Строса. На большом

письменном столе рядом со счетами за электричество и пустыми шариковыми ручками лежала тщательно подобранная коллекция капролитов. Эти люди ищут и собирают старое дерьмо. Наташа лежала голая под льняными простынями, тщательно подоткнутыми ее потенциальным любовником, читала «Племянника чародея» К.С. Льюиса и слышала во внутреннем ухе голос муму. Муму рассказывала ей о Лесе-Между-Мирами, где под совершенно непроницаемым пологом листвы выстроились зловеще ровные ряды высоких прямых деревьев, между которыми поблескивали небольшие абсолютно круглые пруды. Муму рассказывала ей, как мальчик, нырнув в один из таких прудов, оказывался в совершенно другом мире — в викторианском Лондоне, или гибнущей империи Чарн, или в самой Нарнии, где Бог был настолько благосклонен, что миф о творении легко становился антропоморфным.

На следующий день они отправились в Алис — Спрингс. У них не было никаких определенных планов, но на этой зыбкой стадии мгновенного знакомства они надеялись найти приют у одного из аспирантов-антропологов, который находился в экспедиции на Северной Территории. Из Алис-Спрингс они двинулись на север в автобусе

с кондиционером — прочь от сурового железистого ландшафта центральных районов к столь же негостеприимным, сбивающим с толку пространствам бескрайней зелени. К безбрежным зарослям колючего кустарника под палящим солнцем. Сидевшие в автобусе «дедульки» тянули жилистые шеи, чтобы увидеть экран телевизора, по которому показывали фильм о неонацистском заговоре. Наташа с юнцом наблюдали, как мимо проносятся километры пустоты, которая на первый взгляд казалась довольно безобидной, — но это было не так. Войти туда без компаса, без запаса свежей воды означало безнадежно потеряться в диком парке. Окончательно сбиться с пути и погибнуть от солнечного удара в нескольких шагах от эстрады, или ларька с мороженым, или пруда с плавающими утками. И пойти на корм птицам — вместо того, чтобы их кормить.

Километров через шестьсот до Наташи донесся звериный запах мяса, она обернулась и увидела аборигена в нелепой белой шляпе с широкими полями, пробиравшегося вперед к кабине. Он что-то сказал водителю и повернулся лицом к «дедулькам», ни один из которых не оторвался от созерцания заговора. Абориген был средних лет, тощий и жилистый, в джинсах «Р.М. Уилья-

ме», сапогах с резинками по бокам и клетчатой рубашке. Его лицо — толстогубое, с круглыми щеками и морщинистой шеей — было именно таким, каким полагается быть лицу колдуна. Глаза прятались за зеркальными очками, в которых отражались «дедульки». Автобус свернул к остановке, наружные колеса въехали на обочину, поднимая клубы пыли. Пневматическая дверь со свистом открылась. Колдун спустился вниз и, не оглядываясь, вошел в заросли кустарника.

— У них врожденное чувство направления, — сообщил юнец Наташе. — Мой отец изучал это явление. Похоже, у них в голове что-то вроде магнитного компаса.

Наташа велела ему заткнуться.

Проехав семьсот километров по Стюарт-Хайуэй, они оказались в Стернсе, где их встретил аспирант и отвел в маленький грязный домик. Дом был пустым, не считая длинных охотничьих копий с древками из малги в углу и груды книг без обложек на полу со стертым линолеумом. В окна этого не продуваемого ветрами дома были вставлены кондиционеры, напоминавшие сам дом в миниатюре. Они стонали и свистели, отчаянно сражаясь с нестерпимой жарой. Истекающая потом Наташа ополоснула свое тощее

тело тепловатой водой из ржавого крана. Надела шорты и старую футболку с портретом Че Гевары. Потом, состроив вопросительную мину, вышла на улицу, где под капотом своей машины, большого желтого проржавевшего «форда», склонился аспирант.

Наташа не имела никакого представления о том, что она ищет. У нее было чувство, что она обладает *неполной информацией.* Об этой поездке, жарком прибытии в Стерне, несмотря на пыльные дороги и несговорчивых чиновников. Но у нее также было чувство, что информация здесь не самое главное и что абориген, сошедший с автобуса в буше, за сто километров от Стерна, использовал правильный подход. Верную методологию.

Юнец с Наташей решили ненадолго задержаться в Стерне. Вечером в четверг там должен был проходить обряд инициации, который совершат придорожные аборигены. Перемещенный народ. Люди, жившие в хижинах с крышей из гофрированного железа, среди колючей проволоки и разбитых бутылок. Эти люди вернулись сюда, поближе к своей земле после того, как их вышвырнули на восток, подальше от скотоводческих ферм. Они будут готовить своих мальчиков

к ножу. Гости не увидят самой церемонии — это табу не только для чужеземцев, но и для женщин племени и даже собак, у которых, как-никак, своя сложная родословная, — но они могут присутствовать на репетиции. У аспиранта в Стерне был дополнительный интерес. Он вез на запад на своем драндулете квартет стариков — аборигенов, которые пытались вспомнить старые песни, чтобы доставить ему удовольствие.

Этот аспирант хотя бы знал, что никогда не узнает всего, лежа на одеяле под звездами, висевшими на чернильном небе, будто непостижимо крупные, сверкающие виноградные гроздья, припудренные пылью вечности. Он лежал на своем одеяле, но если бы — как он сказал Наташе и юнцу — какой-нибудь из старых колдунов приказал ему: «Подпрыгни!» — он сел бы и серьезно спросил: «На какую высоту?»

Он взял Наташу с юнцом в стойбище аборигенов. Наташа пробиралась в босоножках без пятки по битому стеклу, колючей проволоке, ржавым банкам из-под пива, мимо убогих хижин, в которых лежали туземцы с больной печенью. У собак из пасти текла слюна, как при бешенстве, в ноздрях у детишек надувались пузыри отвратительной слизи, старики смотрели сквозь

прелестную чужестранку в шортах цвета хаки и футболке с портретом Че Гевары. Их глаза, побелевшие от глаукомы, изъеденные трахомой, смотрели прямо сквозь нее, а по ним ползали мухи. От недоедания у них вздулись животы, от цирроза увеличилась печень, а от рахита искривились ноги. Это был четвертый мир в «жестком» свете. Время от времени на дороге появлялись машины властителей первого мира, упитанных, в серых рубашках с коротким рукавом. На крышах машин стояли клетки, в которых обычно перевозят собак.

Старая женщина, с плоским, как у скво, лицом и высохшими грудями, отвела прекрасную чужестранку в сторону, на свой собственный участок пыли, и показала ей несколько неприметных серых камешков.

— Это, — сказала старуха, — затвердевшие кусочки мочи динго, которые не только конгруэнтны по фактуре и цвету дождевым облакам, в настоящий момент поднимающимся в теплых потоках воздуха и устремляющимся на восток, через равнину Баркли, остывая и проливаясь дождем, но и связаны с ними неразрывно. Можно было бы решить — если вы в отличие от меня мыслите механистически, — что я вызываю этот

дождь, перемещая камешки в руке.

Но, разумеется, Наташа услышала только множество щелкающих, чмокающих и увулярных звуков, перемежающихся восклицаниями «нгапа» и «йука!», делавшими речь старухи еще непонятнее.

Вскоре толпа пришла в движение, все поднялись и побежали к другой старухе, которая брела с убитым видом от полицейского участка, ее красная юбка волочилась по оранжевой пыли. Наташа с юнцом остались на месте, а аспирант подошел к толпе, потом вернулся туда, где в коротком клине тени от засохшего дерева стояла парочка.

— В Хермансберге, — сообщил он им, — произошел несчастный случай. Погиб кто-то из их родственников. Перевернулся в машине.

— Это ей сказали в полиции? — спросила Наташа.

— Нет, полиция не знает ни-чего, — ответил аспирант. — Это случилось полчаса назад. Поехали, нас это не касается.

Но в машине юнец, решив, вероятно, что это его касается, с таинственным видом сообщил Наташе:

— Это телепатия. Они узнают такие вещи те-

лепатически. Хермансберг в сотнях километров отсюда…

Наташа велела ему заткнуться. Аспирант одобрительно на нее посмотрел, его глаза сощурились в заднем зеркальце, словно он видел ее впервые.

Аспирант дружил с целой кучей черных молодых парней, невероятно растолстевших от белого хлеба. Почти каждый день он возил их до Теннант-Крик, где они тратили все свое пособие на грог. Они покупали грог, потом возвращались в домик аспиранта в Стерне, где курили ярнди и играли кантри и ковбойские песни на электрических гитарах. Как-никак, они жили в скотоводческой стране. Пока музыканты играли на гитарах, юнец, Наташа и аспирант играли в детскую игру, которую нашли в Тенант-Крик. Играли самозабвенно.

На этой неделе Наташа начала соблазнять аспиранта. Юнец был безутешен. Он видел, что происходит, даже если аспирант не видел или не хотел видеть. Наташа поразила аспиранта тем, что не брала на веру ничьи слова: ни аборигенов, ни юнца, ни кого-либо другого. И еще тем, что ни разу не пожаловалась на жару или на мух. Наташа чувствовала, что аспирант обладает *неполной информацией,* но все же знает больше, чем она.

Знает что-то такое, что ей хотелось узнать, хотя она и не имела представления, что именно. Аспирант был высоким и гибким с треугольной головой и очень зелеными глазами. Щеки покрыты глубокими старыми шрамами от прыщей — словно какой-то полоумный повар схватил его лицо и вместо пармезана натер на терке. Дома он носил саронг, а на выход — мятые шорты. В стрекочущей ночи, когда они втроем играли в детскую игру, пили пиво и курили травку, сидя по-турецки на бетонном полу, его голое колено коснулось ее колена.

Во вторник не было никакого смысла ехать в Тенант — Крик — по вторникам грог не продавался. Поэтому вторник был лучшим днем для обряда инициации. Вечером змей-радуга снижает накал своего свечения — от желтого к оранжевому, фиолетовому и, наконец, к серому. Наша троица принарядилась и отправилась в стойбище аборигенов в километре от города. Здесь они увидели собак, почти динго, призывающих своих варгили — двоюродных братьев, — живущих в буше. Они также увидели овальное облако пыли, поднятой собравшимися людьми. И самих людей — те болтали, жевали пилтджури, курили, обсуждали цены на рынке — совсем как прихожане ортодок-

сальной синагоги. Точь-в-точь.

Юнец с аспирантом заняли место в круге. Наташа пошла с женщинами на противоположную сторону. Из серых сумерек парами вышли мальчики, достигшие половой зрелости, и юноши постарше, их худые ноги двигались подобно ножницам, ступни поднимали пыль. На некоторых были случайные предметы спортивной одежды — на одном майка, на другом штаны, на третьем трусы. Они двигались в такт ударам бумерангов, больших черных бумерангов, сделанных из твердого дерева малга. Жутких, могучих, церемониальных бумерангов, каждый из которых издавал мрачно утвердительный стук. Пара за парой мальчики вошли в круг, передвигая ногами, словно ножницами, проделали положенные движения и вдруг, нарушив ритм, обняли друг друга за плечи и со смехом кинулись прочь — как футбольные игроки после свистка.

Спустились сумерки. В костер подбросили дров. Танцы, разговоры и стук бумерангов продолжались и продолжались. Шли часы. Наташа увидела, как аспирант поднялся и исчез в темноте — наверное, пошел отлить, — и последовала за ним. Он стоял под деревом к ней спиной. Когда он повернулся, поправляя шорты, она подошла

к нему.

— Давай поедем покататься, — предложила она.

— Покататься? — фыркнул он. — Но куда?

— О… все равно, — ответила она и, взяв его за руку, повела к стоявшей на обочине машине. За ветровым стеклом среди нераспечатанных писем, валявшихся на щитке, ползало несколько уставших мух. Аспирант стал похож на туземцев — даже если сам этого не понимал.

Рядом с машиной аспиранта стояла новенькая легковая «тойота», к которой прислонилась парочка светловолосых юнцов в рубашках с коротким рукавом и воротничком на пуговках, со свежими лицами, щеками словно яблоко и такими широкими улыбками, что зубы сверкали в ночи, как каминная решетка.

— Приветик, Гари! — сказал аспиранту один из мормонов (это были мормоны). — Ну, как инициация?

— О, знаешь ли, совсем неплохо. Хотя многие старики не смогли приехать. Не знаю почему.

— Ну, что ж… похоже, эта дребедень продлится до утра, — сказал другой мормон, который был выше, но, на взгляд Наташи, тонко чувствовавшей людские странности, неотличим от своего

товарища.

— Похоже, так, — ответил Гари, залезая в машину.

— До свидания, — сказала Наташа мормонам, садясь с другой стороны.

— До свидания, мэм, — в один голос ответили они.

Гари завел мотор, и они тронулись.

— Это что за типы? — засмеялась Наташа.

Но Гари, привыкший ко всем затерянным здесь племенам, спокойно ответил:

— Мормоны. Они славные ребята. Держат бесплатные аптеки вдоль дороги. Всегда помогают в беде и не слишком задаются, в отличие от многих фундаменталистов. Вот от кого можно взвыть. — Он вытащил две банки пива из холодильника и, открыв одну, протянул Наташе. — Так куда ты хочешь поехать?

И никаких поползновений. Похоже, у этого человека был иммунитет на такие вещи. Наверное, он сам мормон, подумала Наташа.

— Когда мы ехали на автобусе из Алис-Спрингс, — откуда пришли эти слова? — один человек сошел километрах в ста южнее. Какой-то абориген…

— Вполне возможно, — перебил ее Гари, на-

правляя машину на юг.

Наташа описала аборигена, его поношенную широкополую белую шляпу, весь его облик — казалось, этот человек обладает *полной информацией.*

— Это Фар Лап Джонс, — сказал Гари.

— Отвези меня к нему.

Гари поперхнулся, расплескал пиво и дернул машину так резко, что их бросило друг к другу — бедро к бедру, грудь о грудь.

— Господи-боже, детка, ты, должно быть, сошла с ума!

— Почему?

— Он самый могущественный человек на всей Территории. Никто — черт возьми, действительно никто, кроме его управляющего — даже и помыслить не смеет о том, чтобы приблизиться к владениям Фар Лапа. Ты видела эти проклятые бумеранги у меня в доме, такие черные?

— Угу.

— Наказующие бумеранги племени валбри. С валбри лучше не связываться. Мужчины племени повалили меня на землю и нанесли пять ударов: здесь, здесь, здесь, здесь и здесь. — Он указал на свои ключицы, плечи, локти, бедра и крупные голые колени, прижатые к влажному

виниловому щитку. — А после женщины задрали чертовы юбки и обоссали меня с ног до головы. И, кроме того, — продолжал он более спокойно, возвращаясь на почву логистики, — это далеко в буше. Две трети пути надо месить грязь, непролазную грязь, а дальше вообще дороги нет. Там даже джип завязнет. Нет, это невозможно. Невозможно, черт возьми.

— Но мы же можем проехать немного вперед, верно? Всходит Луна, и мне хотелось бы поглядеть на буш при лунном свете. Нам ведь не обязательно ехать до конца, ведь так? Туда, где это происходит?

— Нет… разумеется, нет.

Они поехали на запад по чистой грунтовой дороге, как по реке, текущей меж серебристыми стволами эвкалиптов, ее песчаная поверхность мерцала в лунном сиянии. Разве может что-то страшное быть таким прекрасным? Через двадцать километров они остановились, немного пообнимались на переднем сиденье, но когда он потянулся к ее красному центру, Наташа отстранилась и попросила проехать еще немного вперед. Через тридцать пять километров она помогла ему вынуть одеяло из багажника и расстелить в высохшем русле реки. Без всяких

колебаний. Без колебаний подняла руки вверх и стянула через голову выцветшее платье в цветочек. Без колебаний сделала шаг вперед — открытая мужчине, открытая миру. А он, он чувствовал себя совершенно околдованным. Измотанным и завороженным. Конечно, она была прекрасна — с длинными иссиня-черными волосами, нежной, как крыло мотылька, кожей, серебристым телом, жадным ртом и вездесущими пальцами, — но этого мало. То была страсть, подобная искусству или магии. Страсть, кующая судьбу под звездами, висевшими на чернильном небе, словно непостижимо крупные, сверкающие виноградные гроздья, припудренные пылью вечности. Она совершенно забылась в его объятиях, а он потерял власть над собой. И, потеряв себя, она взяла его с собой, крича: «Me-shugg- en-eh!» Откуда пришло это слово?

Они выпили еще немного веселящей жидкости, и, осмелев, она уговорила его проехать еще немного вперед по руслу высохшей реки. Через сорок километров дорога оборвалась, и они едва не увязли в песке. Что было бы лучше для них обоих. Но Наташа уговорила Гари, а Гари уговорил машину, которая с ревом ползла по песку между колючими кустами, проплывавшими мимо. Они

ехали в лунном свете со скоростью пешехода.

Через пятьдесят километров Наташа снова помогла аспиранту вынуть и развернуть одеяло. Потом сняла с него остатки одежды и уложила на землю. На этот раз их близость была еще более странной. Они лежали где — то на краю земли, а единороги с топотом и треском продирались сквозь кусты.

— Ах ты, mensh! — сказала она. Потому что он был великолепным мужчиной, этот аспирант. Он отлично управлял машиной и прекрасно ориентировался в буше.

Когда все кончилось и он уснул на смятом одеяле, Наташа наполнила две пустые банки из-под пива водой из фляги и оставила их возле его треугольной головы. Взяв остатки воды, она двинулась дальше сквозь лунный свет, ее резиновые подошвы шуршали по жесткой траве, скользили по крошечным комочкам ссохшейся земли, колючки впивались ей в лодыжки. Приблизительно через час она добралась до пологого склона и стала подниматься вверх, между узкими рядами растрескавшихся валунов, таких отшлифованных и гладких, что их можно было принять за стаю дельфинов. Добравшись до вершины, она увидела перед собой страну Фар Лапа Джон-

са, какой ее описывала муму. Под совершенно непроницаемым пологом листвы выстроились зловеще ровные ряды высоких прямых деревьев, между которыми поблескивали небольшие абсолютно круглые пруды. Чьи-то изогнутые губы приглашали ее углубиться в чащу, где царила глубокая тьма. Наташа бесстрашно спустилась со склона и очутилась между первыми рядами стволов, удивляясь их естественной искусственности. Вода в прудах была маслянисто-черной, но когда Наташа коснулась ее обнаженными ступнями, вода оказалась прохладной, а дно совсем не вязким. Ее потянуло искупаться в пруду, окунуть в него свою разгоряченную пьяную голову, остудить ее, быть может, навсегда.

Исцарапанные в зарослях руки Наташи ощутили удивительно гладкий берег пруда. Словно он был искусно срезан искривленным лезвием мотыги. На чернильной поверхности воды концы ее волос казались лапками какого-то насекомого. Ее черный силуэт склонился над чернотой внизу, почти не отражавшей черноты вверху. Наташа наклонялась все ниже с широко открытыми глазами, пока, пройдя сквозь потолок, не очутилась в какой-то комнате. Сначала она заметила только цепь, упавшую в трех футах от нее. Черную мас-

лянистую цепь, покрытую густым слоем пыли и, словно кадуцей, перевитую шнуром. Цепь лежала рядом с тенью, напоминавшей по форме колокол — здесь следует оговориться: тень была круглой, однако стремительное падение исказило перспективу. Наташа увидела сначала подоконник, а за стеклом, далеко внизу — образчик уличной жизни Манхэттена: толпы пешеходов, словно букашки в шляпах, беззвучно катящиеся машины и купол противоположного здания. И только потом заметила, что происходит в самой комнате.

Прямо под ней, чуть правее стоял какой-то серый продолговатый предмет… Письменный стол? Верно, письменный стол с серо-стальной поверхностью. Стол, потому что на его поверхности красовалась старомодная подставка для ручек в форме конуса и веером были разбросаны бумаги, готовые свалиться на пол. Стол, потому что с краю на нем стоял черный ящичек с кнопками — интерком? Стол, потому что на нем лежал мужчина. Крупный совершенно голый, не считая расстегнутой шелковой рубашки, мужчина. Голый мужчина, касавшийся голыми ногами черного ящичка. Мужчина, лежавший голым задом на кожаном блокноте.

Когда Наташин взгляд переместился ниже, ее

глазам предстало совершенно сюрреалистическое зрелище: голый мужской зад на кожаном блокноте. Алый блестящий пенис в снопе рыжеватых волос. На широком животе капли и потеки извергнутой спермы. Лицо мужчины было повернуто к кому-то в тени. К кому-то, кто сказал: «И знаешь почему?» — тоном ее муму, но на октаву выше, — и выступил из тени. Светлые волосы взметнулись и упали на обнаженные плечи волной, наводящей на мысль о недавнем шторме. Плечи были ярко-розовыми. Женщина наклонилась — при этом кожа на бедрах собралась в прелестные складки, — чтобы подобрать с деревянного пола чулки и черные подвязки, и в глубокой ложбине ее ягодиц мелькнул сверкающий клин лобковых волос.

— Почему? — спросил лежавший на столе мужчина.

— Потому что, — молодая женщина выпрямилась во весь рост и резко повернулась, так что ее зад оказался над краем письменного стола, на котором лежал мужчина, — у твоих ручек маловаты шарики, — она выгнулась, показав пышные груди и круглый подтянутый живот, подняла длинную ногу и принялась натягивать чулок, — а у тебя — яйца.

На эффектном лице женщины выделялся крупный нос, по обе стороны от него блестели два пристально глядевших серо-голубых глаза. В накрашенных губах большого рта тлела тоненькая белая сигарета, дым от которой поднимался кольцами к Наташе. Наташа не могла не восхищаться независимостью этой молодой женщины, которую явно только что трахнули. Увиденное ошеломило ее. И она покинула комнату, словно колечко дыма из прошлого, проплывшее перед ее открытыми глазами.

Лежа без сил на лесной подстилке, Наташа искала объяснение: усталость? необычное место? слабое пиво и сильная травка? а может, Гари подсыпал ей на редкость избирательное психотропное средство? Но тут ее руки нащупали край другого пруда, и Наташа мгновенно окунулась с головой в другой мир.

Яркое личико Наташи появилось на тусклом сером экране неработающего телевизора. Перед ней на голом отвратительно искусственном полу сидела муму — Наташа мгновенно узнала ее по толстому шерстяному пальто, внушительным размерам, по холщовой сумке для книг, туфлям, похожим на смятые корнуэльские пирожки, по торчащему вперед шнобелю, — сидела как-то

косо, с поджатыми под себя ногами, одной рукой опираясь о пол, а другой поднося сигарету к искривленному мрачной гримасой рту. Муму разговаривала с человеком в белой широкополой шляпе, поля которой поднимались и опускались с колдовской выразительностью, а из-под них лилась вкрадчивая щелкающая речь. Что делает здесь муму? — могла бы спросить Наташа. Почему она разговаривает с человеком, сошедшим с автобуса, с тем самым человеком, которого Гари назвал Фар Лапом Джонсом?

Наташа могла бы спросить об этом — но не спросила. Провидцы, как известно, не страдают рационализмом и лишены проницательности. Гордые умы провидцев часто напоминают разомкнутые губы, которые легко набить всякой дрянью. Наташа могла бы заметить наказующие бумеранги племени валбри, лежавшие на голом искусственном полу, и спросить, почему они здесь оказались, эти темные зловещие орудия. Но не спросила. Она потеряла концентрацию, и ее взгляд уплыл за сотни миль белой потрескавшейся грязи, где полоска пустынного горизонта слегка отогнулась, обнажая клочок северного берега Темзы и часть здания «Юнилевера».

И весь остаток ночи Наташа Йос металась на

лесной подстилке, переходя в визионерском экстазе от одного пруда к другому, трепеща и дрожа то в одном мире, то в другом.

То она видела, как светловолосая голова старшего брата, которого она никогда не знала, разбивается об асфальт, и в ее груди зрели черные трюфели унаследованных расовых предрассудков. То она ревниво следила за тем, как Вирджиния Бридж, которую она смутно помнила с детства, выстукивает ее йеху-муму мягкими, умащенными «Атриксом» руками, изрекая сквозь зубы гуигнгнма: «Лили, *в самом деле,* как я могу тебя лечить от хронического бронхита, если ты продолжаешь курить? Ты ведь прекрасно знаешь о последствиях…» То Наташа видела колышущиеся, подобно ветвям деревьев, руки. Где бы ни собирались эти люди, они беспрерывно курят «Уинстон», «Пэл-Мэл», «Кэмел», «Лаки страйк» и «Ньюпорт». И слышала голос матери, в котором звучали нотки похоти:

«Неужели нам придется ждать так долго?»

«Что?»

«До сентября? Или, вы хотите, чтобы я подожгла дом сейчас? Бог с ним, с календарем».

На Беркли-сквер Наташа смотрела на мокрые листья под ногами своей муму и чувствовала

непостижимую усталость женщины средних лет. Глядела на ряды сосновых посадок, на то, как ее бедная муму жадно хватает свои припасы и, нежно прижимая их к груди, как съедобных младенцев, неуклюже протискивается в калитку с пятью металлическими прутьями. Наташа видела, как струйка крови лениво стекает под брюками муму, вниз по ноге к лодыжке и в носок. Эти картины казались ей чем-то таким, что они смогут просмотреть еще раз, уже вместе. Перед ней прошел весь спектр пороков: лень, похоть, гордость, гнев, алчность — и опять все сначала. Этот далекий обыкновенный лес Фар Лапа на самом деле был маленькой плантацией всех доступных миров.

Пелена рассвета натянула на бездонное австралийское небо твердый свод. В Лесу-Между-Мирами Наташино лицо сначала смутно проявилось на поверхности прозрачной воды, словно снимок «Поляроида», затем приобрело безупречно четкие очертания. Гиперреальные. Через несколько минут форсунки ракеты по имени Земля заработали на полную мощность. Наташа выпрямилась во весь свой жеребячий рост, и мышцы ее исцарапанных в кровь ног напряглись, привыкая к вращению планеты. Она огляделась вокруг. И не

заметила ничего особенного: стволы эвкалиптов и малги на жесткой травяной подстилке. Над головой язвительно хохотали кукабурры. На востоке темнел пологий склон, на котором уже таяла тень. Вокруг Наташи из шуршащего подлеска поднимались, задавая направление, жилища знакомых с магнетизмом термитов — словно миниатюрные параллелепипеды Миса ван дер Роэ или могильные камни чужих вождей.

Наташа отыскала путь назад. Ей повезло, что она очнулась, когда солнце стояло еще низко, тени были длинными и воды в достатке. Добравшись до машины, Наташа разбудила Гари. Потом они весь день ехали назад к Стерну под палящим солнцем. Само собой разумеется, Гари втрескался по уши. Вот дерьмо!

Наташа пробыла в Стерне ровно столько, чтобы побросать в сумку трусики и косметику, кожаную куртку, ботинки «Р.М. Уильяме», джинсы и детскую игру. Она также взяла один из черных бумерангов Гари — зловещий сувенир. Потом остановила на дороге «тойоту» мормонов, которые подкинули ее до Теннант — Крик. Из Теннанта она добралась автобусом до Алис — Спрингс. Из Алис вылетела в Сидней. Больше суток Наташа безвылазно просидела в терминале

Сиднейского аэропорта, пока не купила самый дешевый билет на самое узкое место. Из Хитроу она доехала на метро до Кингз-Кросс, совершенно обалдев от тесноты этого древнего грязного города на берегах мини-Евфрата. От этого Ура. От этой ошибки.

В Стерне Гари сох от тоски. Юнец куда-то смылся. Гари перестал общаться с толстыми молодыми аборигенами, приходившими к нему играть на электрических гитарах, и через некоторое время аборигены перестали с ним общаться. Он сох от тоски — и пил. Переходил через дорогу в магазин и ящиками покупал пиво «Эму экспорт», «НТ Дрот», «Виктория Биттер» и даже «Каслман», которое местные пренебрежительно называли «колючей проволокой». Гари пил, и пиво царапало его сухую глотку. Он перешел на ром, но лучше ему не стало. Он все забросил. Перед его неказистым домиком стоял в грязи когда-то гордый «форд». Грязь превратилась в пыль, потом снова в грязь. На давно сгнивших ковриках валялись жирные пакеты из-под гамбургеров и манговые косточки, черешки и кожура. Время от времени там поселялись тараканы. Автомобиль, в отличие от мозгов Гарри, был прекрасной средой обитания. И тараканы это понимали.

Местный знахарь тоже это понимал. И посоветовал Гари отправиться на юг — на лечение. Тот оставил машину костлявому старику, но ее забрали толстые юнцы и через день разбили, охотясь на кенгуру. Гари отправился на юг, но лечение не помогло. Врачи не могли понять, почему у такого молодого человека цирроз развивается с пугающей скоростью, его печень покрылась шрамами и разбухла от саркомы.

От Кингз-Кросс Наташа взяла такси до Болс-Понд — роуд и в некой точке — не совсем на Далстон-Джанкшн, но и не то чтобы дальше — попросила шофера остановиться. Отсюда она почти всегда ходила пешком. В этом странном районе с обманчивой планировкой и множеством улочек, садиков и зданий водителям было очень сложно ориентироваться. Особенно тем, кто разъезжал по городу с картой Мобуту или Конакри в голове.

В Аделаиде печень Гари все увеличивалась и увеличивалась — пока не лопнула. К тому времени, когда эта новость достигла Стерна — сколько длится Сейчас? — каждому стало ясно, что его печень «взорвалась, взяла и разлетелась на куски».

В Лондоне стояло лето, на редкость жаркое и влажное. Казалось, впавшие в ребячество боги, которым поклонялись горожане, пропитали весь

город кока-колой, залили растаявшим мороженым, залепили жевательной резинкой. С каждым джинсовым шагом, который делала Наташа, город все сильнее сжимал ее грязной потной лапой, слизывая ее свежую красоту грязным, неразборчивым языком. Она узнала бензоколонку на углу, свернула на Коринт-уэй и шла до телефонной будки в начале Спарта-террас. Дальше она двинулась по Спарта-террас, мимо узких фасадов, где в распахнутых окнах газовые волны занавесок набегали на крашеные стены. Пересекла Сиракьюз-парк, обратив внимание на пустующие пластмассовые землечерпалки и деревянные грузовики. Выйдя на Атенз-роуд, Наташа зашагала быстрее и второпях не заметила кого — то, с кем сталкивалась прежде, свернув с Боллс-Понд — роуд. У входа в угловой магазин сидел маленький безукоризненно одетый азиатский мальчик, игравший с пластиковой машинкой, пластиковой коровой и пластиковой губной гармошкой.

Свернув на Аргос-роуд, Наташа отыскала дом № 27.

— Берни, спусти-ка ключ, — крикнула она. Прошла целая наркоманская вечность — сколько длится Сейчас? — прежде чем вниз начал опускаться ключ на зеленом шнурке, словно кро-

шечный металлический змей в безжизненном воздухе. Показалось ли это Нэтти — признаться, в последнее время ее воображение слишком разыгралось — или она действительно слышала какой-то шепот из подвала?

Рождество 2001

Терпеть не могу спать днем. Когда я просыпаюсь, мне бывает очень грустно, хочется капризничать и я даже чувствую себя несчастной. Как будто день распался на два — два коротких невыносимых дня, вместо одного длинного, который с трудом, но все же можно вынести. «О, — говорили они, — она капризничает, потому что заснула. Потому что спала днем». Да, мир застал меня врасплох и вывернул наизнанку, как носок, кем бы я себя ни воображала. Поэтому я вопила, и била ногами, и выгибала спину, как тюлень — распроклятый тюлень, ныряющий под полярный лед, — и они говорили: «Хорошо, мисс Плакса, подождем, пока ты успокоишься». Но я никогда не успокаивалась. Никогда, черт подери.

Ледяная Принцесса облачалась в большие теплые фуфайки с начесом — последний крик моды — и вельветовые камуфляжные брюки. У брюк было шесть пустых карманов и узор из искривлен-

ных почек — черных, желтых и цвета хаки. Я бы отправила всех этих придурков, разгуливающих в военном обмундировании, прямиком на войну. Интересно, как они отреагируют, когда перед узкими линзами их модных очков с криком «ура» появятся парни в чалмах и им придется на деле опробовать свое милитаристское обмундирование? Девяностые годы кончились тем, что эти болваны увидели сквозь узкие прицелы широкое поле разрушений. Кого они, черт возьми, одурачили? Очки приходят и уходят. В семидесятые последним криком моды были стекла размером с телевизионный экран или чашку Петри — в то выпуклое десятилетие все таращились на свет сквозь выпуклые стекла.

Да, я бы отправила их на войну. А всех юнцов, щеголяющих в длинных дутых пальто, похожих на спальные мешки с рукавами — туда, где по-настоящему холодно, пускай как следует проспятся. Я бы отправила подальше всех подонков, разгуливающих по Грик-стрит в дизайнерских туфлях, похожих на выкроенные из автомобильных покрышек шлепанцы, которые носят в третьем мире. Пусть бы они там пили из луж и узнали что почем. Так им и надо. Есть ли что-нибудь на свете глупее фетишизации обуви? Пусть катят-

ся ко всем чертям. Обычно Ледяная Принцесса одевала меня себе под стать — конечно, когда была при деньгах. Все это время мне страстно хотелось быть девочкой, которая заботится о своей внешности, прихорашивается, причесывается и наряжается без спешки… И я не спешила. Тогда она говорила своему очередному кавалеру. «Она ненавидит одеваться. Просто ненавидит. Давай же, Долила, не возись». Но я возилась. У меня был железный характер.

Дай-ка я напялю на тебя камуфляжные брючки, спортивные костюмчики и даже ненавистные платья! Но я брыкалась, лягалась и драла ее за волосы своими пухлыми ручонками. В прошлом я была мастерицей произвольно-непроизвольных движений. Да, она натягивала на меня вельветовое платьице, блестящие колготки, крошечную парку и ботиночки на толстой подошве. Потом позволяла мне надеть мою пластмассовую тиару и брала с собой на прогулку.

Ее собственный гардероб был не таким причудливым. Она одевалась, чтобы раздеваться, — это она понимала.

Прошли те дни, когда она щеголяла в облегающих платьях. О нет, сейчас ей требовались завязки из скользкого материала, которые врeза-

лись в кожу, деля пополам ее задницу и гениталии. Поверх этой веревочки — потяни за нее, и Ледяная Принцесса произнесет заготовленные фразы: «О, разве вы…», «Ах, не могли бы вы…», «Ммм… давайте лучше…» — надевались прочные, но тонкие, шестьдесят денье, колготки, которые можно было легко стянуть не порвав. Для этих отнюдь не спортивных занятий она напяливала топы, похожие на спортивный лифчик, и юбки, похожие на пояс. Натягивала высокие сапоги на молнии и в довершение всего — плотное пальто, которое можно было запахнуть, а потом распахнуть, чтобы продемонстрировать свои прелести. Эй, поторопись! И еще она носила украшения: продолговатые кольца — на большом и указательном пальцах и мизинце, многоугольные браслеты, кольца на пальцах ног — напоминавшие части от робота. Наверное, чтобы подчеркнуть: то, что она делала, было чисто механическим.

Да, она брала меня с собой, эта земная волшебница, прибегавшая к самым избитым уловкам. Она совсем потеряла голову и отчаялась. Она оставляла меня одну на десять, двадцать, тридцать минут — на сколько было нужно — в каком-нибудь долбаном вестибюле «Хилтона», «Ройял-Гардена» или «Холидей-черт побери-Инн».

Играть в куклы, пока она трахалась. Мое присутствие их сдерживало — самых необузданных — или так ей хотелось думать. Она даже оставляла меня в такси, чтобы усовершенствовать мой суахили. У нее, как и у всех них, были свои водители.

Потом мы встречались в каком-нибудь уэстэндском ресторане или баре с Риэлтером, и он нудно жаловался на то, что ему опять не повезло. Риэлтер со своим крошечным мобильным телефоном и красивым лицом, искаженным отвратительной ревностью, которая их связывала. Накрепко.

Они заказывали разные дурацкие блюда, дорогие закуски — это сушилось на солнце, то вялилось на ветру, и все обливалось коньяком и поджигалось, — и, отрезав кусочек, клали мне в рот. «Попробуй это», — говорили они, а потом: «Неужели она столько съела?» Мой бурно растущий аппетит заставлял их устыдиться своего, таявшего с каждым днем — я была паршивым кукушонком в их гнезде.

Вернее, гнездах. Мы постоянно переезжали. То от какого-то иранца, то от бразильца, а то от выпускницы Сент-Триньяна, которых Риэлтеру удавалось «кинуть». Они так и говорили — «ки-

нуть». «Почему бы нам не кинуть такого-то и такого-то?» — подзадоривали они друг друга и строили планы, как обвести вокруг пальца очередную жертву. Эта парочка никогда ни в чем не раскаивалась. Они были безрассудны и красивы — какое-то время. Такие, как они, начинают с малых доз у «Чарли — Честера» и добавляют в Американском баре. Как это сходит им с рук, когда вокруг полным-полно таких же, как они — грязных попрошаек в накинутых на хилые плечи дармовых одеялах. Заброшенных детей города, пытающихся вернуться домой после бесплатных ночевок на свежем воздухе, в которые превратилась их жизнь.

Ледяной Принцессе с супругом это какое-то время сходило с рук. К тому же они были уже не так молоды, как прежде. И у них был ребенок — а это сплошные расходы. И наркотики. Удивительно, как им удавалось так долго принимать наркотики в таком количестве и еще кого-то обманывать. Дело, видимо, в том, что поначалу они переключились на спиртное, а, взявшись за старое, не кололись до своего последнего штопора в могилу.

Я полагаю, что сейчас, когда я слышу шум пробуждающегося Коборн-Хауса (брюки уже надеты,

собаки рвутся на прогулку, двери хлопают, а меченые карты полной безнадежности можно купить в ближайшем магазине), встает вопрос: благоприятный ли сегодня день для смерти?

Мне кажется, я верно поступлю, если не стану с этим тянуть — в конце концов я, ослабев, свалюсь с этой долбанной лестницы и размозжу себе голову о край гладильной доски, стоящей у двери. Или не выдержу невыносимых голодных болей и, шатаясь, в полубессознательном состоянии, наткнусь на один из ржавых кривых гвоздей и умру от столбняка. Эти гвозди Риэлтер оставил торчать в оконных рамах внизу, когда в наркотическом порыве, запоздало вдохновившись лозунгом «Сделай сам!», попытался заколотить свою последнюю крепость изнутри. (Это нельзя назвать паранойей, его страхи были совершенно оправданны.) Вот настоящий мужчина. Нет, неправда.

Я бы могла отравить себя их погаными наркотиками, но это омерзительно. Могла бы повеситься на одной из веревок, завязок и шнурков, которые эти неизлечимо беззаботные родители разбросали по всему дому. Я могла бы даже — если бы краны не замерзли — утопиться в проклятой ванне. Всем известно, что девяносто процентов

несчастных случаев происходит дома, как и девяносто процентов самоубийств. Статистически, мы не можем даже свернуться калачиком в постели с хорошей книжкой — чтобы не сойти с ума.

Но я, конечно, не воспользуюсь ни одной из этих возможностей. Не воспользуюсь, пока холодный день будет тянуть свои пальцы по старому ковру, подбираясь к голой посиневшей ноге Ледяной Принцессы. Не воспользуюсь, когда он опять уйдет. Чего я жду, черт побери? И почему я плачу и зову свою мамочку?

ГЛАВА 15

Быть гордой — значит никогда ни о чем не жалеть. Если ты всегда прав, то какого черта об этом сожалеть, верно? Гордость — это глубокая шахта, из недр которой ежедневно добывают и вагонетками вывозят на поверхность самодовольство. Гордость можно холить и лелеять, взращивать и откладывать на будущее. Вспомните обо всех этих кретинах-аристократах, стиравших пыль с мейсенского фарфора, пока красноармейцы насиловали их соседок. Эй, соблюдайте приличия, друзья! И еще: гордость передается по наследству. Существует целая индустрия наследия, коим полагается гордиться. Не придет же вам в голову одним махом пустить по ветру гордость, которую вы копили годами. Нет, ее лучше отложить, отложить на потом. Вам остается лишь надеяться, что следующее поколение, с пеленок научившееся обращаться с этой штукой, не кончит свои дни паршивыми эпигонами, проматывающими фамильную гордость на ипподроме смирения.

Так вот, у Ричарда Элверса гордости было навалом, да и Шарлотте Элверс немало досталось от родителей. И прежде чем перейти к рассказу

о том, как они ее тратили, следует сделать последнее уточнение: гордость нельзя подделать. Никогда. Могу вас в этом заверить. Мамочка лучше знает. Я не желаю слышать эту чушь о ложной гордости, ни теперь, ни после. И кем бы вы ни были, великим Карузо или бедным карапузом, ваша гордость не хуже любой другой.

Итак, Шарлотта Элверс гордится своими достижениями в шоу-бизнесе большого бизнеса. Гордится своей женственной фигурой. Гордится своими домами, автомобилями и прочим движимым и недвижимым имуществом. Гордится покойным отцом, выдающимся историком Церкви (в этой связи следует отметить, что Дейвид Йос происходил из старинного рода почитателей Троллопа) и гордится своей матерью. Нет, не гордится. Настолько не гордится, что избегает любого упоминания о том, кем я была.

С физиономией Йоса, приклеенной скотчем к се широкому лбу, Шарлотта, естественно, без всякого труда выдает себя за гойку. Она не желает быть полукровкой. Шарлотта склонна *не афишировать* тот факт, что она — спросите любого, кто в этом разбирается, — еврейка. Поверьте, в наше просвещенное время ей, доброму английскому хамелеону, нет никакой нужды принимать за-

щитную окраску. Демонстрировать напускное безразличие. Теперь почти не осталось мест, где можно позволить себе антисемитское высказывание и встретить молчаливое одобрение.

Именно теперь. Когда эти чертовы израильтяне с поистине фантастическим упорством вызывают огонь на себя, бомбя лагеря беженцев, проламывая черепа и беря взятки — в общем, ничем не отличаясь от шайки фашистских подонков. Теперь, когда на сцену вышли эти еврейские придурки, нет нужды быть антисемитом. Черт побери, даже *еврейский* антисемитизм теперь не кажется таким уж отвратительным. Быть евреем, ненавидящим евреев, в свое время кое-что да значило, этим можно было *гордиться;* это ставило вас на одну доску с лучшими умами последних двух веков — теперь же это сходит с рук любому обрезанцу.

Итак, позвольте мне в общих чертах описать обстановку, обрисовать развязку. Осень 1994 года. Камберленд-террас. Шикса Шарлотта с печальным комичным лицом покойного папаши стоит на кухне размером с теннисный корт. За последние два года Элверсы арендовали еще несколько смежных квартир, к слову сказать, огромных. И когда они их соединили, получился настоящий

дворец, готовый к приему сына и наследника. Которого все не было и не было. Шарлотта еще не окончательно свихнулась, чтобы устроить в одной из спален детскую для Помазанника — в ожидании опаздывающего поезда Мессии. Но даже если б и свихнулась, с чего бы она начала? В квартире было слишком много «шумных комнат», где некому шуметь, слишком много кабинетов, где некому читать, спален, где в лучшем случае подрезают ногти, и оранжерей с охапками дурацких свежесрезанных цветов — чтобы Шарлотте было что заключать в свои объятия. Жилище Элверсов сделалось столь огромным, что у них появилась даже такая штука, как *щит управления* — и это только в лондонской электросети.

Так вот, Шарлотта приводит в действие стальную соковыжималку в стиле ретро и превращает груду бананов, слив и прочих фруктов в полезную мякоть, тоскливо глядя на младшую сестру. Только что возвратившуюся из Австралии новоиспеченную Наташу Блум. Да, фамилия Йос никак с ней не вязалась, казалась уродливым туберкулом на безупречной оливковой коже. А кожа у Наташи теперь не просто оливковая, а совершенно *темная.* Удивительно, как это Им-

миграционная служба не задержала ее в Хитроу, похоже, они не догадывались о том, что Наташа возвращается назад, чтобы терзать свои новые жертвы садистски порочной красотой.

Да, Наташа *Блум.* Шарлотта пошла одним путем, Наташа — другим. И хотя Наташа пока не говорит, что она еврейка, она готова признать еврейскую кровь. «У меня есть еврейская кровь», — заявляет она, словно бочонок этой крови стоит у нее, как у вампира — а она, несомненно, вампир — в холодильнике, чтобы не свернулась. Или, если на нее поднажать: «Я наполовину еврейка, я это признаю, но не принадлежу к общине». На самом деле, Нэтти, тебя не примет ни одна община, даже если бы ты захотела к ней примкнуть. Черт возьми, тебя не ждут даже в Общественном центре Далстона, а это кое-что да значит.

Две сестры пристально смотрят друг на друга, две благородные половины одного гордого существа. В воздухе потрескивают искры антипатии, и Шарлотта отражает пущенную сестрой стрелу.

— Нет, — произносит она, — мы не думали об усыновлении.

Нет, в самом деле. *Absolument non!* Вот что я хочу сказать — к чему вся эта гордость, если ты готова забыть о ней ради первого же полудебильного

младенца, которого подбросит тебе социальная служба? Это сродни тому, чтобы завещать свою поганую собственность государству со словами: «Не согласились бы вы увеличить мне налог на наследство? Сделайте одолжение».

— А ты? — Милая, но тщетная попытка, Шарлотта, ибо тебе не хуже меня известно, что женщине, стоящей перед тобой, усыновление нужно не больше, чем потребителю — обмен широкоформатного телевизора на плоский, одного «форда» на другой, часов «Патек Филипп» на «Лонжин». Да, по тонкой иронии судьбы, стоит только Наташе Блум потереться о мужчину одним местом, как она забеременеет. Словно вся ее светящаяся, дьявольски нежная кожа — это *цветок,* склоненный как раз под тем углом, чтобы собирать любые споры, витающие в воздухе. После парочки выскабливаний и вакуумной чистки, перенесенных в подростковом возрасте, Наташа постоянно носила колпачок *и* пила противозачаточные таблетки, *и* настаивала на том, чтобы мужчина пользовался презервативом, *и* буквально накачивалась противозачаточными пастами, словно сперматозоиды перемещались внутри нее по капиллярам. Если только не вырубалась от наркотиков — а тогда, как известно, все

может случиться.

Для мужчин, угодивших в коготки Наташи Блум, нет ничего более волнующего, чем то, как она надевает им презерватив, напяливает на член намордник из латекса. Наивные недотепы, они считают это преддверием безграничного блаженства. Пока она осторожно разворачивает резину своими прохладными ловкими пальцами, они думают про себя: «О-о-ох!.. — и — А-а-ах!.. Она действительно не хочет ребенка, она любит меня ради этой маленькой твердой штуки. Она… А-а-ах!.. хочет трахаться не меньше моего, вот почему она так ловко надевает эту перчатку с одним пальцем».

Ах! Какая глу-у-у-пость. Как видно, они не понимают, что ее мастерство — признак похоти. В свое время я сама была довольно ловкой. Дело в том, что как только пенис, так сказать, упакован в целлофан, он становится почти безопасным. При случае Наташа свертывает презерватив в толстое кольцо, которое потом туго сожмет основание члена — так фермеры кастрируют баранов, в конце концов плоть засыхает, чернеет и отваливается.

И все же ее умелое обращение с презервативами еще сослужит ей службу.

— Нет. — Наташа грызет шоколадный батончик с арахисом, который очень напоминает кусок дерьма. В отличие от Шарлотты, ей не нужно следить за весом, к тому же у нее безупречно белые зубы Дориана Грея. Жизнь так несправедлива. — Хотя мы с Расселом думаем завести ребенка. — Да, они снова вместе, на этот раз официально. — Теперь у него чистое досье. По-моему, из него выйдет прекрасный отец.

— Из кого? Из Рассела?! — Входит Ричард Элверс в одних носках на огромных ступнях. За это время Ричард еще больше растолстел, несмотря на персонального тренера. Первую половину десятилетия он провел, таская на себе английскую гордость, а вторую — под покровительством лорда Черчилля с его идиотским именем. Бедняга Ричард, к нему трудно не испытывать сочувствия, но дело в том, что теперь я, в этой огромной банке, бесчувственна по природе.

— Ах, Ричард, — прелестно мяукает Нэтти, — да вы же с Расселом никогда не встречались. — Как раз наоборот, встречались, и в этом вся загвоздка. — Теперь он чист перед законом и успешно работает с недвижимостью. Он хотел бы поговорить с тобой о старом школьном здании, которое он и его партнер покупают в Хакни.

Не сомневаюсь, Рассел его купит. Наверняка для очередного грязного дельца ему нужен теоретически чистый капитал. И все же отдадим ему должное, он вовремя завязал с наркотиками. Отбарабанил шесть недель в Паллет-Грин — выпуск 1992 года: «Дурное прошлое поможет тебе пробиться — говно всплывает», — и направил извращенную энергию на воплощение своих маленьких снов в большой кошмар строительного бума. Конечно, Рассел баловался наркотиками — любил выкурить сигарету с марихуаной и запить пивком, — но с тяжелых наркотиков он соскочил. Когда Наташа появилась в его новой квартире в Доклендсе, как всегда под кайфом, готовая возобновить их прежние отношения, Рассел — к его чести будь сказано — повел себя не так, как прежде: он ее отмыл, накупил ей тряпок и поселил у себя. Теперь они преуспевающая пара. Рассел реставрирует помещения, а Наташа украшает общественные места корпоративным искусством.

— Рассел дал мне десять тысяч, чтобы украсить дом в Сент-Катеринз-Док, который он только что отремонтировал, — хвастливо заявляет Наташа сестре. — Когда я развешу картины, там будет по-настоящему хорошо. Я собираюсь пройтись по

галереям. Может, составите мне компанию?

— Ты, вероятно, шутишь, — парирует Шарлотта. — К тому же у нас с Ричардом важная встреча.

Мне многое нравится в Расселе. Я восхищаюсь его красотой, смуглой кожей и темными волосами — он и Нэтти хорошо смотрятся вместе. Мне нравится его бескомпромиссность и то, что он еврей из Ист-Энда. Его семья никогда не покидала черты оседлости, не льстилась на бесцветное безразличие северных пригородов. Выбравшись из ветхих домишек Уайтчепела, ист — эндские евреи селились не дальше Майл-Эндроуд, посещали пустеющие синагоги, ходили в парные в Хакни похлестать себя веником. Они не изменили своему родному наречию — кокни, Слову Господа-уличного-торговца — и породили поколение джентльменов удачи, вроде Рассела, живущих своим умом и, словно темный ангел, пролетающих над пиром коммерции.

Они разительно отличаются от таких людей, как лорд Черчилль, ведущий британский специалист по бесплодию, в чью клинику сегодня отправляются мистер и миссис Элверс. В течение пяти последующих лет встречи с лордом будут приобретать для них все большее значение.

Приемная лорда Черчилля — его деда по отцу звали Джекоб Ротблатт — находится в Южном Кенсингтоне, поблизости от его частной клиники. Именно туда устремляется большинство пациентов, приезжающих в Лондон на курс лечения. По иронии судьбы, не ускользнувшей от глаз самого Черчилля, особого успеха он достиг в лечении мусульманок. Женщины, яйцеклетки которых он холит и лелеет, встряхивает и помешивает, перемещает туда и сюда, — это в основном горбоносые жительницы черных круглых шатров, прибывшие к нему прямо с берегов Персидского залива. Он должен проводить осмотр в строжайшем соответствии с правилами целомудрия, нужные части их тела предлагаются ему по отдельности, словно куски курятины, питающейся курятиной. Похоже, что с помощью искусственного осеменения он вознамерился взрастить в Западном Лондоне армию приверженцев джихада.

Арабы не единственные пациенты Черчилля. Но даже местные жители толком не знают, считать ли слово «Лорд» титулом, именем, студенческим прозвищем или же первым слогом фамилии Лорд-Черчилль. Разумеется, добрый Лорд охотно помогает друзьям — среди которых даже несколько членов правительства — в делах

зачатия. Но может ли это служить достаточным основанием для получения титула?

Вот о чем думают Ричард с Шарлоттой, наблюдая за тем, как он чертит в воздухе указательными пальцами обеих рук символические фигуры диагнозов, способов лечения и прогнозов. Лорд Черчилль управляет человеческими судьбами с подлинным артистизмом, он понимает, что процветающий врач должен прежде всего уметь работать руками, *накладывать* руки. В прежней жизни Черчилль, вероятно, был торговцем на Бриклейн, нагромождал одну на другую глубокие и мелкие тарелки, блюдца, чашки, сооружая из них огромную фаянсовую розетку, а затем обрушивал это сложное сооружение со словами: «Друзья мои, взгляните! Ни одного осколка. Прекрасный новый фарфор. Полный комплект на шесть персон. Для вас — десять фунтов. Всего десять. Ну, кто здесь самый смелый? Раскошеливайся!» Теперь он нагромождает друг на друга чашки Петри, гормональные инъекции и инкубаторы, а цены начинаются с десяти тысяч фунтов.

И все же руками он работает превосходно. Когда Черчилль встает из-за стола и, покачиваясь, идет по толстому эндометриальному ковру, его на редкость уродливое лицо — напоминающее

сжатый кулак внутри перчаточной куклы, — бочкообразная грудь и тощие ножки делают его похожим на весьма подвижный сперматозоид. И это внушает Элверсам *огромное* доверие.

Мне тоже. Потому что я сопровождала их в Южный Кенсингтон. Я вновь принялась околачиваться возле них. Проводить время с Элверсами стало для меня чем — то вроде службы. Я все чаще отпрашивалась в «Корпорейт Коммьюникейшнз», пока до них не дошло, что, в сущности, я у них не работаю, и меня уволили. Наглый коротышка, на которого я жаловалась, пожаловался на меня другому наглому коротышке. Что поделаешь, капитализм! Грядет десятитысячелетний рейх, в котором власть принадлежит миллионам наглых коротышек. Начальница отдела кадров вызвала меня в свой зеркальный кабинет.

— Вы понимаете, миссис Блум, — сказала мисс Воплощенная Современность, — поскольку вы недолго у нас работали, мы не можем предложить вам большое выходное пособие. Простите за любопытство, но вы состоите в каком-нибудь частном пенсионном фонде? — Еще одно зеркальное здание, в которое мне незачем заглядывать — я ничего там не увижу.

На обратном пути в Далстон я хохотала как

гагара, а Лити резвился возле меня, распевая: «Как хорошо-о травы каса-аться, травы у до-ома сво-о-его». Конечно, известковый малютка и понятия не имел ни о траве, ни о доме, ни о прикосновении. Однако годы, что я утихомиривала, урезонивала и увещевала своего так и не родившегося ребенка, не прошли даром. Лити очень развился. Теперь с ним можно было вести почти взрослую беседу. Как оказалось, в нем сочетались бойкий нонконформизм и стихийный анархизм, которые я пыталась привить своим дочерям — но без Наташиного люмпенства и Шарлоттиного снобизма.

А вот Грубиян ничуть не изменился. Он был все таким же — передразнивал старика в инвалидном кресле, вращая руками и вопя: «Ум-дидци-ум-дидци!», показывал взрослым голый зад и пугал детишек, являясь им на грани видимости. Хорошо еще, что он не слишком лип ко мне. Когда я ходила на работу, то оставляла его на Аргос-роуд, теперь я оставляю его там на всю ночь. Черт побери, что ему сделается?

— Итак, что мы предпримем? — спросил Лити недалеко от дома, запрыгнув на тротуар с обочины.

— Наверное, отправимся к смертократам.

Посмотрим, можно ли получить пенсию по вечности или что — то в этом роде.

В ту зиму смертократы арендовали в Актоне помещение обанкротившейся фирмы по прокату автомобилей. На стене у двери висел ящик для хронокарт. Каждый приходивший должен был прокомпостировать карточку и поставить в нужную ячейку. Известно, что смертократы всегда устанавливают строгий порядок ожидания — вот такие карточки или электронные табло, как на почте. На офисных стульях сидело трое или четверо вполне заурядных мертвецов, просматривающих разрозненные газеты недельной давности.

Наконец подошла моя очередь, и, оставив Лити в комнате ожидания, я последовала за клерком в коротком пиджаке, минуя клаустрофобическую череду комнат, в каждой из которых стояло множество вырезанных из картона фигур в натуральную величину. Этих несгибаемых мужчин поставили к стенке, потому что их картонные опоры давно оторвались. Все они изображали молодого администратора в темном двубортном костюме, он помахивал связкой ключей, а изо рта у него тянулась надпись: «МОЙ УСПЕХ В АРЕНДЕ — А ТВОЙ?»

— Их снесли сюда, когда фирма разорилась, — пояснил Хартли, клерк в коротком пиджаке. — Глаза бы на них не смотрели, хорошо, что мы скоро переезжаем. Вы еще не поздоровались с нашим *нюё?*

Я поздоровалась с их драгоценным *нюё,* которого залепила копиркой одна из здешних дурнушек.

По комнате слонялось несколько клерков. Двое сидели, скинув пиджаки, и обменивались бейсбольными карточками, торчавшими из карманов жилетки. Еще один, в синем блейзере, стрелял из ракетницы X2-31 в хиппи с усами Сапаты и в кителе Мао. Бах-бах-бах! Фигурка упала. Другие смертократы играли в маджонг или дипломатию, в скрабл или монополию или пробирались сквозь все 43.252.003.274.489.856.856.000 возможных комбинаций кубика Рубика. На нас они не обратили ни малейшего внимания. Их занимали только собственные мертвецкие мании и бесконечные перекуры. Подобно Фар Лапу, смертократы курили самокрутки. Это в какой-то мере оправдывало их суетливые движения и набитые всякой всячиной карманы.

Хартли отвел меня за перегородку, где сидел Кантер.

— А, миссис Блум. — Кантер оторвался от бумаг, отложил в сторону шариковую ручку и поправил воротник пиджака. — Можете идти, Хартли. Займитесь чем — нибудь полезным, к примеру, прогуляйте Анубиса по Тернем-Грин.

— Как скажете, — с кислой миной ответил Хартли.

Мне так и не удалось разобраться в иерархии смертократов. Хотя Кантер номинально занимался моим делом, я несколько раз слыхала, как он сурово отчитывал Хартли, Гланвилла и даже Дейвиса. В этой организации было слишком много индусов и слишком мало явных начальников.

— Миссис Блум, — укоризненно произнес Кантер, — кажется, вы бросили работу?

— Молва разносится быстро.

— О, почти мгновенно.

— Я слишком для нее стара.

— Не старше, чем вы были в день вашей смерти. Возможно, вы испытываете… гм… как это сказать?

— Чувства?

— Вот именно. — Кантер порылся в бумагах. — Ревность в начале шестидесятых, гнев в конце пятидесятых, гордость после Второй мировой войны и так далее?

— Да-а, верно. — Смертократы всегда все знают, но почти ничего не понимают. — Но в целом они меня не…

— Не затрагивают? Ну что ж, так и должно быть. При вашем тонком теле. Вы как бы видите чувства, верно? Глядите на них со стороны, пересматривая увиденное.

Противный человек. Как хорошо, что я здесь не работаю. Вошла дурнушка, с обязательными бисквитами и спитым чаем. Взглянув на меня с плохо скрываемой неприязнью, она вышла.

— Вы посещаете собрания? — с нажимом спросил Кантер, уставившись на меня сквозь пенсне, которое водрузил себе на шнобель.

— Иногда.

— Никогда, по имеющимся у нас сведениям. Послушайте, миссис Блум, можно говорить с вами откровенно?

— Не вижу смысла в неоткровенных разговорах.

— Вы все еще слишком заняты делами живых. Следите за вашими дочерьми, вмешиваетесь в их жизнь. Мистер Джонс должен был бы посоветовать вам воздержаться от подобных попыток. Так вы ничего не добьетесь. Вам следовало бы подумать о переезде в Далберб или в сельскую

местность. Насколько я понимаю, ваша старшая дочь, миссис… — Он снова принялся копаться в бумагах. Когда эти придурки наконец перейдут на компьютеры?

— Элверс.

— Да, Элверс. Она собирается лечиться от бесплодия, если я не ошибаюсь.

— Возможно.

— На вашем месте я не стал бы проводить с ней много времени. Это чревато осложнениями.

Я поднимаюсь, чтобы уйти. С меня хватит. Я натягиваю перчатки — это представляется мне уместным жестом.

— Меня не слишком интересуют ваши советы по этому поводу, *мистер* Кантер. Я пришла сюда только для того, чтобы спросить, могу ли я, оставшись без работы, получить пособие на сигареты?

— Только самую незначительную сумму. Кажется, сейчас на эти цели выделяют около ста пятидесяти фунтов на календарный месяц.

— Этого достаточно. Не стану вас больше беспокоить.

— До свидания, миссис Блум, на обратном пути зайдите в кассу. И постарайтесь подумать о том, что я вам сказал.

Но я не стала думать — с какой стати? Я верну-

лась на Камберленд-террас. Заняла свое место у Элверсов. И отправилась с Шарлоттой и Ричардом на прием к Черчиллю.

Моя дочь уже прошла у предыдущего врача серию анализов и исследований, но добрый Лорд любил все делать основательно. Шарлотте удалось забеременеть раз в жизни, только благодаря упорным сексуальным тренировкам. Черчилль обрисовал комплекс проблем, мешающих Элверсам зачать ребенка. Шарлотта страдала эндометритом, однако не таким тяжелым, чтобы возникла непроходимость труб. Сперматозоиды Ричарда были вялыми, с некоторыми отклонениями от нормы, однако все же могли передвигаться. Несомненно, нервозность и подавленность Шарлотты препятствовали овуляции. Ха! Ее неспособность к зачатию стала сбывающимся пророчеством. Вдобавок, имелось некоторое противоречие между ее утонченными цервикальными выделениями и его грубой спермой.

Черчилль назначил дополнительные анализы. Он ощупывал ее своими умными руками, причем и он, и Шарлотта, к взаимному удовлетворению, отметили друг у друга всякое отсутствие неловкости. Такой и следует быть гинекологии,

размышлял Черчилль — податливая пациентка должна считать свое тело лишь сосудом для деторождения. Он взял анализы крови, шеечной слизи, сделал лапароскопию, чтобы ознакомиться со строением внутренних органов. Сделал гистеросальпингографию — просто потому, что любил поражать пациентов этим словом. Сделал ультразвуковое сканирование брюшной полости и эндометриальную биопсию. Он объявил, что доволен результатами, и пошел обедать на пятый этаж универмага «Харви Николз».

С пришедшим на прием Ричардом доктор Черчилль говорил о сперме. О том, что ему повезло — у него нет идиопатической олигоспермии. И Ричард мог с ним только согласиться. Иметь медлительную, слегка подпорченную сперму — это одно, *а не иметь ее вовсе* — совсем другое, это попахивает безответственностью. Черчилль сообщил Ричарду, что даже у нормальных подвижных сперматозоидов может иметься скрытый дефект на хромосомном уровне. Но ему не следует винить только себя. Вполне возможно, срок годности яйцеклеток его жены тоже истекает. Некоторые люди, продолжал разглагольствовать

Черчилль, рождаются вообще без *vas deferens*,[46] или их уретра — дурацкая трубка! — выходит совсем в другую сторону. Бывают люди с обратной эякуляцией, что выглядит довольно глупо: они осеменяют свой мочевой пузырь, давая жизнь записанным детишкам. «Все так и вышло, — крикнула я Элверсу из угла. — А последствия расхлебываю я. День за днем я слышу мольбы несчастного крошки у форточки впустить его в дом».

Однако не исключено — и эта возможность вдохновляла Черчилля, ибо служила ареной вдвойне плодотворного исследования, — что иммунная система Ричарда считает собственное семя инородным телом, как будто он проглотил сперму другого парня. Последние слова принадлежат мне, а не доброму Лорду. Так или иначе, главное взять сперму у Ричарда, чтобы иметь наготове как можно больше жизненной силы. Будь это возможным, Черчилль взял бы у каждого мужчины литры и литры этой штуки, так велика была страсть Лорда к сперме.

Черчилль велел Ричарду заняться делом, а сам, пока пациент трудился в поте лица, пошел вы-

---

[46] Примечания: 46
Семявыносящий проток (лат.).

пить капуччино. Ричарду были предложены различные изображения, хранящиеся в китайском лаковом шкафчике. Разного рода эротические картинки, ксилографии, гравюры, гравюры сухой иглой и даже, черт побери, *картины маслом.* О да, Черчилль не сомневался в изысканном вкусе своих пациентов — у них встает при взгляде на Гогена, они кончают от Дега. Там были даже — если бы Ричард оказался человеком грубого склада — *фотографии* обнаженных женщин. Фотографии промежности во всех деталях — на случай, если бы он забыл, зачем он здесь.

Поблагодарив Черчилля, Ричард взял пластмассовую банку. Он пообещал стараться изо все сил. Оставшись в одиночестве, Ричард отошел от лакового шкафчика эстетских наслаждений. Не прельстившись и фотографиями, он положился на собственное воображение. Я смотрела, как он, грузный мужчина, приближающийся к среднему возрасту, стоял у окна в кабинете и глядел на площадь. На нарядных старомодных детей и еще более нарядных и еще более старомодных нянь. Глядел, явно сожалея — или так мне показалось — о каждой напрасной эякуляции из своих двадцати с лишним продуктивных лет. Сожалея о каждой простыне в пятнах и каждом носовом

платке, о каждой напрасно изведенной бумажной салфетке. О ноющей кисти — и все впустую. Он онанировал на потерянное время, бедняга Ричард, а я наблюдала за ним. Глупо, конечно, но я подумала, что мне нужно получше узнать Ричарда, постараться его понять. Как-никак, он мой зять.

Все эти визиты к врачу самым пагубным образом отразились на моем пристрастии к табаку. Мне пришлось урезать дневную норму чуть ли не до ста тридцати сигарет. Я проводила странные вечера, наблюдая за тем, как Черчилль и его лаборанты делают анализы. Они помещали сперму и ее выделения под стекло микроскопа и смотрели, кто победит в борьбе. Они заключали пари и пили пиво из мензурок. Ну и хохмач, этот доктор Черчилль!

Наступила зима, Черчилль вновь собрал нас у себя в кабинете и поведал о видах на будущее. Ответ на вопрос, отчего Элверсы не могут зачать ребенка, хотя один раз у них получилось, оставался таким же туманным, как и в день, когда он включил счетчик на сто гиней в час. Существовало множество возможных объяснений, но ни одно из них само по себе не было достаточным. «Я не рекомендую подобный курс с легкостью, —

весомо произнес Черчилль, — но если вы полны решимости и чувствуете, что обладаете *полной информацией* для сознательного решения, то можете попытаться зачать *in vitro.*

О, они хотели попытаться — почему бы им не хотеть? К тому же они были богаты, как этот придурок Крез, а при крайне неразвитом воображении и затоваренности их домов, им больше не на что было тратить деньги.

Черчилль описал курс лечения. Он даст Шарлотте лекарства, подавляющие выделение слизи и временно вызывающие менопаузу. Потом лекарства, стимулирующие деятельность яичников и наполнение граафовых пузырьков. Чтобы контролировать процесс, Шарлотте постоянно будут делать ультразвук и брать анализы крови. Потом он перешел к самой трудной части. Даже если Шарлотта выдержит перепады настроения, вздутие живота, сыпь и боль в мышцах, нет никаких гарантий, что лечение увенчается успехом. Они *по — прежнему* хотят попробовать? Еще бы им не хотеть!

Потом их учили принимать тяжелые лекарства. Черчилль и его сексуально продвинутые ассистенты показали Шарлотте, как нюхать золадекс в первый день ее цикла. Она может схватить

кайф просто от сознания, что наконец-то взялась за дело, даже если после ее нюхательных сеансов нахлынут страшные перепады настроения, волны гормональной *weltschmerz*.[47] На пятнадцатый день ее цикла, убедившись в том, что яичники беспробудно спят, они научат Ричарда впрыскивать жене человеческий гонадотропин менопаузы. Он должен взять для этого огромный шприц и ввести эту дрянь прямо в мышцу супруги. При мысли об этом Ричарду стало тошно, но все же не так тошно, как Шарлотте.

Все это время им придется делать анализы крови и ультразвук в клинике Черчилля. Циклы лечения плохо согласовывались с циклами их деловой активности. В конце каждого цикла Ричарду приходилось сдавать очередной образец спермы, который подвергали оценке, а после, готовя к оплодотворению, отмывали — да, процедура называлась именно так. Наконец настало время жатвы для Шарлотты. Вспаханное поле ее тела подверглось действию зондов и игл Черчилля. Еще одна большая доза человеческого гонадотропина перед сном. Спокойной ночи, яичнички! На рассвете яйцеклетки спустились

[47] Примечания: 47
Всемирной тоски (нем.).

из созревших фолликул в матку и погрузились в насыщенный питательный раствор с отмытой до скрипа спермой Ричарда. Затем весь первичный бульон был помещен в инкубатор, где должен был свариться желанный суп.

Обычно эмбриолог, поглядев через сутки в микроскоп, обнаруживает нормально развивающийся эмбрион, иногда даже два. Реже бывает четыре — или ни одного. Нужно решить, какой из эмбрионов имплантировать, какой забраковать, а какой подвергнуть глубокой заморозке, чтобы получить Шарлотт и Ричардов в отдаленном будущем. Добрый Лорд считал отбор яйцеклеток своим коронным номером. Он, подобно домашнему божеству, вглядывался в онтогенез через микроскоп, чтобы решить, какие из эмбрионов оставить, а какие забраковать.

Вернувшись на Камберленд-террас, в титаническую квартиру, я наблюдала, как Ричард вводит жене очередную порцию человеческого гонадотропина: оба, согнувшись, тяжело дыша, осуществляли болезненную консуммацию брака. Затем трансфер. Назад в Южный Кенсингтон, на кушетку, получить еще один укол. Затем жестокая премьера, в ходе которой Шарлотте пришлось наблюдать на мониторе за эмбрионами, отобран-

ными Черчиллем, — ну, разве они не прелесть? Затем получившую успокоительное Шарлотту наконец оплодотворили. Проклятая лотерея! Только двадцать процентов оплодотворенных яйцеклеток имеют шанс добраться до шейки матки. Одна из пяти! На ипподроме покорности мало шансов на успех. И все же следует отдать ей — нет, им обоим — должное, за стойкость. Один цикл лечения сменялся другим, времена года перетекали друг в друга, как акварельные краски на детском рисунке, а Ричард с Шарлоттой не сдавались.

Более того, я стала гордиться Шарлоттой и Ричардом. Они были настоящими бойцами — ввязавшись в драку, не собирались уступать. В отличие от Наташи, они не поддавались чарам, не слушали внутренних голосов, нашептывающих: «Бросьте сопротивляться. Вы же знаете, у вас никогда не будет детей. Откажитесь от борьбы. Усыновите кого-нибудь, пока у вас осталась хоть малейшая возможность, не пускайте по ветру ваши Бумажные Обрезки…»

Да, я гордилась ими, но, похоже, эта гордость в значительной мере объяснялась тем, что в те годы я гордилась *почти всем.* Гордилась русскими, контрабандой вывозившими плуто-

ний, — ловкие ребята! Гордилась их президентом — проспавшим Ирландию. Гордилась Шакалом — которого в конце концов поймали. Гордилась смешной англичанкой, за одиннадцать лет обошедшей вокруг земного шара. Говорят, когда она добралась до Джон-о'Гротса, ей сделали рентген и обнаружили, что у нее таз семидесятилетней женщины. Расскажи мне об этом все, сестра, — быть может, это мой. Гордилась сектантами, совершившими групповое самоубийство в Швейцарии. Гордилась госсекретарем Дином Раском — не-о-бы-чай-но. Гордилась Розой Кеннеди — добро пожаловать на борт. Снова гордилась русскими — неэффективно уничтожившими Грозный артиллерийским и стрелковым огнем. Гордилась Талибаном — парнями в умопомрачительных головных уборах. Гордилась турками — отрицая геноцид в прошлом, *гораздо легче* устроить новый. Гордилась Майклом Джексоном, этим побелевшим — на зависть евреям — чернокожим. Гордилась Тимоти Маквеем — вот это парень! Фашизм по-американски. Гордилась французами — им понадобится вся их гордость, чтобы воздвигнуть гордую махину Европейского экономического сообщества. В добрый путь, друзья! Возобновить испытания ядерного оружия

— именно то, что нужно миру в 1995 году. А раз уж вы этим занялись, тогда какого черта оправдали Дрейфуса? Похоже, проявили не-уместное смирение. Гордилась англичанами, припершимися в Сараево, — вы опоздали всего на пару лет, друзья, с вашей армией под командованием Йоса. Гордилась О. Дж. Симпсоном — ну что ж, кому-то это должно было сойти с рук. Гордилась Луисом Фараканом[48]с его миллионом человек — плюс-минус 600 000. Гордилась Игалем Амиром,[49] который только исполнял волю Господа и ни о чем не жалел. Гордилась принцессой Слоаной, сбежавшей из дома, когда ее муженек, тщедушный лошадник, отправился на охоту. Ату! Гордилась учеными из Техасского университета, которые выделили ген, вызывающий рак груди. Спасибо, ребята. Гордилась Тамильскими Тиграми — бр-р-р-раво! Гордилась Первой леди с ее декларацией — *primus inter pares.*[50] Гордилась нашими ребятами, взорвавшими Доклендс, —

---

[48] Примечания: 48

Луис Фаракан — лидер движения «Нация Ислама».

[49] Примечания: 49

Игаль Амир — убийца израильского премьер-министра Ицхака Рабина.

[50] Примечания: 50

Первой среди равных (лат.).

только двое погибших, а сколько безобразных построек снесено. Круто! Гордилась оптическим волокном, способным передавать одновременно триллион битов информации — двенадцать миллионов телефонных звонков, уму непостижимо. Теперь все мы будем знать, что она сказала о том, что он сказал о том, что она сказала. Гордилась клонированной овцой и ее создателем Джорджем Бернсом — хотя не знаю, кем больше. Но особенно я гордилась Унабомбером, арестованным в Монтане. С ним я могла бы уютно устроиться под одеялом. Вам не кажется?

О да, из этого океана гордости внутри можно было немного и расплескать. Черт возьми, у меня еще оставалась гордость за Нэтти и Рассела, эту золотую парочку.

Эти милые птички резвились и ныряли в прудах плутократии, их клювики и коготки увязали то здесь, то там. Один месяц они жили в апартаментах в Мейфэре, другой — в пентхаусе в Паддингтоне. Они меняли квартиры, как перчатки. В своем маниакальном стремлении к роскоши — разъезжая по Олдгейт в кабриолете «гольф», пока в Сити росла гора неоплаченных счетов, — они подражали респектабельному богатству Элверсов. И даже в своих ленивых сте-

рильных соитиях стали подражать стремлению Элверсов зачать ребенка.

Нет, не совсем так. Пока я моталась по городу — иногда пешком, чаще на автобусах и реже на метро, — следуя линиям жизни моих девочек, я поняла, что сигареты с марихуаной, которые время от времени выкуривал Рассел, превратились в стог конопли. Что лишние полпинты светлого пива превратились в лишнюю бутылку «Феймос граус» или «Столичной». Что он вообще позволял себе много лишнего. Они крикливо ссорились. Эти проклятые птицы готовы были заклевать друг друга, плавая по пруду в сгущавшихся наркотических сумерках, не замечая, что остальные птицы улетели, а берег покрылся белесой коркой. Что наступает суровая зима.

Нет, это Элверсы подражали Рассу с Нэтти, занюхивая и вкалывая лекарства, очищая молочно-белую жидкость. Вскоре эта детская страсть к передразниванию — почему, о, почему некоторые дети *никогда* не становятся взрослыми? — передалась Рассу с Нэтти, и они вновь стали нюхать и колоться и промывать молочно-белую жидкость.

Я предвижу будущее — но что в этом толку? Вижу, как они смотрят с дивана бесконечные мыльные оперы. Слушают синтезированную

аритмию музыкальных заставок, словно она способна внести драматургию в их оперную жизнь. Слышу, как вздымается на октаву ее голос. И искаженный левиафановский стон его похоти, взывающий к ней из глубин. Когда он взял ее силой — весной 1996-го это случалось все чаще, — горько было сознавать, что это *он* считал себя обиженным. Маленькой девочкой.

После того, как я стала тайной свидетельницей их драки в доме, который они снимали на Ноттинг-Хилл, я шла домой вдоль ограды Гайд-парка. При жизни я, естественно, страдала белонефобией, болезненным страхом перед иглами и любыми другими острыми предметами. В ту пору я не смогла бы пройти и милю вдоль железной ограды. Даже *помыслить об этом не смела.* А если бы и смела, то кренилась бы набок, как старое судно, перегруженное дебелыми страхами. Похоже, смерть хотя бы придала мне устойчивости.

Дети гонялись друг за другом, забегая в боковые улочки. Лити и Грубиян — неизменно резвые котятки смерти. Достигнув Парк-лейн, мы пересекли три ведущих на север улочки. Перелезли через барьеры у обочины, увертываясь от машин, направлявшихся на юг. За Гроувнор-сквер подул ветерок, я оглянулась и увидела за серой глыбой

американского посольства мозаичную зелень Гайд-парка, которую трепали дождь и ветер.

Даже шум исступленно ревущего города вскоре стихнет, если втянуть голову в плечи и постараться его не замечать. Когда в дождливом небе закружился сухой мусор, я побрела на Беркли-сквер и опустилась на скамейку. Там тогда росли еще не заболевшие вязы — так мне кажется. *Я* села и забылась, глядя на мокрые, прилипшие к тротуару листья, на угасавших стариков. Иди сюда, сигарета номер сто тридцать четыре, *пришло твое время.* Мне подумалось, что никогда еще смерть так не изнуряла меня. Или, точнее, что я никогда еще не чувствовала такую лень. Даже мысль об усталости вызывала у меня зевоту.

Не успела я зевнуть, как со стороны Пикадилли, пробираясь между отдыхавшими в тени туристами, появился Фар Лап. Он выглядел необычайно эффектно в новом просторном плаще с пелериной, придающем ему сходство с черным рыцарем или конкистадором.

— Устала, Лили-детка, йе-хей?

— М-м-м… Да.

— Выжата как лимон, юваи?

Он сел рядом со мной на скамейку, извлек из складок плаща трещотку с бумерангами и по-

ставил на землю. Должно быть, нас можно было видеть, потому что прохожие поглядывали на нас с интересом: пожилая женщина и австралийский абориген — еще одна нелепая парочка в этом несуразном городе.

— Не будь я мертвой, я бы сказала, что умираю от усталости.

— Ха! Так и должно быть. Слушай, ты виделась с мистером Кантером, йе-хей?

— Ох, я была у него недавно. Просила выдать мне пособие, ведь теперь я не работаю.

— Ты по-прежнему вертишься около своих девчонок, йе-хей?

— Да, если ты называешь это так — меня там не видно и не слышно.

— Черт побери, сколько можно тебе повторять? Сколько можно повторять одно и то же? Не вертись около буджу, Лили-детка, особенно около твоих девчонок. — Вытащив коробку табаку и папиросную бумагу, он соорудил одну из своих сморщенных самокруток. Дождь его не беспокоил. Он что-то прощелкал, и я дала ему огня. — Слушай, сходи-ка еще раз к мистеру Кантеру. Они переехали в этом месяце на Уолворт — роуд, в старое офисное здание. Пойди, поговори с ним, он хочет тебя видеть, йе-хей?

— О чем нам говорить?

— О налогах. У тебя задолженность по налогам, йе-хей?

— Какая к черту задолженность? Меня нет ни в одном компьютере Налогового управления. Я мертва.

— Йака! Я говорю не про сейчас… у тебя старая задолженность. Если хочешь вернуться, нужно это уладить.

— Ты надо мной смеешься, наверняка смеешься.

— Слушай, Лили-детка. — Он поднялся. — Существуют неоспоримые факты, йе-хей? — И ушел.

Я снова отправилась к Кантеру. Повосхищалась их долбаным *нюё*, потрепала по морде мерзкого Анубиса. Пошутила с клерками, которые играли со своими погремушками или носились по старым помещениям на оранжевых спейсхопперах, зажав между ляжками резиновые рога. Я слушала Кантера, смотрела, как он считает на старом арифмометре, вертит ручку и произносит сумму.

— Ровно две тысячи триста тридцать четыре фунта двадцать три пенса. Такова ваша задолженность, миссис Блум. Пока вы не уладите этот вопрос с нашей помощью, о возвращении в предсмертную стадию не может быть и речи. Надеюсь,

вы меня верно поняли.

— Напрасно надеетесь… я вам не верю.

— Тогда поверьте моему совету относительно ваших посещений клиники Черчилля. Теперь, когда… кхе — кхе… к вам возвращаются чувства, придется от них воздержаться. В этот процесс вовлечены довольно сложные механизмы…

— Вы хотели сказать «в реинкарнацию»? Признайтесь.

— В данном случае «реинкарнация» не совсем подходящее слово… Одна только подготовка необходимых документов займет массу времени. Ваше дело будет рассматривать множество комиссий, и в каждую нужно представить безупречно оформленные бумаги, хотя успех все равно не гарантирован. А вы еще и настаиваете на том, чтобы появиться на свет — в некотором смысле *возродиться* — в качестве ребенка своей дочери. Вы не можете не согласиться, что это абсолютно беспочвенная фантазия, не имеющая шансов на успех. Я бы посоветовал вам, — продолжал он, игнорируя мою открытую враждебность, — рассмотреть принцип анимации мертворожденных детей с поражением головного мозга, о котором я вам, вероятно, уже говорил.

— Да, говорили, черт возьми. Говорили. О более

проницаемом барьере… я помню, помню.

— Даже стать литопедионом, вроде того, что вы зачали в… — он повернулся в кресле, выдвинул ящик и порылся в карточках, — … в 1967 году, было бы… кхе — кхе… предпочтительнее.

— Чего это вы раскашлялись? — набросилась я на него.

— Простите?

— Зачем вы прочищаете горло? Вам ведь нечего прочищать.

— Я думаю…

— Нет, вы не думаете. Послушайте, я не собираюсь сидеть здесь вечно и слушать эту чушь, у меня дети остались без присмотра. И я не верю вам ни на йоту, мистер «кхе-кхе», ни на йоту. По-моему, вы что-то от меня скрываете… По-моему, вы даете мне *неполную информацию.*

— Вы можете думать все что вам угодно, миссис Блум. — Его витиеватое прямодушие нашло поддержку в лице появившейся с блюдом бисквитов конторской Джейн, взиравшей на него с обожанием и преданностью. — Вы можете думать все что вам угодно, но, пока вы не вернете деньги Налоговому управлению, ни о каких путешествиях за пределы Далстона не может быть и речи, вот так. А теперь, если у вас нет никаких предложе-

ний по поводу графика выплат, я хочу пожелать вам всего хорошего, миссис Блум, пожелать *вам* всего хорошего.

Клянусь, он так и сказал, *более того* (выражение в духе Кантера), он взялся за лацканы своего пиджака а-ля Бернард Шоу, как истинный сторонник вегетарианства и езды на велосипеде, каковым он на самом деле был и всегда останется.

Я вернулась в Далстон — сначала тряслась в старом поганом автобусе до «Слона и Замка», потом промчалась на метро через весь город до Бетнал-Грин в *новеньком* вагоне. Невероятно! За *сорок дерьмовых лет*, которые я провела в Лондоне, они впервые обновили состав. У станции метро я взгромоздилась еще на одного громыхавшего красного динозавра, направлявшегося к Мэр-стрит, а затем исчезла в кварталах Далстона.

В тот весенний день 1996 года даже Жиры мне были рады.

— О-о, она усталая и старая, усталая и старая, — причитали они. — Она выбилась из сил, выбилась из сил, усталая и старая.

Они были абсолютно правы. Я сделала для себя выводы. Сократила количество сигарет до ста в день. Живые говорят, что от того, что просто

куришь меньше, мало толку: ты мучаешься в перерывах и ждешь не дождешься следующей сигареты. Это ничуть не лучше, чем курить непрерывно — а может, даже хуже. Но у живых нет моего тонкого тела и моего мощного стимула.

Рождество 2001

Мне не хватает мужества — в этом вся загвоздка. Вошедший в роль британский актер, играющий офицера гестапо, трижды хлестнул меня по лицу, и я созналась. Мне не хватает мужества это сделать. Я бы не выбрала легкий способ. О нет. Я приволокла бы тяжелый бумеранг и избила бы себя до смерти, осуществив суровое наказание. А после помочилась бы на себя в насмешку над собственными идиотскими представлениями об устройстве мира.

Бумеранг лежит здесь, внизу, на стеллажах. Подлинник под видом подделки. Он валяется на одной из полок — злополучное и совсем не вездесущее орудие. Черт возьми, я такая слабая, маленькая и неуклюжая, что даже пробовать влезть туда опасно. Мне не хватает мужества. Единственное, на что я гожусь, это бросать чудомячики, маленькие резиновые шарики, в которые под давлением закачано масло; они прыгают

по комнате, отскакивая от стен, путаясь в листьях злюки юкки и замирая в синей впадинке на шее Ледяной Принцессы. Чудо-мячики — смешная маленькая игрушка, вроде той, в которую превратилась я, когда эти монстры — близнецы уже не могли дурачить никого, кроме самих себя.

Нет, пока не стемнело, я выползу из-под холодного матраса и согреюсь, поиграв в чудо-мячики. Конечно, мне далеко до Джо Димаджио, но мне плевать. Игрушки лежат в коробке под кроваткой. Ее легко вытащить из дальнего угла и опрокинуть. Но эти пластиковые китайские изделия вовсе не смертельно опасны для детей до трех лет, как значится на этикетке. Впрочем, Ледяной Принцессе, накачавшейся наркотиков, было на это наплевать — она заходила в здание под большой буквой «М», чтобы купить мне «ан-Хэппи мил» с бесплатной игрушкой в придачу, а потом оставить меня, малютку Неро, играть за столом, пока она спустится в туалет подширнуться.

Вот они, крошечные герои мультфильмов: Симбы, Алладины, Барби — играй хоть сейчас. Ой! Мне нужно пописать. Я ковыляю через всю комнату в уборную, вытаскиваю старый оранжевый стульчик и сажусь на сиденье. Теперь я знаю, почему

так успешно справилась с задачей — очень скоро я буду делать это без посторонней помощи.

Ах! Какая же я недотепа! Толстая, уродливая дура. Я забыла попить перед тем, как пописать. Теперь, чтобы зачерпнуть крошечной ручкой из бачка полную пригоршню воды, мне придется ждать десять минут. Бачок в этой квартире — как вы, вероятно, уже догадались — такой же никудышный, как и все остальное. Риэлтер, позволю себе заметить, не слишком занимался домом. Этот здоровый мужик оказался слабаком. Да, мне хотелось бы попить и почистить зубы. Черт побери, здесь нет пасты, но есть зубная щеточка с блестящей ручкой. Я счищу ею остатки вчерашнего кекса со своих молочных зубов. Неудивительно, что я ужасно ими горжусь. Когда Ледяная Принцесса давала мне сладости, я визжала и била ее своими крохотными ручками. «Ах, Долила! Что с тобой? Мамочка принесла тебе конфеток — успокойся! Взгляни, какие хорошенькие конфетки, тебе понравится».

Да, может быть, но они испортят мне зубы. Я не собираюсь повторять своих ошибок, я буду кричать, брыкаться и даже кусать тебя прорезающимися зубами, пока ты не отвяжешься от меня, женщина, пока ты не отвяжешься,

изумленно глядя на меня. Хмурые никудышные мамаши до самой Мексики могли бы мной гордиться.

Здесь в ванной смотреть особенно не на что. Я могу взобраться на свой стульчик и, встав на цыпочки, выглянуть в окно. Но за окном смотреть тоже не на что: только на блочный дом через улицу и еще один блочный дом — Пластиквиль ЕЗ. В двадцатых годах у меня была похожая игрушка, пластиковые домики, из которых можно построить город. Теперь все это делается на компьютере. Когда у Ледяной Принцессы еще были знакомые, которым она могла меня подбросить, я видела других ребятишек, игравших на компьютере. Они возводили искусственные города с искусственными парками, деревьями, домами, магазинами, фабриками и мэриями. Создавали инфраструктуру одним нажатием кнопки. Теперь они наверняка добрались до деревень, куда поместили мастерские по обслуживанию сельскохозяйственной техники. Да, они имитируют города, имитируют отношения и даже имитируют секс. С помощью своей драгоценной всемирной, черт возьми, паутины. Целой сети систем раннего оповещения, которая явно не способна ни о чем оповестить. Эти люди никогда не пойдут в мага-

зин за бумагой — они просто щелкнут мышкой. Ноги у них засохнут и отвалятся. А вместо них останутся два массивных отростка, торчащих из огромной адреналиновой железы. И никаких гениталий — это уж точно.

Если бы я имитировала Лондон, я бы снабдила его лучшим климатом. И хоть какой-то уличной жизнью. Конечно, до меня доносится истерический вой сирен «скорой помощи», но я никогда не вижу, к кому она спешит. Единственные игрушечные человечки здесь — это несколько подростков, умственный возраст которых из-за клея и прогулов свелся к той величине, когда вполне естественно с утра до вечера липнуть к разным штуковинам на детской площадке. День за днем. Да, мне хочется уличной жизни, потому что подобная участь никогда не постигла бы меня в Мадриде, Маниле или даже — предположим — на Манхэттене. Я мечтаю об уличной жизни, потому что вместе с ней у людей появляется непреодолимое желание сунуть нос в чужие дела — с громким хрюканьем. Черт подери, я была бы рада оказаться даже в Тель-Авиве или Иерусалиме. Везде, кроме Лондона, где люди по-прежнему так замкнуты, так хорошо воспитаны, так скрытны. Их вежливость убивает меня.

ГЛАВА 16

Пока меня не уволили, я до конца не понимала, насколько работа помогала мне держаться подальше от дома. Конечно, я ездила на Риджентс-парк-роуд и в Южный Кенсингтон, чтобы взглянуть, как продвигается дорогостоящая программа Элверсов по зачатию-покупке ребенка, но теперь, когда я получила больше информации, нетрудно было пропустить несколько визитов. Я не обольщалась тем, что обладаю полной информацией, но взглянем на вещи прямо: что могли означать все эти предостережения Фар Лапа и Кантера? Покашливание Кантера и требование вернуть налоги? Нет, им меня не провести. Не то чтобы я стала точно подсчитывать фамильное состояние — кипы бумаги в граммах на квадратный метр — или раздумывать о том, как я потрачу эти бумажные деньги. Но казалось справедливым, что все это должно достаться мне. Мне, придумавшей колпачок для ручки, из-под шарика которой вышли миллионы меморандумов, записок и отчетов, которыми можно опоясать земной шар. Я делала ручки — теперь у меня будет для них бумага.

И все же я скучала по работе, по ленивой конторской болтовне, по поездкам на метро. Даже по наглым юнцам, обрубающим экономический цикл на самой верхушке долларовой башни. Вся эта круговерть связывала меня с миром — до некоторой степени. Бездельничая в подвале, перебраниваясь с Жирами, распевая песенки с Лити, терпя Грубияна и периодически протирая Хе-Ла холодной водой — «О, мне жарко, так жарко», — я начала подозревать, что впадаю в ступор. Меня охватила непреодолимая лень. Я всегда была крупной, медлительной немолодой женщиной — а теперь даже больше, чем всегда.

В лондонском зоопарке, куда я заходила по дороге на Камберленд-террас, жил медведь-губач. Забавное животное, совсем как обычный медведь, но с заостренной мордой и когтистыми лапами. Его поместили на открытую площадку с искусственными горками. В шестидесятых, когда я приходила сюда с детьми, здесь были бурые медведи. В общем, этот медведь-губач так и не сумел привыкнуть к неволе. Не сумел привыкнуть к такому количеству пиццы — ограда была всего в нескольких шагах, — запах которой бил ему в нос. Он раскачивался, как больной аутизмом или как стокньюингтонский еврей, говорящий по

мобильному телефону. Из стороны в сторону, с одной когтистой лапы на другую. Вновь и вновь. Я испытывала некоторое сострадание к медведю-губачу; будь я жива, я облегчила бы его жалкую участь. Но, как философски изрек бы Фар Лап, пустота не может одолеть пустоту. Ну и тип. Или, как пропел бы Лити, «Как тя-яжко мне, на сердце пу-у-стота». Годы не прошли даром, лирический вкус обызвествленного трупика явно улучшился.

Но в основном я проводила время в вышеупомянутом Далстоне. «И вновь ребенок плачет в ге-е-етто, в ге-е-етто!» — заливался Лити. Слово «гетто» происходит от итальянского *borghetto,* пригород. Не все об этом знают. Я бы могла сказать тебе, что прочла об этом в одну из ночей, пополняя запасы моей бесполезной эрудиции, но это было бы ложью. На самом деле мне поведал об этом один итальянский парень, с которым мы лениво обменивались историями болезни за настоящим мертвецким завтраком. Вот до чего я докатилась, жевала мерзкую яичницу, как и все остальные. Возможно, это было окончательным признанием смерти, прохождением яичного теста на смертность? Не знаю. Штука была не в том, чтобы наесться на весь день, наспех проглотив завтрак, а в том, чтобы поглощать этот завтрак

весь день. Конечно, я не ощущала вкуса, зато могла слышать хруст насыщенного минералами реквизита, смехотворно известного под именем подсушенного хлеба, на моих замечательных клыках. Я заказывала его квадратными метрами — словно ковровое покрытие, черт бы его побрал, или рулоны бумаги.

Я перестала ходить на собрания. Было совершенно ясно, что Персонально мертвые ничему меня не научат. Они мало чем отличались от антиобщественного клуба, а я — как я уже имела повод сообщить — не большая любительница сборищ. К тому же я не могла не заметить, заглядывая время от времени в Общественный центр или в Сент-Джон, что там заседают уже другие мертвецы — не те, которых я помнила по первым годам в Далстоне. Что с ними сталось? Переехали в Далберб? В провинцию? Или получили временную работу в Персидском заливе? Или, быть может, подобно мне, просто выпали из общественной жизни, решив, что могут лучше провести неограниченное время.

Наконец до меня дошло — слишком поздно, — что они там вовсе не валяли дурака. То, что они там делали, имело вполне определенные последствия. Они прекрасно проводили время — и

проводили с пользой. Не просто горбатились на участках за Далстон-Джанкшн, как некоторые мертвецы. Выращивая овощи, которые они не могут съесть, или пытаясь «установить связь» с забалдевшими защитниками окружающей среды. Эта компашка обосновалась на настилах, устроив их на ветвях старого дуба, нависавших над железнодорожными путями. Они хотели его спасти. И что, на их взгляд, случилось бы, если бы его срубили? Ведь это не какое — то там Древо Жизни. Забавно, что этим ребятам — якобы тонко чувствующим природу — даже в голову не пришло, что они общаются с мертвыми хануриками.

Нет, Персонально мертвые не валяли дурака. Как ни крути, в их программе что-то было. Здесь, в призрачной комнате ожидания, в которой Хартли давно про меня забыл, я не вижу знакомых лиц. Прошло уже много времени (чертовски много) с тех пор, как Фар Лап, Грубиян, Лити и я сели на Пикадилли в черное такси. Это само по себе подозрительно — черное такси. За последние одиннадцать лет я пользовалась только машинами Костаса и его приятелей из таксопарка «Самсара». Грязными старыми колымагами, которыми лихо управляли волосатые мертвецы. Но на этот раз Фар Лап увел такси из-под носа у

женщины, поднявшей руку вверх, словно она хотела остановить машину, которую вел сам Зевс. Фар Лап распахнул дверцу, и мы забрались внутрь. Та женщина ничего нам не сказала — а что бы вы сделали на ее месте? Если бы стояли на Пикадилли, ловя такси, а когда оно остановилось, туда нахально влезли старая толстая блондинка, тощий австралийский абориген и голый девятилетний мальчишка.

— Куда? — спросил нацист-доброволец, сидевший за рулем.

И Фар Лап ответил:

— В Палмерс-Грин.

Ну и прекрасно, в Палмерс-Грин, подумала я, еще одна тряская одиссея по окраинам Лондона. Очередные поиски обанкротившейся страховой компании или бесцветного строения, где прежде располагалась консультация по цвету. Еще один визит к смертократам. Мы с Фар Лапом устроилась на заднем сиденье, Лити с Грубияном — на откидном.

Отъехав от обочины, мы развернулись.

— Куда прешь, козел! — заорал нацист, словно сидел в последнем ряду нюрнбергского стадиона. Потом зашипел интерком: — В том направлении сплошные пробки — там был взрыв. Не против,

если я поеду по набережной?

— Вы за рулем, вам решать, — ответил Фар Лап.

Ну и дурак. Даже я, хотя и не ездила в черных такси с тех пор, как в них установили интерком, поняла, что он хочет нас надуть. По набережной, еще чего. Но так как платила не я, я сидела и помалкивала, стараясь насладиться поездкой.

Вот именно. Между маем 96-го и Рождеством 97-го, когда я обнаружила, что мистер и миссис Элверс подложили мне свинью, я была далстонским медведем-губачом. Вооружившись ленью, я устремилась к новым безднам. Не удаляясь слишком далеко от Аргос-роуд, я занялась олимпийским многоборьем по тоске и победила на всех этапах. В беге со скукой, в прыжках через инертность, в толкании тягот, в стрельбе по пустым мишеням — я отличилась во всех областях несоревновательного поведения.

Я уподобилась жертвенной мумии инков, которую нашли в том же году на леднике в Андах — совершенно сохранной, не считая полного окоченения и пробитой головы. Мой маленький радиоприемник рассказывал обо всех новостях. Но мне плевать было на мир в Чечне-я слишком долго этого ждала. И хотя в конце пятидесятых,

познакомившись с Тимми Лири[51] (он был одним из приятелей Каплана), я сочла его мошенником, встреться он мне теперь где-нибудь на пляжах Санта-Скукоты, я не стала бы выводить его на чистую воду. Запрет на установку пехотных мин оставил меня равнодушной, как и взрывы в Манчестере и Атланте. Тщедушный лошадник выложил пятнадцать долбаных миллионов своей женушке, рассказавшей все как есть. Ну и что? Истина уподобилась дешевой бульварной газетенке — но, черт возьми, мы видели ее торжество. В Бельгии обнаружили подвал полный ужасов. Поведай-ка мне об этом. Нет, не надо. В Иерусалиме разразился страшный скандал из-за тоннеля под Храмовой горой. Этого хотели евреи — вот болваны. Весь этот шум из-за какого-то тоннеля? Попробуйте поездить в проклятом лондонском метро, придурки. В Штатах мужчина шестидесяти шести лет покончил с собой у компьютера. Ну и ну! Эти мерзкие штуковины и так надоели всем до смерти — к чему тратить лишние усилия. В Вене провели какой-то гнусный аукцион в пользу жертв геноцида. Нечто вроде платного соревнования по поеданию пирога

[51] Примечания: 51

Тимми Лири — американский психолог, сторонник употребления наркотиков.

в пользу Сомали — вам не кажется? Главного бугая из Арканзаса переизбрали на второй срок — вот она власть блудократии. О. Дж. Симпсон откупился. Зевок. Брошенная мужем герцогиня зашибла миллион долларов со своими Борцами с лишним весом, и, признаюсь, меня слегка позабавила мысль о том, какими будут *ее* Жиры. Комиссия по оплодотворению и зачатию позволила женщине по имени Блад оплодотворить себя спермой умершего мужа. Вот это я называю отсроченной эякуляцией! Во Франции какой — то паралитик написал роман, двигая одними *веками.* А еще говорят, что роман мертв. Компьютер выиграл у еврея Каспарова в его же игру. *Au revoir,* всезнайки. Швейцарцы нашли у себя в подвалах миллиард наших денег. Мне от этого пользы никакой, но, в самом деле, в какую дырку в ваших эмментальских головках провалились эти вклады? Производителям сигарет пришлось выкашлять 370 миллионов долларов для «Медикэр».[52] Я слабо расхохоталась — слишком мало, слишком поздно-и закурила «ВН». На сегодня номер семьдесят шесть. Вспомните, я экономила. В Камбодже Пола наконец прошиб Пот. Во Флориде

[52] Примечания: 52

«Медикэр» — федеральная программа льготного медицинского страхования.

какой-то никому не известный гомик убил всем известного гомика, потому что ему не понравился покрой его брюк. Или так мне показалось. В Париже нарядная кобылка тщедушного лошадника вдруг откинула копыта, когда мчалась в ночи по кольцевой дороге со своим наездником-арабом. Весь Лондон сошел с ума. Даже я поднялась с кровати и потащилась к Кенсингтонскому дворцу взглянуть на цветочную бойню. Я не могла остаться совершенно равнодушной к этому безудержному закланию срезанных цветов.

Затем я погрузилась в полную апатию до декабря, когда моему любимчику Унабомберу пришлось поторговаться с Министерством юстиции. Он предпочел жизнь смерти — вот зануда. А я-то надеялась, что он закатится к нам в Дал стон, и мы вдвоем пробездельничаем пару лет. Ты понимаешь, что я имею в виду?

Итак, я целых полгода не являлась к Элверсам, ничуть не сомневаясь, что они с прежним рвением стараются зачать. Должно быть, они завершали свой двадцатый курс лечения у Черчилля. Наш лорд содрал с них добрых двести кусков — во всяком случае, я так думаю, — а Шарлотта все еще не увеличилась в талии. Когда она наконец забеременеет, он их полностью вы-

потрошит. Интересно, что Черчилль подарит им в придачу к ребеночку? Какую-нибудь мягкую игрушку? Гарнитур детской мебели? Что можно подарить людям вроде Элверсов, у которых есть все, что пожелаешь, и даже больше.

Только когда я вышла из метро на Уоррен-стрит и поплелась под песчаным ветром к Юстон-тауэр, меня осенило: сегодня рождественский сочельник. Мы, жители Далстона, не придаем большого значения религиозным праздникам — наверно, тебе ясно почему.

Что толку взывать к христианскому Спасителю, когда ты мертв? Ведь в Судный день нам грозит лишь нашествие множества новых душ, из-за которых квартплата подскочит до небес. Нет смысла соблюдать и Рамадан, когда вода и пища не смеют проникать сквозь наши уста и зубы. Если вы ужинаете в далстонском кафе, вам все равно ничего *не проглотить.* Честно сказать, я не думаю, чтобы даже самый безумный умерший мулла возражал против того, что мы кладем себе в рот. Пару раз я видела, как на Дивали[53] семейство Сетов устраивало представление: их маленький мальчик брызгал бесцветной жидко-

[53] Примечания: 53
Дивали — индуистский праздник.

стью на мистера Бернарда. Но то семейство Сетов — они приспособились к Далстону гораздо лучше меня. Это характерно для британских азиатов — прижиться на новом месте, умереть и перейти на следующий уровень розничной торговли.

Да, Рождество. В витринах елочки из фольги, на головах подвыпивших провинциалов красные нейлоновые шапки в форме носка. Всюду царит скука. На Камберленд-террас богачи решили украсить свои окна дорогими безделушками в стиле ретро. В нынешнем году вместо китайских фонариков в моде деревянные украшения и свечи. Чтобы Лондон на исходе нашего века стал похож на чертову *Норвегию* на исходе века прошлого. В этом Элверсы превзошли самих себя. Предаваться детским сатурналиям типично для бездетных пар, тяжеловесов и тяжелодумов. Особенно для Шарли — этой яростной англиканки.

Я взбиралась по дорогим ступеням, костеря их на чем свет стоит. Когда я наконец очутилась в просторном холле с итальянским мраморным полом и гигантской, высотой с секвойю, вешалкой, из гостиной до меня донеслись счастливые голоса и звон бокалов. Гм, мне это не понравилось — с чего бы им так радоваться? Голоса были не просто счастливыми, в них звучала зловеще

знакомая нотка: слова — о ужас! — предназначались ребенку. Я сжалась до полного ничтожества и поползла вперед по толстому ковру.

Господи-черт-побери-боже! Вот что открылось моим глазам: мама-Элверс, кладущая подарочки под праздничную елку, служанка с серебряным подносом сладких пирожков, искрящиеся бокалы с шерри, а на оттоманке размером с «мерседес» сам Ричард Элверс с хорошеньким мальчуганом на коленях. Ребенку было года три, он широко улыбался и был черным, как моя мертвая холодная душа. Они его усыновили — в этом не оставалось никаких сомнений. То, как они смотрели на него, то, как он смотрел на них, говорило о том, что они приняли его афро-карибское происхождение. На всем лежала печать счастливой семейной жизни. Элверсы наконец-то обрели домашний очаг. Но черномазый мальчишка? Этого я от них не ожидала.

Разумеется, я пришла в ярость, хотя и не сразу поняла, что игра окончательно проиграна. Конечно, они капитулировали, но разве не бывает так, что бесплодные супруги, взяв приемыша, впоследствии обзаводятся собственными детьми? Однако, порывшись в письменном столе Ричарда, я обнаружила письма от Черчилля, в которых

он наконец-то подтверждал (заметьте, после того, как прикарманил их денежки), что сперма моего зятя — безвкусная пряность, безнадежно прокисшие сливки, и лишь тогда признала поражение. Вот так обстояло дело и даже хуже. В то Рождество я терлась возле Элверсов, вынюхивая их планы, и узнала, что они *продали* «Бумажные обрезки», *потеряли* много денег и *переезжают* в глушь, чтобы посвятить себя воспитанию сына. Я ненавидела Далстон, но переехать в английскую провинцию? Ни за что на свете. Лучше второй раз умереть.

На спидометре двадцать семь фунтов, а Фар Лап даже глазом не моргнул. Мало того, он даже *дал на чай* Мартину Борману, несмотря на то, что мерзавец не позволял нам курить в своем проклятом такси и всю дорогу до Палмерс-Грин трепался с дружками по мобильнику. Бритоголовый кретин.

— Ну, что на этот раз? — спросила я Фар Лапа, входя в очередной грязный подъезд. — Склад запчастей, который вылетел в трубу? Разорившаяся юридическая консультация? Какой прелестный уголок оккупировали смертократы на этот раз?

— Хей-йе. Похоже, пора посетить зубодера, Лили — детка. Следуй за мной, йе-хей! — И он

взвалил на плечо свои деревянные побрякушки. Их с каждым разом становилось все больше.

— А это что за штуковина? — Пока мы тащились по ступенькам, я указала на раскрашенный шест.

— Вот эта? Пукамани, детка, шест смерти. — Он ткнул шестом в дверь с матовым стеклом и ввел меня в зал долгого ожидания.

— А, миссис Блум, — сказал Хартли. Он пытался прикрепить резинового кота Гарфилда[54] к двери. — Боюсь, мистер Картер *pro tem*[55] занят, но мы рады вас видеть. Со стороны мистера Джонса было очень любезно вас привести. Насколько я понимаю, долг Налоговому управлению выплачен полностью.

— Это действительно так?

— Не сомневайтесь. — Теперь, когда он об этом упомянул, я вспомнила, что уплатила все сполна. Я вечно путалась в денежных вопросах. — Позволю себе заметить, что теперь, когда все помехи ликвидированы, осталось только заполнить формуляры, проверить соответствие указанных в

---

[54] Примечания: 54

Кот Гарфилд — герой мультфильмов и комиксов, одно время было модно прикреплять его к стеклу автомобиля.

[55] Примечания: 55

Временно (лат.).

них фактов действительности и подготовить все необходимые бумаги.

— Только и всего? — съязвила я.

Хартли снисходительно улыбнулся.

— Боюсь, комната ожидания не слишком комфортабельна — в наши дни очень трудно снять помещение.

— И не говорите. — Я оглядела длинную узкую комнату. Вдоль стен стояли разномастные стулья: садовые из пластика, кухонные с плетеными сиденьями, мягкие офисные на колесиках. На стеллажах все еще лежали брошюрки о кариесе, фторидах, нитях для чистки зубов и прочих жизненно важных при испорченных зубах предметах. Я разглядывала привычные цветные плакаты с изображением ротовой полости, между которыми висели объявления частного характера: «Кошка ищет хорошую семью», «Семья ищет хорошую кошку». Наметился кошачий обмен. Напротив, между стульями, длинный низкий стол, заваленный стопками журналов «Вуманз релм», «Ридерз дайджест» и «Татлер». Похоже, здесь лечили зубы одни неграмотные снобки. О да, своей очереди ждут и мертвецы, но это, как обычно, команда призраков, лоскутные куклы без документов, со стертыми лицами, глядящие

на вас сквозь залитые дождем стекла общественного транспорта. Разные «никто».

— И тем не менее, — продолжал Хартли, — прежние арендаторы оставили здесь кое-что для чтения, журналы и прочее, так что, пожалуйста, чувствуйте себя как дома. Вы можете полюбоваться на нашего *нюё,* но только если вам действительно этого захочется. — И он исчез за очередной дверью с матовым стеклом, за которой клерки в костюмах разных эпох вертели в руках спирографы, возились с тамагочи, обменивались покемонами.

Фар Лап взял в автомате квитанцию с номером и протянул мне.

— Вот, Лили-детка, твой номер — 1347, - похоже, тебе придется подождать.

— Почему это мне? А тебе?

— Гм… мне время собирать пожитки, детка, хей-йе?

— *Прости… ты что, хочешь здесь меня оставить?*

— *Я* посмертный проводник, Лили-детка. Это мое ремесло. Но очень скоро ты не будешь мертвой, а мне пора быть где-то там.

— Где-то там?

— Я открываю новый ночной клуб в Кам-

ден-Тауне, это его название — «Где-то там». Потрясающее место, детка — поверь мне, просто закачаешься, йе-хей?

Могу ли я чувствовать себя как дома в этом временном месте? Абсурдная идея. Внезапно меня охватила тоска по Далстону, подвалу дома № 27 по Аргос-роуд, тоска по моим каждодневным занятиям. Даже по Жирам.

— Ну что ж, придется ограничиться компанией детей.

Фар Лап, причмокнув, втянул в себя щеки.

— Не-е, детишки пойдут со мной, йе-хей? Это не их круг, детка, совсем не их. Он только твой, Лили, только твой.

Лити был потрясен до глубины души.

— Ах, эти во-олны золотых волос и эти о-очи голубые… Все, что оста-алось от тебя — печаль. Одна-а печаль! — в его гагатовых глазках блеснули слезы. Он сделал несколько неверных шажков по вздувшемуся линолеуму, едва не упав в обморок, но Фар Лап подхватил его и сунул в свой мешок.

Грубиян тоже разволновался.

— Вали отсюда, старая толстая сука! Убийца проклятая! Ты, Майра Хиндли, давай проваливай! — Выкрикнув эти ругательства еще раз, он бросился к дверям. Последним, что я увидела —

или я должна сказать «мы увидели»? — был хвост его енотовой шапки. Какого черта я ее купила? О да, я вспомнила: ему хотелось быть королем Дикого Запада.

Передо мной стоял один Фар Лап.

— Вот так, Лили-детка, йе-хей? Здесь у меня в мешке для тебя что-то есть… Если ты в самом деле решила уйти.

— На что ты намекаешь? — Я начала раздражаться. Никогда не любила прощаться.

— У тебя остался последний шанс сойти с круга, детка. — Его голос звучал с той особой ясностью, которая появлялась в моменты поучений. — Еще есть время прицепиться к крючкам и петлям благодати. Если ты этого захочешь. Если сможешь — всего на несколько мгновений — сконцентрироваться на главном. Поверь мне, Лили-детка, ты не пожалеешь.

Я посмотрела в его зеркальные очки и увидала там свое отражение — после одиннадцати лет в гробу я выглядела не так уж плохо, как можно было ожидать. Серо-голубые глаза, крупный нос, высокие скулы — за такие *умереть* не жалко. Густые блестящие светлые волосы. Нет, я выглядела совсем неплохо.

— А что у тебя в мешке? — спросила я.

Порывшись в плетеном мешке, он вытащил поочередно: изюм — с роскошной средиземноморской красоткой на коробке, апельсин, хрустящие хлебцы, шесть кусочков сыра, банку светлого пива «Топ Дек», лайм и наконец — батончик «Марса».

— Вот, Лили-детка, немного еды. Ты ведь проголодалась, верно?

— Проголодалась? Да я *умираю от голода!* — Я взяла еду из его сложенных лодочкой ладоней и рассовала по карманам пальто. Последним туда отправился батончик «Марса»: я знала, что выну его первым.

— Так, значит, тебе захотелось есть, детка, йе-хей?

Еще как. После всех этих лет невыразимо острая боль — чувство голода — снова терзала меня. Потребность в пище развязала химическую войну в реторте моего желудка.

— Теперь перестанешь думать о том, чтобы трахнуться — для разнообразия, йе-хей?

Так оно и вышло. Впервые за несколько месяцев из моей головы улетучились все мысли о сексе. Я проглотила еду в одно мгновение. Как я и ожидала, «Марс» исчез первым. Маленький коричневый батончик растаял у меня во рту,

сбежал теплой струйкой вниз по горлу, наполняя меня эротической сладостью. Я слопала его в три глотка. Как хорошо снова есть своими зубами — такого подарка я не ожидала. За «Марсом» последовал изюм, за изюмом — апельсин, хрустящие хлебцы и сыр. Я запила все пивом «Топ Дек» и даже тебя не угостила. Но, черт возьми, нужно было заявить о себе погромче. Когда я подняла глаза от своей преступной трапезы, Фар Лап уже исчез. Абсолютно в его духе — просто исчез из поля зрения.

Вскоре голод вернулся. Дикий голод пришел, чтобы уволочь меня с собой. Не знаю, почему Хартли сказал «прежние арендаторы» — время от времени за дверью в дальнем конце помещения раздавался мучительный вой бормашины. Если я не ошибаюсь, там лечили зубы. Но моя сексуальная одержимость исчезла, спасибо хоть за это, потому что, начав рассказывать тебе всю эту историю, я поняла, что впуталась в нее именно из — за секса. Хочешь знать все о похоти? Я расскажу тебе о похоти.

После открытия, сделанного в доме Элверсов, промчалось несколько недель. Я валялась дома на кровати, курила и слушала свой маленький приемник. Диктор — теперь он говорил с про-

тяжным северным акцентом — сообщил, что умер Бенджамин Спок. Черт возьми, Спок! Наконец-то один из нас. Сколько раз я листала его книгу в поисках слова «колики», а одна из моих дочурок стонала и корчилась на кроватке. Спок, с его изумительным здравым смыслом, которому такая растяпа, как я, могла следовать не больше нескольких минут. Вот если бы у меня были дети от Спока, они бы, возможно, выросли совсем другими — никто не умер бы, не пристрастился к наркотикам, не погряз в эгоизме.

За мыслью о Споке как о возможном отце моих детей совершенно логично пришла мысль о том, каково *заниматься этим* со Споком. На что бы это могло быть похоже! Мне всегда нравилось представлять себе доктора в качестве любовника — он знает, где что находится и все такое прочее. Внезапно я почувствовала, что не только рассматриваю эту ситуацию — гляжу в его очки, помогаю снять белый халат, — но что я *возбуждаюсь*. Разумеется, я не могла чувствовать, как увлажняются мои гениталии или твердеют соски, но мозг охватило безумное желание. Не утихавшее еще полтора года.

Я бы не отказалась заняться этим с Пол Потом — конечно, он не вышел ростом, но по моему

опыту коренастые коротышки отличные любовники. Как жаль, что он ушел в поля смерти в мае 98-го. А этот парень, Марсель Папон, конечно же посылал евреев в газовые камеры, но надо отдать ему должное, он выглядел на суде таким элегантным. Он получил десять лет, и я бы не отказалась разделить с ним ненадолго заключение — ты понимаешь, что я имею в виду? А эти сумасшедшие бритоголовые в Саксонии-Ангальт? На федеральных выборах они набрали восемнадцать процентов. Той ночью они наверняка гуляли в пивных, и я была не прочь повеселиться с ними. Да, моя похоть не знала дискриминации. При жизни я считала себя ее игрушкой, но это было смешно по сравнению с тем, что творилось со мной сейчас: я бы трахнула *все, что движется.* Бэмби Блэра и мокрогубого Адамса — я бы хотела крутить с ними любовь втроем во время англо-ирландских переговоров. А что, если прибавить к ним парочку толстяков-юнионистов — для ровного счета? Или головорезов с Западного Берега с полотенцами на голове? А вдруг они угомонятся, если проведут со мной по нескольку минут каждый. Последствия сексуального подавления всем известны. Я не могла плакать, когда закрылись Милые Голубые Глаза, зато я занялась бы с ним

любовью прямо на его проклятом смертном одре. Я позабыла стыд. Рой Роджерс[56] мог бы петь в моей стране в любое время, я бы знала, как разрядить его собственный Ствол.

Все первые девять месяцев 98-го года я валялась в постели, корчась от снедавшей меня похоти, Жиры испуганно жались к стенам, Лити, изображая оргазм, распевал: *«Je t'aime».* Даже Хе-Ла необычно разогрелась, а Грубиян… ну, можешь себе представить. В конце концов мне пришлось подняться. Я неплохо справилась с тем, что стала мертвой, толстой и старой, но получить вдобавок грязное воображение? Что ж, попробуй ответить сам.

После того, как Элверсы уехали, а я потеряла работу, мне было почти некуда пойти. К тому же меня беспокоило, что из-за моей недавно обретенной похотливости мне будет сложно оставаться незаметной. Что, если один из мириадов мужчин на улице, на которых я смотрела с вожделением, меня заметит? Может выйти скандал. Нет уж, я решила проведать свою младшую дочь и ее борова. Если кто-нибудь и способен погасить мою похоть, как какую-то поганую лампочку,

---

[56] Примечания: 56
Рой Роджерс — исполнитель музыки кантри, «поюший ковбой».

просто щелкнув выключателем, так это Наташа. Она всегда была потаскушкой, а со временем стала законченной *шлюхой.* Всему виной дурные наклонности. «Почему бы тебе не трахнуться с ним, Нэтти? — шептал внутренний голос. — Ты почувствуешь себя привлекательной… на время». Это ее устраивало — обменивать тающие запасы уважения к себе на пятифунтовые бумажки мужского вожделения. Молодчина!

Наташа с Расселом катились в пропасть. Они еще ухитрялись сохранять пристойный вид — но это было все, что у них осталось. Они жили в роскошной квартире в Империал-Мэншнз, одном из новых зданий на Риджентс-парк-роуд. Рассел «кинул» владельца квартиры, поца, который решил протянуть руку дружбы этой парочке, рассчитывая на ответный жест. Кретин. Рассел с Наташей теперь протягивали руки только для того, чтобы вонзить в них иглу. С помощью дыма и зеркал они поддерживали свою веру в то, что их жизнь хранят чудодейственные силы. А когда Наташа сидела на кокаине, от нее можно было ждать чего угодно.

В тот самый день Рассел отправился за наркотиками. Наташа не отличалась воздержанием — это я могу гарантировать. Она уже была под

кайфом и страстно хотела забалдеть еще сильнее. В ожидании новой дозы она слонялась по нелепо обставленным комнатам — толстые белые ковры, столики из стекла и алюминия, — ни на секунду не выпуская сигареты изо рта. Она собирала целую гору пепла для предстоящего сеанса. Даже мне с моим *беспрестанным* курением претила привычка наркоманов *собирать* сигаретный пепел, устраивая настоящий *склад* из рыхлого серого вещества. Какая мерзость.

На ней были облегающие атласные брючки, на моей Наташе. И облегающий топ с люрексом. Она по — прежнему хорошо смотрелась — если вам нравится постная, пропитанная химикалиями плоть. К счастью, тому, кто пришел, это нравилось. Раздался звонок, и в вестибюле появился — я подошла к монитору вместе с ней, чтобы взглянуть на посетителя — Майлс. Он так давно собирался навестить свою старую любовь. У него по-прежнему не было денег на такси. Когда Наташа его впустила, он объяснил, что редко бывает в Лондоне, потому что припарковаться здесь чертовски трудно и ужасно дорого.

Да, Майлс перебрался в захолустье и женился на ком-то более подходящем, чем Наташа. Но, черт возьми, Екатерина Великая — и та более подходя-

щая, даже если вы ее лошадь. У Майлса с женой было двое ребятишек, разнояйцовые близнецы. Он показал Наташе фотографии с их улыбавшимися мордочками. Недопустимая ошибка, Майлс. Даже прийти сюда было ошибкой, а показывать неудачнице очаровательное напоминание о ее материнском фиаско совсем уж глупо. Но ты ведь никогда не отличался проницательностью, верно, Майлс? Торчал в какой-то дыре, вкалывал в юридической консультации для бедных — гордиться нечем. А теперь ты пробудил в ней ревность, ее худшие чувства, бездонную пропасть отвращения к себе. *В самом деле,* Майлс, тебе пора бы знать, чем это кончится. Пора бы знать, Майлс, давно пора.

Они стояли на кухне, Наташа заваривала ему чай. Это была первая чашка чаю, приготовленная ею за те три месяца, что она здесь умирала. (Едва ли это можно назвать жизнью.) Майлс никогда ничего не курил, что придавало его облику некоторую чеканность в ее подернутом дымкой жилище. Он стал еще более привлекательным, когда, неизвестно почему, вдруг начал декламировать Наташе стихи:

— «Сентябрь, когда мы любили, словно в горящем доме…»

— Неужели нам придется ждать так долго?

— Что?

— До сентября? Или ты хочешь, чтобы я подожгла дом сейчас? Бог с ним, с календарем.

Наташа говорила серьезно — и я была потрясена. Она щелкнула своей одноразовой зажигалкой, которую вынула из кармана облегающих брючек, и поднесла дюймовый язычок голубого пламени к уголку одной из кулинарных книг, валявшихся на кухонном столе. Для этого ей пришлось наклониться к Майлсу, и ее плоский живот на миг прижался к его промежности. Следует признать, что в первую секунду Майлс отпрянул — но ненадолго.

Они занялись этим в спальне хозяина, даже не сдернув тяжелого полосатого, как шкура зебры, покрывала с широкой плоской кровати. Майлс даже не снял с себя брюк. Черт возьми, Наташа их тоже не сняла бы, если бы могла не раздвигать ног. Я стояла в дверях смежной ванной комнаты, среди зеркал, и наблюдала за отвратительным актом, происходившим на кровати, и за твоим зачатием. Испытывая одновременно клаустро- и агорафобию. Мне было мерзко — по-настоящему мерзко. Мало того, я ревновала. Ревновала, как никогда прежде, я даже не предполагала, что могу

так ревновать. Это был *мой* мужчина, *мой* Майлс. Это *со мной* он должен был лежать, мне хотелось покрыть его милое лицо поцелуями, теребить его волосы, кричать ему в рот, держаться за его твердые ягодицы. Я хотела его так сильно, как никого прежде.

А что же Наташа, эта бесчувственная сучка? Троллопом, любимчиком ее папаши, вот кем она всегда была. Еще одним ленивым толстым Йосом; ребенком, который держит в каждой руке по глазированному члену и не знает, какой лизнуть. Не будь я мертвой, я выцарапала бы ее проклятые глаза. Трахаться ради удовольствия — это я могла понять, но изменять мужу с досады — низко. Хотя все длилось лишь несколько секунд. Бедняга Майлс, похоже, он не слишком часто занимался этим в своем Стивенейдже или любом другом старом новом городишке, в котором прозябал. Он стянул с нее брюки, спустил трусики, взобрался на нее, пронзил несколько раз подряд — и все было кончено.

До чая дело не дошло. Он прошагал длинные мили назад на станцию, оставив меня *с ней.*

И я *оставалась* там. Почти до самой встречи с Фар Лапом в Сохо, той, о которой рассказывала тебе в начале этой дурацкой истории. Долбаные

смертократы вечно заставляют нас ждать — хорошо еще, что ты оказался таким терпеливым слушателем.

Да, я осталась. На самом деле у меня не было выбора. Я осталась, прикованная к ней своей похотью. Каждый раз, когда она трахалась, мне нужно было присутствовать. А она еще много раз это делала, пока не поняла, что беременна. Я испытывала самые изощренные муки желания, когда она бросала взгляд на часики над прыгающим плечом безымянного клиента номер восемьдесят два. «Я должен быть там!» — как очаровательно пел Лити. Я страдала от острейшей агонии не-удовлетворенного сексуального желания, пока она балдела от семидесятой сигареты с марихуаной за неделю.

Как она дошла до такой жизни? Что ж, она была не из тех бедняжек, которым приходится оставлять свои карточки в телефонных будках, нет, наша Нэтти была не такой. Она так нагло не нарушала закона описания сексуальных товаров. Эти карточки, с изображением выпирающей отовсюду щедрой плоти, затянутой в красный эластик и белый атлас. Карточки, в которых сообщается: «Жасмина. 36-26-34. Восемнадцать лет. Молодая актриса. Своя квартира. Никакой спешки. Зайди

и немного расслабься», а они должны вопить: «ЖАНИНА, ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ, ЭМОЦИОНАЛЬНО НЕУРАВНОВЕШЕННАЯ НАРКОМАНКА, ГОНОРЕЯ, СИНЯКИ, НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ УРЕТРИТ, СПИД. Я БЫСТРО ВЫПОТРОШУ ТЕБЯ ЗА ДВАДЦАТЬ ФУНТОВ — МНЕ СРОЧНО НУЖНО ПОДШИРНУТЬСЯ». Нет, наша Нэтти в подобных карточках не нуждалась. У нее был класс.

Рассел *прекрасно* об этом знал, еще бы ему не знать. Это он познакомил ее с тощим Зимоном. Ну и тип, этот Зимон. Он думает, что «З» в начале имени превратит его в Зорро, а его «агентство по сопровождению» — в монастырь в проклятой Южной Калифорнии. У Зимона процветающий бизнес, его девушкам нет равных, когда нужно *сопроводить* подвыпивших менеджеров средней руки от двери в их гостиничном номере до кровати. Да, Рассел знал — хотя они об этом не говорили. Они ничем не отличались от множества пар «сутенер-проститутка» по всему миру, его крючок несостоятельности цеплялся за ее петельку позора, так они и тянули друг друга вниз. Все ниже и ниже.

Когда до родов оставалось совсем немного, Риэлтер сжег все мосты, соединявшие его с миром бизнеса. Некоторые люди желали ему смерти.

Буквально. Следует признать, что последние три месяца он перестал посылать ее за заработком. И все же, сколько извращенцев хотели бы трахнуть накачанную метадоном потаскуху с выпуклым смуглым животом, в котором уже бил ножками ребенок? Предостаточно. Да, она была на метадоне. Двадцать миллиграммов в день, купленных в аптеке и проглоченных там же, за прилавком, рядом с обритыми наголо детьми, чьи мамаши покупали частые гребни. Ему приходилось чуть ли не замуровывать ее, чтобы она не наглоталась всякого дерьма. К тому времени ее стало легче ограничивать — с учетом того, что теперь они жили в более ограниченном помещении.

Все ниже и ниже, из пентхауса в дом, из дома в квартиру, из квартиры в конуру. Они двигались на восток, против пассатов благополучия, дувших в обратном направлении. Два тощих флюгера, неизменно повернутых в сторону вырождения. Они остановились на Майл-Энд, в темной маленькой квартирке, рядом с другими искателями погибели. А впрочем, какое мне дело? Передо мной прекрасный новый мир, и я хочу снова стать его частью. Черт побери, ухитрились же построить взлетно-посадочную полосу в полосе Газы — ведь это что-нибудь да значит! Бэмби

Блэр превратился в Бомбера Блэра — мечтая превратить свою бойскаутскую пипиську в милитаристский шлонг,[57] он лез из кожи вон и не жалел взрывчатки на Балканах. Хорошо еще, что Иегуди Менухин не стал жить вечно, и если он отправился в последний путь не на машине, то все равно у конечного такси один конечный пункт.

А мы пока сидим здесь, с номерами «Вуманз релм» и остальными безликими ожидающими. Вряд ли тебе хочется пойти полюбоваться на *нюё,* верно? Похоже, так смертократы сходят с круга, как выражается Фар Лап. Этот конторский *нюё* вечно залеплен копиркой, или скотчем, или другой липкой дрянью, подвернувшейся под руку какому-нибудь пыльному клерку или тухлому писцу. Но так как здесь работает дантист, они, наверно, залепили *нюё* какой-нибудь долбаной *амальгамой.* Нет? Не хочешь к *нюё? Я* тебя не осуждаю. Мы так давно сидим в этой комнате ожидания. На наших глазах множество мертвецов поднялись по лестнице и вошли туда, где воет проклятая бормашина. Визжит словно машина-младенец. Как недвусмысленно выразился наш Форд, «Техника — это современный мессия».

---

[57] Примечания: 57
Пенис (идиш).

Перед нашими глазами прошли тысячи. Наверное, у них есть какой-то блат, которого нет у нас, какой-то *выход* на смертократов. Или — об этом даже противно думать — они знают, как к ним подлизаться. Тут мне пришла на память одна вещь… Я не рассказывала тебе о шариковой ручке, которую придумала в сороковых? Рассказывала? Ну, знаешь, как это бывает. Когда рассказываешь длинную историю, нередко забываешь начало. Совсем как в жизни. Впрочем, спасибо за то, что ты оказался терпеливым слушателем, таким, как ты, нравится узнавать что-то новое. Но хотя я, как мне кажется, узнала некоторых здешних посетителей, *тебя* — сестру? брата? — я никак не могу разглядеть.

Кого я узнала? Ну, мне показалось, я видела Йоса — или кого-то похожего на Йоса, — он вошел и некоторое время здесь сидел. В руках сумка с клюшками для гольфа, во рту чертова трубка. Может, это был Йос, а может, и не он. На мой взгляд, он всегда был совершенно безликим, серым, как тень. Кем бы я хотела стать? Отвечу: любым организмом, который должен быстро увеличить вес в первые несколько часов после своего рождения. Кем угодно. Лично я не отказалась бы стать поганым осьминогом со щупальцами, если бы в эти

щупальца что-нибудь попалось. Я бы перегрызла глотку за селедку. Но взглянем на вещи прямо — не все, у кого есть присоски, могут к чему-то присосаться.

— Миссис Блум? — Это Кантер… и да… да… похоже, наконец подошла моя очередь. — Входите, пожалуйста, он вас ждет.

Что ж, до свидания, мой друг. Надеюсь, тебе не придется долго ждать. Не знаю, сумеешь ли ты подружиться с кем-либо из сидящей здесь публики, но ты всегда можешь рассчитывать на несколько тысяч номеров «Вуманз релм». По-моему, рецепты банановых оладий хорошо помогают. Конечно, они не снимают острой боли, но придают ей смысл.

Да, знаешь что? Там на самом деле оказался кабинет зубного врача. А вот и сам врач — еще один тщедушный еврей, принимающий участие в моей судьбе. Интересно, как его зовут. Впрочем, какая разница?

— Бломберг, меня зовут мистер Бломберг. А вы, должно быть, миссис Блум. Пожалуйста, усаживайтесь в кресло. Дайте-ка мне взглянуть. М-м-м… похоже, вы почти ничего не ели, верно? Вам, вероятно, пришлось долго ждать. Пожалуйста, прополощите рот. Огромное спасибо. Теперь

слушайте, не стану вас обманывать, миссис Блум… можно называть вас Лили? Так вот, Лили, вам будет больно… *очень* больно. И, как я могу предположить, вся процедура будет грязной и унизительной. Я бы с удовольствием сделал вам обезболивание, но вы же знаете, как обстоят дела — у нас теперь совсем не те возможности, что были раньше. Могу вас заверить в одном: я занимаюсь этим давно и действую быстро и уверенно. Абсолютно ли это необходимо? О да, абсолютно… даже более того. Разумеется, порой рождаются мутанты или уродцы, однако никто не слышал, чтобы при нормальном ходе вещей младенец появлялся на свет с полным ртом зубов.

Рождество 2001

Не знаю, помните ли вы свое появления на свет — я расскажу вам, как это было со мной. Это было невыносимо больно, очень грязно и по-настоящему унизительно. Ужасно противно — совсем не в моем вкусе. Протискиваться через многократно посещавшееся влагалище Ледяной Принцессы, пока она какала и писала, визжала и ныла. Будь она проклята, эпидуральная анестезия — ей надо было сделать кесарево сечение вместе с эвтаназией.

Когда меня подхватили крепкие руки и завернули в чистую простынку — это было частичной компенсацией. Потом меня приложили к ее… сиське. Ах! Какой чудесный аромат… представить невозможно! Впрочем, обоняние не было тогда твоим коронным номером, как сейчас. И все же в последующие дни и недели я заново открывала для себя запахи — не всегда приятные. Гораздо больше мне нравились цвета. Такие яркие! Такие разнообразные! Будь у меня возможность, я в этом круге никогда не назвала бы ни один предмет «серым». О нет, только пепельным, сизым, свинцовым, перламутровым, дымчатым, мышиным. Я наслаждалась этими цветами, а они безмолвствовали. Они не орали весь день напролет, как я. Я орала и визжала, ревела и вопила, я надрывалась от плача — только бы эти выродки дали мне наркотиков!

Мне хотелось, чтобы Ледяная Принцесса и Риэлтер стали еще худшими родителями, чем они были. Чтобы они плеснули мне в пластиковую бутылочку что-нибудь из своих коричневых пузырьков. Врачи сказали, что перед выпиской они провели мне детоксикацию — но что понимают эти коновалы? Я задыхалась, приятель. Мне позарез нужна была доза. Вот что я хочу

сказать: если обычный младенец постоянно испытывает потребность во многих вещах, то младенец-наркоман должен испытывать острейшую, невыносимую потребность. Словно ты — это целый мир, ждущий чего-то — все равно чего, — что можно проглотить, чтобы отвлечься от космического безмолвия.

У меня даже не было шансов получить наркотик от нее. Ледяная Принцесса не кормила меня грудью. Ее метаболизм был нужен ей самой, а соски — для кого угодно. С сотней фунтов в кармане. В общем, меня кормили комковатой, плохо разведенной молочной смесью. Обычно этим занимался Риэлтер. Но он давал мне то обжигающую, то еле теплую, а то и совсем холодную смесь. Удивительно, как мне удалось дожить до возраста, в котором дети начинают ходить. Для меня это был страшный новый мир. Честно говоря, я не могу его тебе рекомендовать. Конечно, сейчас появилась масса технических новинок, благодаря которым сберегаются невосполнимые ресурсы, но что в этом особенного?

Не могу сказать, чтобы я была удивлена, когда это случилось. Конечно, последние полтора года я не могла разговаривать с ними, но я слушала. На прошлое Рождество было то же самое:

какой-то мерзавец выбросил на рынок партию неочищенного героина, и многие из их дружков-наркоманов — тех, кто кололся — сыграли в ящик. Они сами тогда едва не загнулись, что с учетом всех обстоятельств пошло бы мне на пользу. Если бы только они продолжали курить или занюхивать наркотики с фольги. Так очень трудно «перебрать». В общем, кончина Ледяной Принцессы и ее супруга, скорее, говорит в пользу моей приверженности курению. Хочешь «ВН»? Нет, тебе еще, пожалуй, рановато.

В этом году их просто трясло от нетерпения, когда он вернулся домой с добычей. Последние дни они сидели совсем без денег. Рассел утратил свои командные позиции, он больше не мог получить кредита от поганых Ротшильдов — даже если бы те вдруг обнаружили, что он их потерянный сын. Тогда Наташа сумела подняться и вышла на улицу, чтобы у кого-то отсосать. Молодец, Наташа! Вся в меня! Дело мастера боится! Итак, она приходит домой с деньгами, он отправляется за наркотиками, а она в это время готовит мне первую бутылочку пойла за эти несколько проклятых дней.

Они оба ввели себе дозу прямо на кухне, пока я смотрела телевизор. Я, как и ты, уже не прези-

рала доступных развлечений. Потом она успела подняться на второй этаж и лечь в постель, а он остался внизу. Трогательно, а? Погибнуть вместе, как Ромео и эта чертова Джульетта — не считая того, что они были старше, абсолютно лишены надежды и хоть крупицы любви друг к другу. Я даже не расстроилась. Честно говоря, я этого ждала.

Я также ждала, что Майлс прошагает все эти мили до Майл-Энда — в эту глухую пропасть между годами автобусы не ходят. Да, я знала, что он появится. Время от времени он наведывался к нам, подозревая, что он мой отец, несмотря на кучу других кандидатов. К числу которых лично я никогда не относила Рассела — я ничуть не похожа на еврейку. У меня крошечный курносый носик. Retrousse — вот как я бы его назвала.

Вот почему, когда ты появился вновь, мне удалось сохранить напускную храбрость. Но Майлс уже приходил и опять ушел, а я по-прежнему торчу здесь. Если бы эта свинья этажом выше не орала под караоке, я услыхала бы, что он пришел, пока не стало слишком поздно. Дело в том, что когда я была в ванной, пила эту чертову воду из бачка, то услыхала, как гремит почтовый ящик. Я побыстрее заковыляла вниз, но, очевидно, Майлс

стучал уже давно, заглянул в почтовую щель, ничего не увидел и ушел. Вот так — теперь мне конец. Это — как и многое другое — лишь вопрос времени.

И, честно говоря, мне не слишком приятно было в твоей компании. Ума не приложу, кто твой отец, но когда ты спрыгнул с кровати три дня назад, я сразу поняла, кто твоя мать. Наверное, не стоит судить тебя слишком строго, ее музыкальный вкус так и остался неразвитым. Пусть так, но эти песенки, которые ты напевал, эти обрывки дурацких популярных мелодий, сводили меня с ума. Я бы хотела найти в тебе терпеливого слушателя, как тогда, когда мы сидели с тобой в Палмерс-Грин среди живых, в очереди к зубному врачу. Но чего хотеть от литопедиона — от окаменевшего зародыша?

Ничего особенного. Ни-чего. Лишь одного: забудь меня. Нет, не забывай.